РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Политическая
Наука **3** *2018*

POLITICAL SCIENCE (RU)

Москва
2018

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной информации по общественным наукам РАН

Редакционная коллегия

Е.Ю. Мелешкина – д-р полит. наук, *главный редактор*, зав. отделом политической науки ИНИОН РАН; **В.С. Авдонин** – д-р полит. наук, ведущий научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН; **Л.Н. Верчёнов** – канд. филос. наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН; **И.И. Глебова** – д-р полит. наук, руководитель Центра руссиеведения ИНИОН РАН; **Д.В. Ефременко** – д-р полит. наук, зам. директора, руководитель Центра социальных научно-информационных исследований ИНИОН РАН; **В.Н. Ефремова** – канд. полит. наук, *ответственный секретарь*, научный сотрудник ИНИОН РАН; **М.В. Ильин** – д-р полит. наук, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ; **О.Ю. Малинова** – д-р филос. наук, *зам. главного редактора*, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ; **П.В. Панов** – д-р полит. наук, ведущий научный сотрудник Пермского научного центра Уральского отделения РАН; **С.В. Патрушев** – канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник, руководитель отдела сравнительных политических исследований Института социологии ФНИСЦ РАН; **Ю.С. Пивоваров** – академик РАН, научный руководитель ИНИОН РАН; **А.И. Соловьёв** – д-р полит. наук, заведующий кафедрой политического анализа факультета государственного управления МГУ им. Ломоносов; **Р.Ф. Туровский** – д-р полит. наук, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ; **И.А. Чихарев** – канд. полит. наук, доцент кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ им. Ломоносова

Редакция журнала

Главный редактор: д-р полит. наук *Е.Ю. Мелешкина*

Заместитель главного редактора: д-р филос. наук *О.Ю. Малинова*

Ответственный секретарь: канд. полит. наук *В.Н. Ефремова*

Научные редакторы: д-р полит. наук *Е.Ю. Мелешкина*,
д-р ист. наук *А.И. Миллер*

Литературный редактор: *А.Н. Кокарева*

Выпускающий редактор: канд. соц. наук *А.М. Понамарева*

Корректор: *М.П. Крыжановская*

Издание рекомендовано **Высшей аттестационной комиссией** Министерства образования и науки Российской Федерации и включено в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» по политологии.

Журнал включен в **Russian Science Citation Index (RSCI)** на платформе **Web of Science**. Издается при участии **Российской ассоциации политической науки (РАПН)**.

DOI: 10.31249/poln/2018.03.00

© «Политическая наука», научный журнал, 2018

© ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам РАН», 2018

POLITICAL SCIENCE (RU)

Political science (RU) is one of the key Russian periodicals dedicated to the political science. Founded in 1997, it is well known among foreign researchers. The journal is quarterly **published by the Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (INION RAN)** and with the assistance of the **Russian Political Science Association (RAPN)**.

The journal always pays attention to the actual situation in the political science in general and its trends, as well as to the overview and analysis of up-to-date scientific achievements. Articles and other materials dedicated to the methodology are featured in the journal. Informational and research & information sources (abstract reviews, synopses, book reviews, etc.), materials from other periodicals and results obtained by various think tanks and institutes are always published in **Political science (RU)**.

Political science (RU) is included in the list of the academic journals recommended by the **High Certification Commission (VAK)** of the Ministry of Education and Science of Russian Federation. The journal is also in the list of the **Russian Science Citation Index** database of the **Web of Science** platform.

Editorial Board

Editor-in-Chief – **Elena MELESHKINA**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Head of Political Science Department, INION RAN (Moscow, Russia);
Deputy Editor-in-Chief – **Olga MALINOVA**, Dr. Sci. (Philos.), Prof., National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia); **Executive secretary** – **Valentina EFREMOVA**, Cand. Sci. (Pol. Sci.), research fellow, INION RAN (Moscow, Russia);

Vladimir AVDONIN, Dr. Sci. (Pol. Sci.), leading researcher, INION RAN (Moscow, Russia); **Lev VERCHENOV**, Cand. Sci. (Philos.), leading researcher, INION RAN (Moscow, Russia); **Irina GLEBOVA**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Head of the Center of Russian Studies, INION RAN (Moscow, Russia); **Dmitry EFREMENKO**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), acting director, INION RAN (Moscow, Russia); **Mikhail ILYIN**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia); **Petr PANOV**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), leading researcher of the Department of Research of political institutions and processes, Perm Scientific Center of the Ural Branch Russian Academy of Sciences (Perm, Russia); **Sergey PATRUSHEV**, Cand. Sci. (Hist.), leading researcher, Head of Comparative Political Studies Department, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia); **Yuriy PIVOVAROV**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Full Member of the Russian Academy of Sciences, Academic Supervisor, INION RAN (Moscow, Russia); **Aleksandr SOLOVYEV**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of Political Analysis Department, Faculty of Public Administration, M.V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia); **Rostislav TUROVSKY**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia); **Ivan CHIHAREV**, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Associate Professor of Comparative Political Science Department of Political Science, M.V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)

ТЕМА НОМЕРА: ПОЛИТИКА ПАМЯТИ**СОДЕРЖАНИЕ**

Представляем номер	9
--------------------------	---

СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Сафронова Ю.А.</i> Третья волна <i>memory studies</i> : Двадцать три года против шерсти	12
<i>Фелькер А.В.</i> Исследования наследия и политики памяти – в поисках общих подходов	28

ИДЕИ И ПРАКТИКА

<i>Малинова О.Ю.</i> Обоснование политики 2000-х годов в дискурсе В.В. Путина и формирование мифа о «лихих девяностых»	45
<i>Пинюгина Е.В.</i> Столетие Поместного собора и отголоски «церковной революции» 1917 г.: векторы политики памяти руководства РПЦ и церковной интеллигенции	70
<i>Донцев С.П.</i> Политика памяти в контексте институциональных взаимодействий Русской православной церкви и государства в современной России	91

РАКУРС

<i>Урушадзе А.Т.</i> Помнить-нельзя-забыть: Кавказская война в исторической памяти адыгов и российском пространстве коммеморации	106
--	-----

<i>Михалев А.В.</i> Бог войны, или Память о «черном бароне» в правом дискурсе современной России.....	129
<i>Пешков И.О.</i> В поисках утраченного врага: Мифологемы Гражданской войны как фактор региональной идентичности Забайкалья.....	147

КОНТЕКСТ

<i>Воронович А.А.</i> Роль европейской политики памяти в государственной исторической политике Молдовы и Украины в 2000-х годах	167
<i>Плеханов А.А.</i> Разрушение пространства советского символического господства в постсоветской Украине	190
<i>Мелешкина Е.Ю.</i> Память о социалистической Югославии в публичном пространстве бывших республик СФРЮ	217

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ

<i>Пахалюк К.А.</i> Обращение к прошлому в контексте российского внешнеполитического дискурса (По материалам министерства иностранных дел)	238
<i>Ткач Д.Н.</i> Отражение политических и социальных процессов первой четверти XX в. в монументальной скульптуре в память о Первой мировой войне.....	257

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЖУРНАЛ

Представляем первый номер журнала «Foreign Affairs» за 2018 г. – «The Undead Past. How Nations Confront the Evils of History»	269
---	-----

С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

<i>Коргунюк Ю.Г.</i> Демократия и ее социокультурные предпосылки (Рецензия).....	282
---	-----

CONTENTS

Introducing the issue	9
-----------------------------	---

STATE OF THE DISCIPLINE

<i>Safronova J.A.</i> The third wave of <i>memory studies</i> : Going against the grain for twenty-three years	12
<i>Felcher A.V.</i> Heritage studies and the politics of memory – in search for common approaches	28

IDEAS AND PRACTICE

<i>Malinova O. Yu.</i> Justifying the political course of the 2000 s and constructing the myth about «the hard nineties» in the Vladimir Putin's discourse	45
<i>Pinyugina E.V.</i> The centennial of All-Russian General Council of the Russian Orthodox Church and echoes of «the 1917 Church revolution»: Politics of memory of the heads and intelligentsia of the Russian Church	70
<i>Dontsev S.P.</i> Politics of memory in the context institutional interactions between the Russian Orthodox Church and the state in modern Russia	91

ACCENTS

<i>Urushadze A.T.</i> Remember-can't-be forgotten: Caucasian war in the historical memory of Adygs and in the Russian space of commemoration	106
--	-----

<i>Mikhalev A.V.</i> God of War or the memory of the «Black baron» in the right discourse of contemporary Russia.....	129
<i>Peshkov I.O.</i> In search of the lost enemy: Mythology of the civil war as a factor of the regional identity in Transbaikalia	147

CONTEXT

<i>Voronovici A.A.</i> The role of the European politics of memory in the state historical politics of Moldova and Ukraine in the 2000 s	167
<i>Plekhanov A.A.</i> Decommunization process in post-Soviet Ukraine.....	190
<i>Meleshkina E.Yu.</i> Memory of socialist Yugoslavia in public sphere of the former SFRY republics	217

FIRST DEGREE

<i>Pakhalyuk K.A.</i> Historical memory in the foreign policy discourse of the modern Russia	238
<i>Tkach D.N.</i> Reflections of political and social processes of the first quarter of the 20 th century in First World War memorials.....	257

INTRODUCING SCIENTIFIC JOURNALS

We present the January / February 2018 issue of «Foreign Affairs» journal	269
--	-----

FROM THE BOOKSHELF

<i>Korgunyuk Y.G.</i> Democracy and its sociocultural background. (Review).....	282
--	-----

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМЕР

Этот номер журнала «Политическая наука» посвящен проблематике политики памяти. Отношение к прошлому и его интерпретация занимают важное место в политическом дискурсе любого государства. Политика памяти позволяет не только обосновывать право наций на существование и определять их границы, часто с заранее заданными политическими параметрами. Она также решает и другие актуальные политические задачи, в том числе легитимации правящих режимов. Специфика решения этих задач во многом зависит от контекста. Материалы номера посвящены как общим вопросам функционирования политики памяти и ее исследования, так и анализу отдельных казусов, позволяющих выйти на более широкие обобщения относительно воздействия условий на восприятие прошлого и использование его образа в политических целях.

Номер открывается традиционной рубрикой «Состояние дисциплины», в которой обычно обобщаются достижения и проблемы в исследовании той или иной тематической области. Рубрика начинается со статьи Ю. Сафроновой, которая исследует трудный и во многом неудачный путь развития исследований политики памяти как научного направления, объединенного общим предметом и общей методологией. А. Фелькер рассматривает взаимоотношения изучения политики памяти и тесно связанной с ней, но автономной области исследования управления историческим наследием.

Вторая рубрика, «Идеи и практика», состоит из материалов, посвященных анализу различных аспектов политики памяти ключевых мнемонических акторов на российской сцене. В статье О. Малиновой показывается, какое влияние оказал миф о «лихих девяностых» на обоснование политики последующих лет в выступлениях президента В. Путина. Е. Пинюгина и С. Донцев анализи-

руют различные аспекты политики памяти Русской православной церкви, которая играет все большую роль в этой сфере в последние годы.

В рубрике «Ракурс» представлены статьи, обращенные к региональному измерению политики памяти. А. Урушадзе пишет о памяти о Кавказской войне в среде народов Кавказа, о том, как сильно она отличается от государственного нарратива Кавказской войны. Работы А. Михалева и И. Пешкова посвящены анализу трансформации памяти о значимых фигурах Гражданской войны – бароне Унгерне и атамане Семенове. Авторы выявляют акторов, участвующих в этой трансформации в каждом случае, и региональные особенности памяти о Гражданской войне, отражающиеся в этих историях.

Рубрика «Контекст» включает материалы, посвященные политике памяти в республиках бывших СССР и СФРЮ. А. Воронович предлагает сравнительный анализ влияния европейской политики памяти на государственную политику памяти в Молдове и на Украине. А. Плеханов исследует процесс разрушения пространства советского символического господства на Украине. Е. Мелешкина выявляет общие черты и страновые различия политики памяти по отношению к Югославии и связанных с ней событий прошлого в республиках бывшего СФРЮ, анализирует специфику и распространение югоностальгии и титостальгии.

Продолжает номер рубрика «Первая степень», в которой мы традиционно представляем работы молодых политологов. В статье К. Пахалюка анализируется апелляция к прошлому в ключевых документах МИД РФ. Д. Ткач исследует отражение политических и социальных процессов первой четверти XX в. в монументальной скульптуре в память о Первой мировой войне.

В номере также представлен обзор одного из выпусков журнала *Foreign Affairs*, посвященного политическим практикам преодоления тяжелого прошлого, применяемым в разных странах. В нем показывается специфика отработки трагического прошлого в ряде государств.

Материалы номера не раскрывают все многочисленные аспекты политики памяти, однако они обращены к важным сюжетам этой тематической области. Мы надеемся, что представленные работы вызовут интерес читателей и послужат развитию плодотворной дискуссии о различных аспектах политики памяти.

Часть статей номера подготовлена в рамках исследовательского проекта «Комплексное сравнительное исследование политики памяти в России и на международной арене: Акторы, стратегии, инструментарий», поддержанного РНФ (проект № 17-18-01589). Авторы выражают благодарность Фонду за поддержку их исследовательской инициативы.

*Е.Ю. Мелешкина,
А.И. Миллер*

СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Ю.А. САФРОНОВА*

ТРЕТЬЯ ВОЛНА *MEMORY STUDIES*: ДВАДЦАТЬ ТРИ ГОДА ПРОТИВ ШЕРСТИ¹

Аннотация. Статья посвящена развитию исследований памяти (*memory studies*) как исследовательского поля. Принято выделять три волны в изучении памяти, последняя из которых, начавшаяся в конце 1990-х годов, продолжается до сих пор. В качестве признаков исследовательского поля можно выделить такие сложные составляющие, как уровень, метод, объект анализа, а также институциональную структуру, способную этот анализ организовать, и критерии оценки результатов. Автор анализирует эти составляющие, подробно рассматривая функционирование самого понятия «память», возможность применения методов естественных наук к его изучению, а также уровень институционального развития *memory studies*. Свидетельством выхода направления из диагностированного в конце 1990-х годов кризиса можно считать основание специализированного журнала (2008), ассоциации (2016) и популярность образовательных программ по тематике памяти.

Ключевые слова: исследования памяти; коллективная память; исследовательское поле; институционализация.

* **Сафронова Юлия Александровна**, кандидат исторических наук, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия), e-mail: jsafronova@eu.spb.ru

Safronova Julia, European University at St. Petersburg (St. Petersburg, Russia), e-mail: jsafronova@eu.spb.ru

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01589) в Институте научной информации по общественным наукам РАН.

© Сафронова Ю.А.

DOI: 10.31249/poln/2018.03.01

Для цитирования: Сафронова Ю.А. Третья волна *memory studies*: Двадцать три года против шерсти // Политическая наука. – М., 2018. – № 3. – С. 12–31. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.01

Ju.A. Safronova

**The third wave of memory studies:
Going against the grain for twenty-three years**

Abstract. The article focuses on the development of memory studies as a research field. It is accepted to distinguish three waves in memory studies, the last of which, which began in the late 1990 s, continues to this day. As features of a research field we can identify such complex components as a level, a method, and an object of analysis, as well as an institutional structure capable of organizing this analysis, and criteria for evaluating results. The author analyzes these components, specifically focusing on the functioning of the very concept of memory, the possibility of applying methods of natural sciences to its study, as well as the level of institutional development of memory studies. Founding of a specialized magazine (2008) and an association (2016), as well as the popularity of educational programs on the subject of memory can be regarded as evidence of overcoming the crisis diagnosed in the field in late 1990 s.

Keywords: memory studies; collective memory; research field; institutionalization.

For citation: Safronova Ju.A. The third wave of *memory studies*: Going against the grain for twenty-three years // Political science (RU). – М., 2018. – N 3. – P. 12–31. DOI: 10.31249/poln/2018.03.01

Успех любого научного направления исследований можно измерить по уровню его институционализации: появлению специализированных журналов, университетских курсов, ассоциаций исследователей и т.п. Современный уровень институционализации исследований памяти – *memory studies* – свидетельствует о несомненном триумфе этой области в качестве отдельного исследовательского поля. В интересе к нему сходятся историки, социологи, искусствоведы и литературоведы, философы, психологи и нейробиологи. Описывая состояние этого направления в 2009 г., американский социолог Джеффри Олик иронизировал по поводу «библиографической мегаломании»: если за десять лет до этого, будучи молодым доцентом, он покупал все книги, так или иначе имевшие отношение к коллективной памяти, то теперь такой образ действий сможет разорить самого высокооплачиваемого профессора [Olick, 2008, p. 26].

В исследованиях памяти принято выделять три волны. *Первая* из них относится к 1920–1940-м годам и связана с именами

Мориса Хальбвакса, Аби Варбурга, Вальтера Беньямина и Фредерика Бартлетта, а также немногих их последователей [Egll, 2011, p. 4–5]. Начало *второй* положили два литературных события – книга американского историка Йозефа Йерушалми «Захор: Еврейская история и еврейская память» (1982) и предисловие французского историка Пьера Нора «Между памятью и историей» к антологии «Места памяти» (1984) [Йерушалми, 2004; Между памятью... 1999, с. 17–65].

Важным знаком становления *memory studies* как отдельной дисциплины в это время стало основание в 1989 г. журнала «History and memory» Тель-Авивского университета. Показательно, что в первой статье первого номера «Коллективная память и историческое сознание» ее автор Амос Функенштайн считал необходимым доказывать, что «коллективная память» – это не «ошибка» и не «неправильный термин», хотя «нация не ест и не танцует, так же как она не может говорить или вспоминать» [Funkenstein, 1989, p. 6].

Интерес редакции «History and memory» сегодня, как и в год его основания, в основном сосредоточен на исследованиях памяти о Холокосте, нацизме, расизме, апартеиде, войнах и социальных конфликтах. В журнале в первую очередь представлены исследования конкретных кейсов, преимущественно относящихся к истории XX в. при минимальном внимании к самой дисциплине *memory studies* и ее теоретическим основаниям.

Огромное количество публикаций под знаменем *memory studies*, авторы которых обращались к самым разным предметам, используя всевозможные подходы и методы, не спасло это направление от нараставшей волны критики, вылившейся в начале 2000-х в признание кризисного состояния дисциплины, а также в поиск возможных путей выхода из него. Именно этот «критический» период, начавшийся в конце 1990-х и продолжающийся до сих пор, принято рассматривать в качестве *третьей волны memory studies* [см.: Entangled memory... 2014].

В 2009 г. Д. Олик в статье с симптоматичным названием «Между хаосом и разнообразием: Являются ли исследования памяти полем?» сформулировал ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, исходя из понимания исследовательского поля. С его точки зрения, исследовательское поле включает в себя такие сложные составляющие, как уровень, метод, объект анализа, а также институциональную структуру, способную этот анализ организовать, и

критерии оценки результатов. Оценивая уровень развития *memory studies*, Олик справедливо удивлялся тому факту, что исследователи гуманитарии по-прежнему считают необходимым доказывать свое право на изучение памяти, апеллируя к трудам М. Хальбвакса. В отличие от кажущегося методологического единства, возводимого к «отцу-основателю», множество объектов исследования, а также применение большого числа самых разных концепций, подходов, многообразие вопросов, которые можно изучать под лейблом «память», являются для Олика «сигналами неустойчивости поля» [Olick, 2009, p. 249–252].

Задача настоящей статьи заключается в том, чтобы проверить это утверждение, пользуясь предложенными Д. Оликом критериями исследовательского поля. Специально в ней рассматриваются история возникновения и функционирования самого понятия «память» (коллективная, культурная, социальная и т.д.), возможности применения к ее изучению методов естественных наук, а также уровень институционального развития *memory studies*.

Диагностированный многими исследователями кризис исследований памяти связывают в первую очередь с неопределенностью центрального понятия «память» и отсутствием ясных критериев, позволяющих идентифицировать, что именно можно рассматривать в качестве предмета изучения *memory studies*. Уже в 1995 г. исследовательница современной американской памяти Барби Зелизер в статье «Читая прошлое против шерсти: Положение исследований памяти» задавалась вопросом о будущем концепции коллективной памяти. С ее точки зрения, это исследовательское поле выросло слишком быстро и стало слишком большим, включив в себя «все мысли, чувства и действия по поводу прошлого, которые не изучает традиционная история». Она писала о «трудностях» двух видов: неопределенности предмета и отсутствии ясной концепции: «...многие исследования памяти до сих пор страдают от отсутствия определения, что *есть* коллективная память, за пределами признания, что она *не* индивидуальна» [Zeliezer, 1995, p. 234–235].

Понятие «память» исторично, а разные способы обращения с ней далеко не так очевидны, как может показаться на первый взгляд. Современному человеку проще всего вообразить память как документальный фильм, в котором пережитые события вчерашнего дня или раннего детства запечатлены с разной степенью подробности и достоверности. Между тем в Средние века под па-

матью понимали то, что сегодня принято называть воображением или творчеством [Carruthers, 2008]. Френсис Йейтс, обращаясь к искусству памяти эпохи Возрождения, обнаружила, что в некоторых философских системах того времени память рассматривалась как магический метод раскрытия тайной гармонии земной и трансцендентальной сфер [Йейтс, 1997].

Сходство между различными дисциплинами, исследующими память, к какой бы области знания они ни принадлежали, заключается в разнообразии и неопределенности толкований изучаемого феномена. Количество понятий, связанных с памятью, в естественных науках, как и в гуманитарных, исчисляется сотнями. Эндель Тулвинг, канадский экспериментальный психолог и нейробиолог, специализирующийся на исследованиях памяти, в 2007 г. составил список из 256 типов, включив туда и созданные историками понятия культурной памяти, политической памяти, архивной памяти и т.д. Его работа содержала немалую долю иронии по этому поводу [Tulving, 2007].

Различные дисциплины помещают память индивида то в человеческом мозге, то в психике. С первым имеют дело нейрология и нейробиология, со второй – психология, когнитивная психология и т.д. Индивидуальная память не локализуется только «в голове»: к процессу воспоминаний причастны телесность и органы чувств, а также находящиеся вне тела человека триггеры, способные запускать процесс воспоминания – звуки, запахи, изображения и слова, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни [Garde-Hansen, 2011, p. 14–15]. Именно в последней точке понимание феномена памяти естественными науками сближается с тем, что интересует гуманитарное знание. Сегодня, в отличие от первой половины XX в., уже никто не оспаривает тезис, что память является подходящим объектом исследования для историков, социологов и антропологов, или что память может быть понята отдельно от своих источников, которые находятся за пределами человеческого мозга.

Во всем многообразии социальных и гуманитарных исследований, авторы которых работают с понятием «память», подразумевая при этом совершенно разные вещи, можно обнаружить нечто общее. Память – это способ конструирования людьми своего прошлого. С одной стороны, она может изучаться как память – свидетельство людей, переживших некий опыт, например выжив-

ших в Холокосте. С другой стороны, это понятие используют для анализа репрезентаций прошлого и его конструирования через медиа памяти – книги, фильмы, монументы, церемонии и т.д.

Когда в 20-х годах XX в. французский социолог Морис Хальбвакс, к идеям которого многие из современных ученых возводят генеалогию *memory studies*, впервые предложил понятие «коллективная память», другой отец-основатель (на этот раз школы «Анналов»), историк Марк Блок, указал ему, что это понятие метафорично, а потому бессмысленно. В самом себе оно содержит допущение, что коллектив обладает памятью подобно тому, как ею обладает отдельный человек. Алейда Ассман в книге «Новое недо-вольство мемориальной культурой» цитирует страстную речь немецкого историка Райнхарда Козеллека, 78 лет спустя вторившего аргументам Марка Блока: «У меня нет воспоминаний, не обусловленных личным опытом. Я бы даже сказал, что каждый человек имеет право на собственные воспоминания. Это право на собственную биографию и собственное прошлое; данное право нельзя отнять никакими ссылками на коллективность и гомогенизацию, никакими требованиями или ожиданиями. Мое воспоминание есть нечто совершенно иное, нежели то, что является частью официальной коммеморации немецкого народа 27 января, в день освобождения Аушвица советскими войсками» [Ассман, 2016, с. 15–17].

М. Хальбвакс, вопреки распространенному мнению, никогда не утверждал, что коллектив обладает собственной памятью. Социолог Сара Генсбургер настаивает даже, что хотя множество текстов, посвященных памяти, сегодня начинается с упоминания Хальбвакса, эти ссылки остаются формальными. «Едва ли какая-нибудь современная работа, отдающая свой долг Хальбваксу, в действительности цитирует его или эффективно использует его тексты для дальнейшего эмпирического исследования. Этот формализм чистой воды можно обнаружить по всему миру и во всех дисциплинах, обращающихся к исследованиям памяти», – пишет она [Gensburger, 2016, p. 399].

Определяющей для размышлений М. Хальбвакса стала статья Э. Дюркгейма 1898 г. «Индивидуальные и коллективные представления». В ней основатель французской социологической школы обращался к феномену памяти, само существование которой было для него доказательством существования «коллективных представлений». Отвергая исключительно физиологическую природу

памяти как «органического факта», он относил ее к области психической жизни. Собственно, вопрос о «психической памяти» занимал его не сам по себе, но как свидетельство существования индивидуальных представлений. Дюркгейму важно было доказать, что представления способны сохраняться в сознании, а не возникают каждый раз заново, но при этом в определенной мере независимы от него, поскольку зачастую остаются в области бессознательного. Перенеся свои рассуждения об индивидуальных представлениях в социальную сферу, Дюркгейм смог постулировать существование коллективных представлений: «...коллективные представления, порожденные действиями и противодействиями между элементарными сознаниями, из которых состоит общество, прямо не вытекают из последних и, следовательно, выходят за их пределы», – писал он. Эта статья заканчивалась призывом создать новую отрасль социологии, изучающую «законы коллективного существования идей» – коллективную психологию [Дюркгейм, 1995].

Ответом на него стала работа М. Хальбвакса 1918 г. «Доктрина Эмиля Дюркгейма», где он, реагируя на научный проект Дюркгейма, продолжил развивать идею коллективной психологии, основанной на изучении коллективного сознания. С его точки зрения, коллективная психология способна объяснить, как мотивы, стремления и эмоции соединяются в коллективные представления, хранящиеся в памяти, которая является центральной точкой высших способностей разума. В отличие от Дюркгейма, относившего социальную память к области бессознательного, Хальбвакс постулировал три основных тезиса:

- индивидуальная память социально сконструирована;
- существование коллективной памяти опосредовано группами (семьей и социальными классами);
- существует «большая» коллективная память на уровне обществ и цивилизаций.

Одна из самых известных работ М. Хальбвакса «Социальные рамки памяти» была начата им в 1921 г. и опубликована в 1925 г. Для анализа социально обусловленной памяти Хальбвакс предложил понятие «рамка» (*cadre*). Нигде не давая его определения, он использует это понятие в двух разных смыслах. Более простое для понимания – описание рамки как комплекса пространственно-временных и социальных представлений, опосредованных языком, позволяющего вспоминать по желанию основные события про-

шлого [Хальбвакс, 2007, с. 138]. Более сложное, но при этом и более важное для самого Хальбвакса, – рассуждение о соотношении рамки и содержимого, повторяющее (с новыми аргументами) размышления Э. Дюркгейма. Отрицая существование «чистых» воспоминаний, Хальбвакс писал, что «рамка и события тождественны по природе: события суть воспоминания, но и сама рамка состоит из воспоминаний. Эти два рода воспоминаний различаются тем, что вторые более устойчивы, всегда заметны нам, и мы пользуемся ими для припоминания и реконструкции первых» [там же, с. 135–136].

Таким образом, основная мысль французского социолога заключается в том, что нет воспоминаний, не обусловленных социальными рамками. Каждый раз, обращаясь к своему прошлому, человек смотрит на него из дня сегодняшнего и пользуется ориентирами, которые предлагает ему его социальная группа. Прошное доступно нам не таким, каким оно было, но только как «реконструкция», правила которой заданы днем сегодняшним, «...общество обязывает людей время от времени не просто мысленно воспроизводить прежние события своей жизни, но также и ретушировать их, подчищать и дополнять, с тем чтобы мы, оставаясь убежденными в точности своих воспоминаний, приписывали им обаяние, каким не обладала реальность» [там же, с. 151].

В критике М. Блока, однако, есть своя доля истины: понятие «память» действительно метафорично, а потому обладает всеми достоинствами и недостатками, свойственными метафорам. С одной стороны, оно будит воображение, позволяет дать имя многообразию сложно сопоставимых, а иногда и сложно уловимых процессов, и таким образом дает исследователям новые предметы познания или новые инструменты для работы со старыми. С другой стороны, любая метафора ничем не ограничена в производстве смыслов. Вооружившись ею, как знаменем, можно изучать практически что угодно, а на любую критику отвечать, что автор использует понятие метафорически.

Метафоричность основного понятия *memory studies* создает особое поле напряжения, поскольку содержит в себе искушение психологией и психоанализом. Между тем признанный представителями естественных наук факт, что изучение индивидуальной памяти невозможно без рассмотрения социального контекста ее бытования, вовсе не означает обратного. Необязательно разбираться в том, какие именно зоны головного мозга отвечают за процесс

воспоминания, чтобы изучать память о Первой мировой войне в Великобритании или Жанну Д'Арк как французское «место памяти». Наоборот, экскурсии в нейробиологию или психоанализ скорее осложняют процесс познания, затемняя его предмет. Специалист по памяти о Холокосте в послевоенной Европе Вульф Канстейнер, выступая в 2002 г. с методологической критикой *memory studies*, настаивал на необходимости разделять различные типы «социальной» памяти: автобиографической памяти, с одной стороны, и коллективной памяти – с другой. «Из-за отсутствия такого различия многие исследователи коллективной памяти совершают заманчивую, но потенциально смертельную ошибку, воспринимая и концептуализируя коллективную память в терминах психологии и эмоциональной динамики индивидуального воспоминания» [Kansteiner, 2002, p. 185].

Проведение аналогий между индивидуальной памятью как свойством человеческой психики и коллективной памятью способны завести исследователей на зыбкую почву: переход от «коллективной памяти» к «коллективной психике» совершается довольно легко, но его результаты всегда сомнительны. Самый яркий пример здесь – это понятие «коллективной исторической травмы», еще более зыбкое и метафоричное, а потому вызывающее гораздо больше споров, чем коллективная память [Kansteiner, Weinboeck, 2010].

С другой стороны, нельзя утверждать, что обращение историков к работам нейробиологов или психологов одинаково бесполезно во всех случаях. Напротив, в рамках *memory studies* историки регулярно сталкиваются с необходимостью интерпретации автобиографической памяти, памяти-свидетельства. Примером работы, где результаты исследований когнитивных психологов служат для объяснения основных тредов памяти о Холокосте в послевоенной Германии, является статья немецкого историка Харальда Вельцера «История, память и современность прошлого. Память как арена политической борьбы». Статья начинается с впечатляющего примера конфликта между историком и свидетелем. Дрезденцы, пережившие разрушительные бомбардировки города союзнической авиацией 13–14 февраля 1945 г., твердо убеждены, что после самой бомбежки самолеты летали над улицами Дрездена и охотились на людей. В 2000 г. историк Хельмут Шнатц сделал доклад, в котором на основании полетных заданий и бортжурналов британских военно-воздушных подразделений, а также анализа техноло-

гических особенностей американских самолетов (а они не могли низко летать над горящим после бомбардировки городом из-за высокой температуры) доказал, что история про охоту на людей – миф. Его выступление вызвало скандал: присутствовавшие на докладе свидетели восприняли слова историка как посягательства на их личные воспоминания. Они точно помнили летящие на бреющем полете самолеты и спасавшихся бегством людей, которых видели собственными глазами.

Объяснение этому, а также многим другим случаям аберраций памяти, Вельцер находит у неврологов и когнитивных психологов, работающих с феноменом «забвения источника», когда человек помнит само событие правильно, но путает источник, из которого получено воспоминание о нем. Одно из основных посланий статьи Х. Вельцера заключается в том, что память и история имеют мало отношения друг к другу, поскольку «автобиографическая память представляет собой функциональную систему, задача которой – помогать человеку справляться с жизнью в настоящем» [Вельцер, 2005].

Статья Х. Вельцера служит удачным примером работы, где выводы коллег из другого цеха, изложенные к тому же доступным языком, помогают автору прояснить его основной тезис. В то же время историку вовсе не обязательно цитировать нейробиологов во всех случаях, когда он работает с автобиографической памятью. Итальянский «устный» историк Алессандро Портелли, изучивший не менее впечатляющий пример ложных воспоминаний у жителей Рима в связи с массовыми казнями в Ардеатинских пещерах в 1944 г., к когнитивной психологии не обращался вовсе. В его работе анализируется очередной конфликт между свидетелем, убежденным в том, что знает причины массовых казней, и историком. Портелли не ищет объяснений в процессах, протекающих в коре головного мозга свидетеля. Его интерпретация ложных воспоминаний строится на изучении четырех взаимосвязанных составляющих памяти об Ардеатинских пещерах: истории, мифа, ритуала и символа. Мифологическая версия этого события, с точки зрения Портелли, столь сильна именно потому, что связана с множеством до сих пор неразрешенных вопросов о прошлом: «Италия – единственная страна, где через полвека после трагедии все еще не утихают споры о том, кем же были борцы за свободу – героями или преступниками; единственная страна, где обсуждается вопрос,

преступление это или нет – бросать бомбу в марширующую колонну связанных с СС полицейских войск вражеской оккупационной армии», – пишет Портелли [Портелли, 2005, с. 464].

На примере работ Вельцера и Портелли хорошо видно, как авторы, работающие со схожими сюжетами, включающими в себя феномен ложного воспоминания, с одним и тем же видом источников – интервью свидетелей, по-разному решают вопрос, нуждается ли функционирование автобиографической памяти в объяснениях нейробиологов, или историку достаточно тех инструментов, которые способна предложить ему его собственная дисциплина. Этот выбор двух исследователей возвращает нас к вопросу о том, в какой мере понятие «память» является «просто метафорой». Ответ на него не может быть однозначным или данным раз и навсегда. Выносить суждение о пользе или вреде нейробиологии, психологии и подобных дисциплин для исторической работы можно только исходя из поставленного в каждом конкретном случае исследовательского вопроса. В. Канстайнер писал, что «хотя коллективная память не имеет органической основы и не существует в буквальном смысле, хотя она и включает индивидуальную агентность, понятие “коллективная память” не просто метафора. Коллективная память проистекает из разделенной коммуникации о значении прошлого, закреплённом в жизненном мире индивидов, которые принимают участие в общественной жизни соответствующего коллектива» [Kansteiner, 2002, p. 185].

Понятие «коллективная память», переоткрытое вместе с работами М. Хальбвакса в 1980-х годах, довольно быстро перестало устраивать большинство исследователей вследствие своего антииндивидуализма. Как последовательный дюркгеймианец, М. Хальбвакс понимал под коллективной памятью коллективно разделяемые репрезентации прошлого, но при этом настаивал, что индивидуальная память полностью социально детерминирована, а потому отдельный человек не имеет значения для истории «коллективной памяти». Пытаясь преодолеть этот крайний социологизм, историки принялись изобретать альтернативные понятия: историческая память, культурная память, социальная память, публичная память, историческая память и даже постпамять. Такая неопределенность основного понятия, а также многообразие конкурирующих интерпретаций при отсутствии собственного метода служат одним из главных оснований критики *memory studies*. С другой стороны,

раздаются голоса, утверждающие, что понятие «память» не способно добавить в исторические исследования ничего нового по сравнению с такими классическими понятиями, как «миф», «обычай», «традиция» и «историческое сознание» [Gedi, Elam, 1996].

Одним из наиболее часто цитируемых критических текстов рубежа 1990–2000-х годов стала статья Алона Конфино «Коллективная память и культурная история: Проблемы метода». Американский историк перечислял темы недавних исследований своих коллег («...Монументы. Фильмы. Музеи. Микки Маус. Память американского Юга, Холокоста. Французская революция. Память о недавних событиях. Память о текущих происшествиях. Непосредственное воспоминание о вчерашних новостях»), чтобы констатировать фрагментарность исследовательского поля, не имеющего «ни центра, ни связи между темами» [Confino, 1997, p. 1388]. Отсутствие сколько-нибудь общего понимания, что следует подразумевать под понятием «память», а также отсутствие собственной методологии, с точки зрения автора, делают результаты исследований этой области описательными и предсказуемыми. Историки, увлекаясь описанием процесса конструирования памяти, упускают из виду общество, в котором эта память существует. Они либо описывают многообразие конкурирующих версий одного и того же события, не объясняя того, каким образом конфликт репрезентаций прошлого не раскалывает общество, либо, напротив, рассматривают память как нечто гомогенное, игнорируя составляющие ее противоречивые суждения о прошлом.

В 1998 г. Д. Олик и Д. Роббинс в статье «Социальные исследования памяти: От “коллективной памяти” к исторической социологии мнемоники» не менее критически утверждали, что эта область исследований непарадигматична, междисциплинарна (что в данном случае не было комплиментом) и к тому же не имеет центра. В статье под сомнение было поставлено само существование *memory studies* как специфического исследовательского поля [Olick, Robbins, 1998]. 11 лет спустя, в 2009 г., размышления Д. Олика по поводу институционального уровня развития *memory studies* приводят его к закономерному вопросу о том, почему вообще необходимо объявлять какую-то интересную тему исследования или слабо связанные между собой вопросы «направлением». В его интерпретации, это желание в той же мере связано с устройством академии, сколько с потребностями самих исследователей. На-

правление нуждается в институциональной и организационной структуре для своего развития. За пределами конференций, симпозиумов и социальных связей, на уровне университета ученые все еще нуждаются в «более значительных интеллектуальных основаниях, чем простое желание воображаемого сообщества», чтобы «отважиться» просить декана факультета об отдельной программе или «набраться наглости» на «факультет исследований памяти» [Olick, 2009, p. 249–252].

Вульф Канстайнер, пытаясь найти «смысл» в исследованиях памяти, обратил внимание на игнорирование многими исследователями медийной составляющей этого феномена. Поскольку речь идет о поиске смысла прошлого, помещенного в определенный культурный контекст, коллективная память по природе своей всегда опосредована, она представляет собой «мультимедийный коллаж». Историки, обращаясь к изучению монументов, текстов, изображений, коммеморативных практик или ландшафтов, фокусируются, как правило, на одной медийной составляющей процесса воспоминания, игнорируя другие. Другая проблема заключается, с его точки зрения, в том, что, сосредоточившись на репрезентациях прошлого, исследователи упускают из вида центральную роль человека в истории как создателя репрезентаций. «Формальные и семантические качества исторических репрезентаций могут иметь мало общего с намерениями их авторов, и ни предмет исследования, ни его автор не могут быть хорошими индикаторами последующего процесса рецепции», – пишет он [Kanstainer, 2002].

Ответом на сомнения в существовании *memory studies* как самостоятельного исследовательского поля, а также на явно обозначившийся методологический кризис, стало основание в 2008 г. журнала «Memory studies». В его редакционный совет вошли многие из тех, кто высказывал свое недовольство состоянием исследований: Эндрю Хоскинс, Вульф Канстайнер, Джон Саттон и др. В редакционной статье первого номера журнала они подчеркнули, что главной своей целью видят облегчение «диалога или дебатов о теоретических, эмпирических и методологических задачах, центральных для совместного понимания памяти сегодня» [Editorial, 2008, p. 5–7].

Продолжением процесса институционализации *memory studies* стало учреждение в декабре 2016 г. Ассоциации исследований па-

мяти (The Memory Studies Association). В статье, посвященной этому событию [Olick, Sier, Wuestenberg, 2017], Д. Олик, А. Сир и Д. Вюстенберг напомнили читателям о том, что при создании журнала «Memory studies» в 2008 г. эта область исследований все еще была новой, тогда как сегодня она «больше не начинающая, но, к счастью, пока еще не довольная собой». С их точки зрения, давние обвинения в «непарадигматичности» сегодня едва ли справедливы с интеллектуальной точки зрения, но все еще обоснованы, если говорить об институциональном аспекте существования *memory studies* как самостоятельного поля. Хотя за последние 20 лет неоднократно предпринимались попытки создания различных ассоциаций и сетей, все они были фрагментарны, замкнуты на отдельных регионах, к тому же многие из них прекратили свое существование, продержавшись несколько лет. Новая ассоциация ставит своей целью объединить существующие сети и группы, а также создать площадку для практически ориентированных исследователей и политиков.

Достижение этой цели включает в себя следующие задачи.

- Выход за рамки евро- и американоцентризма, с расширением географии исследований памяти, для чего предполагается проводить конференции в разных частях мира, а также обеспечить открытый онлайн-доступ к ресурсам ассоциации.

- Выход за рамки академии, привлечение политиков, художников и практиков.

- Выход за дисциплинарные границы, взаимодействие с представителями естественных наук.

- Привлечение ученых из «родственных» полей, таких как исследования исторического наследия, устная история, транснациональная юстиция, архивоведение и т.д.

- Представление интересов *memory studies* как профессионального сообщества, включая создание возможностей для карьерного продвижения и поддержку начинающих исследователей.

- Увеличение видимости исследовательского поля для спонсоров, как государственных, так и частных.

- Участие в качестве экспертов в политических дискуссиях сегодняшнего дня [см.: Olick, Sier, Wuestenberg, 2017].

Сегодня, вопреки давним опасениям Джеффри Олика, многие университеты не расценивают претензии на создание специальных программ по *memory studies* как «наглость». Простой поиск

в Google по запросу «memory studies program» дает несколько сотен результатов, правда в названиях программ «культурная память» соседствует с «социальной памятью» и т.д. Вопрос о том, преодолен ли кризис дисциплины, по-прежнему остается открытым. *Memory studies* продолжают являть собой удивительное по степени диверсификации исследовательское поле, не имеющее общего понятийного аппарата, методологии или признанных всеми предметов исследования. В то же время этот затянувшийся кризис сопоставим с кризисами исторических исследований или гуманитарных дисциплин вообще, констатация которых отнюдь не мешает их процветанию, появлению прорывных исследований и широко цитируемых книг.

Список литературы

- Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 232 с.
- Вельцер Х. История, память и современность прошлого. Память как арена политической борьбы // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3. – С. 28–35.
- Дюркгейм Э. Представления индивидуальные и представления коллективные // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – С. 208–243. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Durkgeim/_Soc_intro.php (Дата посещения: 21.01.18.)
- Йейтс Ф. Искусство памяти. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 480 с.
- Йерушалми Й. Захор: Еврейская история и еврейская память. – М., 2004. – 170 с.
- Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция-память [Текст] / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюеиш, М. Винок; пер. с франц. Д. Хапаевой. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 1999. – С. 17–65.
- Портелли А. Массовая казнь в Ардеатинских пещерах: История, миф, ритуал, символ // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3. – С. 463–480.
- Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. – М.: Новое издательство, 2007. – 348 с.
- Carruthers M. The book of memory. A study of memory in medieval culture. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2008. – 393 p.
- Confino A. Collective memory and cultural history: Problems of method // The American historical rev. – Bloomington, 1997. – Vol. 102, N 5. – P. 1386–1403.
- Editorial / A. Hoskins, A. Barnier, W. Kanstainer, J. Sutton // Memory studies. – L, 2008. – Vol. 1, N 1. – P. 5–7.
- Entangled memory: Toward a third wave in memory studies / G. Feindt, F. Krawatzek, D. Mehler, F. Pestel, R. Trimcev // History and theory. – Middletown, 2014. – Vol. 53, N 1. – P. 24–44.
- Erll A. Travelling memory // Parallax. – L., 2011. – Vol. 17, N 4. – P. 4–18.

- Funkenstein A.* Collective memory and historical consciousness // History and memory. – Bloomington: Indiana univ. press, 1989. – Vol. 1, N 1. – P. 5–26.
- Garde-Hansen J.* Media and memory. – Edinburg, 2011. – 174 p.
- Gedi N., Elam Y.* Collective memory – What is it? // History and memory. – Bloomington, 1996. – Vol. 8, N 1. – P. 30–50.
- Gensburger S.* Halbwachs' studies in collective memory: A founding text for contemporary «memory studies»? // Journal of classical sociology. – L., 2016. – Vol. 16, N 4. – P. 396–413.
- Kansteiner W.* Finding meaning in memory: A methodological critique of collective memory studies // History and theory. – Middletown, 2002. – Vol. 41, N 2. – P. 179–197.
- Kansteiner W., Weilnboeck H.* Against the concept of cultural trauma (or how I learned to love the suffering of others without the help of psychotherapy) // Cultural memory studies: International and interdisciplinary handbook / A. Erll, A. Nunning (eds). – Berlin, 2010. – P. 229–241.
- Olick J.* «Collective memory»: A memoir and prospect // Memory studies. – L., 2008. – Vol. 1, N 1. – P. 23–29.
- Olick J.* Between chaos and diversity: Is social memory studies a field? // International journal of politics, culture and society. – N.Y., 2009. – Vol. 22, N 2. – P. 249–252.
- Olick J., Robbins J.* Social memory studies: From «collective memory» to the historical sociology of mnemonic // Annual review of sociology. – Palo Alto, Calif., 1998. – Vol. 24. – P. 105–140.
- Olick J., Sier A., Wuestenberg J.* The memory studies association: Ambitions and an invitation // Memory studies. – L., 2017. – Vol. 10, N 4. – P. 490–494.
- Tulving E.* Are there 256 different kinds of memory? // The foundations of remembering: Essays in honor of Henry L. Roedinger / Ed by J.S. Nairne. – N.Y.: Psychology press, 2007. – P. 39–52.
- Zeliezer B.* Reading the past against the grain: The shape of memory studies // Critical studies in mass communication. – Abingdon-on-Thames: Routledge, 1995. – Vol. 12, N 213. – P. 215–239.

А.В. ФЕЛЬКЕР*

ИССЛЕДОВАНИЯ НАСЛЕДИЯ И ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ – В ПОИСКАХ ОБЩИХ ПОДХОДОВ¹

Аннотация. В статье представлен обзор исследований наследия, а также анализ конкретных ситуаций (case studies) и методов, одинаково актуальных для изучения наследия и политики памяти. Авторы, заложившие основы дисциплины *Heritage Studies*, настаивали на том, что прошлое является конструктом, которое в виде наследия повсеместно используется в идеологических и коммерческих целях. Оставаясь верными данному методологическому принципу, работы последних лет значительно расширили понятийный аппарат дисциплины. Восточная Европа представляет интерес для исследований на пересечении наследия и политики памяти как регион с высокой концентрацией конкурирующих нарративов. Однако, как видно из публикаций последних лет, предложить общую рамку развития ситуации с наследием в регионе все еще представляется неразрешимой задачей.

Ключевые слова: историография; наследие; политика памяти; Восточная Европа; методология.

Для цитирования: Фелькер А.В. Исследования наследия и политики памяти – в поисках общих подходов // Политическая наука. – М., 2018. – № 3. – С. 32–52. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.02

* **Фелькер Анастасия Владимировна**, PhD, выпускница программы «Управление и развитие культурного наследия» Школы фундаментальных исследований в Лукке, Италия, независимый исследователь (Санкт-Петербург, Россия), e-mail: anastasia.felcher@alumni.imtlucca.it

Felcher Anastasia, independent scholar (St. Petersburg, Russia), e-mail: anastasia.felcher@alumni.imtlucca.it

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01589) в Институте научной информации по общественным наукам РАН.

A.V. Felcher
Heritage studies and the politics of memory –
in search for common approaches

Abstract. This article provides a historiography review of heritage studies, as well as examples of case studies and methods that are equally relevant for the study of heritage and politics of memory. The founding works of the Heritage Studies discipline insisted that the past is a construct universally used for ideological and commercial purposes. Following this methodological principle, contributions of recent years have significantly expanded conceptual framework of the discipline. The region of Eastern Europe is of interest for studies at the intersection of heritage and memory politics as the area with a high concentration of competing narratives. However, as one may observe in publications of recent years, offering a general framework for developments with heritage matters in the region remains to be a challenging task.

Keywords: historiography; heritage; politics of memory; Eastern Europe; methodology.

For citation: Felcher A.V. Heritage studies and the politics of memory – in search for common approaches // Political science (RU). – М., 2018. – N 3. – P. 32–52. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.02

Введение

В ноябре 2017 г. Гётеборгский университет анонсировал запуск новой серии публикаций «Критические исследования наследия» (*Critical Heritage Studies*) в рамках проекта *Cambridge Elements Series*, стартующего в 2018 г. Серия должна включить до 50 оригинальных публикаций, доступных в электронном виде [New book series... 2018]. Решение выделить отдельную серию публикаций сигнализирует о достижении определенного этапа в становлении изучения наследия как академической дисциплины (*Heritage Studies*). Со времени начала своего становления, прошедшего на 1980-е годы, исследования наследия накопили достаточный объем знания, чтобы разделиться на несколько взаимосвязанных, но отдельных ответвлений. Кроме уже упомянутых критических исследований наследия следует назвать исследования управления наследием (*Heritage Management*), законодательства в области наследия (*Heritage Legislation*), политики (охраны) наследия (*Heritage Policies*) и т.д. Развитие дисциплины можно проследить на примере динамики институционализации. Последняя демонстрирует стремительный и глобальный рост популярности, но

также и параллельной сегментации как образовательных программ в области наследия, так и академических проектов.

Важно понимать, что, с одной стороны, исследования наследия во многом опираются на достижения смежных дисциплин, таких как история, история искусств, социология, антропология, этнография, теория и практика архитектуры, реставрация, музейное дело и др.¹ С другой стороны, центральная проблема исследований наследия – в том, каким образом прошлое, понимаемое как комплекс объектов и смыслов, используется в настоящем – посредством практик и создания (новых) смыслов. Специалисты в данной области исходят из того, что наследие создается человеком путем выбора, что сохранять, а что нет, и путем формирования определенных дискурсов. Наследие включает в себе множество смыслов, зачастую конкурирующих друг с другом. Так, на наследие направлена полифункциональная агентность человека – как сообществ разных уровней, так и отдельных индивидов. Понимание наследия и практик его интерпретации ожидаемо менялось с течением времени, и одна из целей исследований наследия – проследить эту эволюцию и динамику. Агентность по отношению к наследию может проявляться в действии, бездействии, восприятии и др., но всегда имеет последствия. Эти последствия, равно как и принципы дискурсивного построения и комплекс действий по отношению к наследию, изучают на примере конкретных ситуаций (case studies) [Carman & Stig Sørensen, 2009 b, p. 20].

История и свойства предметов, объектов и практик, которые принято относить к наследию, изучались задолго до 1980-х годов, однако именно в этом десятилетии были опубликованы работы, задавшие методологическую рамку дисциплины. Это были тексты историков и географов, в которых представлялась новая интерпретация прошлого (и наследия как его носителя). В 1985 г. была опубликована книга Дэвида Лоуэнталя «Прошлое – чужая страна» [Lowenthal, 1985], она состояла из трех разделов, в каждом из которых автор рассматривал примеры того, как прошлое в разные периоды и на разных континентах влияло на построение настоя-

¹ Несмотря на то что университетские программы, посвященные наследию, ориентированы на подготовку специалистов, сведуших как в теории, так и в практике, потенциал размежевания и отсутствия кооперации между теоретиками и практиками в этой сфере остается высоким.

щего. На страницах этой книги автор развернул дискуссию о разнице между памятью и историей, а также ввел сюжет, остающийся и сегодня популярным у исследователей наследия и памяти, – о репрезентации прошлого в музеях и СМИ. В 1987 г. увидела свет провокационная книга Роберта Хьюисона «Индустрия наследия: Великобритания в условиях упадка» [Hewison, 1987]. Автор показывает, как в условиях послевоенной экономической и социальной неопределенности образ прошлого постепенно становился все более сглаженным и идеализированным. Это, по Хьюисону, стало отправным пунктом в развертывании индустрии наследия, которая при поддержке государственных институтов и повсеместной музеефикации объектов архитектуры и ландшафтов стремится создать образ прошлого, какого на самом деле никогда не существовало. В этом ключе написаны многие более поздние знаковые работы по наследию¹. Выдающийся труд команды французских ученых, состоящей более чем из сотни исследователей под руководством Пьера Нора, исследовал формирование французской национальной идентичности на примере создания мест памяти по всей стране. Коллекция из семи томов под общим названием «Места памяти», изданная в 1984–1992 гг. и вскоре переведенная на английский [Realms of memory, 1997], является общепризнанной историографической вехой. Именно эти работы закладывали методологические основы дисциплины изучения наследия.

Более поздние знаковые работы развивали понятийный аппарат дисциплины и изучали, как использование прошлого «работает» вне классических примеров прославления героических свершений. Следует упомянуть книгу Лораджейн Смит «Использования наследия» [Smith, 2006], где было введено в оборот понятие *авторизованного дискурса наследия* (*authorized heritage discourse*). По Смит, такой дискурс нацелен на некритическое понимание наследия, что способствует достижению консенсуса относительно прошлого, сглаживанию конфликтов и социальных различий. Этот дискурс

¹ К примеру, коллективная монография «Преумножая прошлое: Наследие, самобытность и место в многокультурных обществах» [Pluralizing pasts... 2007]; коллектив ее авторов внес весомый вклад в развитие дисциплины изучения наследия, в том числе в развитие понятийного аппарата. Одна из статей Грегори Дж. Эшворта, впервые опубликованная в 1994 г., в 2017 г. переведена на русский для тематического номера журнала «Неприкосновенный запас», посвященного проблемам наследия [Эшворт, 2017, с. 154–171].

дополняют *альтернативные и маргинальные дискурсы наследия* (*subaltern and dissenting heritage discourses*), часто противоречащие консенсусу и производимые «снизу». Смит уделяет особое внимание методу критического дискурс-анализа, настаивая, что то, как мы говорим о наследии, настолько же важно, как и то, какие действия мы совершаем по отношению к нему. Отдельно следует упомянуть работы, которые рассматривали «сложное» или «проблемное» наследие – места «темного прошлого». Методологические основы этого направления были заложены коллективной монографией «Диссонансное наследие: Управление прошлым как ресурс в конфликте» [Tunbridge, Ashworth, 1994]. В частности, опираясь на упомянутый коллективный труд, Джеффри К. Олик [Olick, 2013] анализирует инкорпорацию «сложных» тем, связанных с массовым насилием, в политику коммеморации. Олик показывает, как в ряде европейских стран публичное покаяние, общее чувство ответственности и справедливости выстраивали с помощью мест памяти – и наследия¹.

Сегодня разнообразие проблем в фокусе дисциплины и изученных конкретных ситуаций настолько велико, что коллективные монографии о методологии исследований наследия были опубликованы большинством авторитетных издательств академической литературы [The Ashgate research companion, 2008; Carman, Stig Sørensen, 2009 а, 2009 б; Understanding Heritage, 2013; A companion to heritage studies, 2015; The Palgrave handbook, 2015]. Для того чтобы дисциплина полноценно «состоялась», необходим собственный сложившийся и устоявшийся методологический аппарат. Не раз отмечалось, что исследования наследия «пользуются» классическими методами гуманитарных и социальных дисциплин, что, однако, не означает отсутствия своей методологии. Джон Карман и Мари-Луиза Стиг Сёренсен предлагают условно разделить методы исследования наследия на три категории – методы работы с текстами (контент, дискурс-анализ и др.); методы исследования человеческого поведения и отношения к наследию (интервью, включенное наблюдение и др.); методы изучения материальных

¹ Особенно это касается Холокоста, теме конструирования и поддержания памяти о котором посвящено множество работ [см.: Young, 1993]. С развитием историографии, посвященной памяти о Холокосте, одной из главных проблем в фокусе исследований оказываются вызовы, с которыми память о Холокосте сталкивается в тот момент, когда она становится транснациональной метафорой преступления против человечности [см.: Finkelstein, 2000; Replicating Atonement, 2017].

свойств наследия (включая семиотический анализ объектов и применение ГИС) [Carman & Stig Sørensen, 2009, p. 5]. К этому следует добавить методы изучения нематериальных (виртуальных) свойств наследия, так как изучение функционирования наследия в виртуальной реальности (в частности, в компьютерных играх) – одно из перспективных направлений внутри дисциплины.

То, как прошлое используют в настоящем, изучают и другие области знания, в частности исследования памяти (*Memory Studies*). Ряд методологических работ посвящен тому, как исследования памяти соотносятся с изучением наследия. В них наследие рассматривается как совокупность материальных и нематериальных маркеров коллективной памяти, которые помогают выстраивать и поддерживать последнюю. Диана Бартель-Буше утверждает, что локации, признанные наследием, обеспечивают физическое «основание» для космополитической памяти [Barthel-Bouchier, 2015, p. 221]. В качестве примеров она приводит узнаваемые глобально объекты, которые сегодня воспринимаются как символы территорий и государств (в их числе Кремль) [ibid., p. 223]. В то же время повсеместное взаимодействие с наследием происходит и на индивидуальном уровне (церемониальные ритуалы и туризм). Таким образом, наследие способствует формированию, циркуляции и закреплению памяти на транснациональном (глобальном), национальном, региональном, локальном, семейном и индивидуальном уровнях.

В настоящей статье нас будет интересовать определенный сегмент данного взаимодействия – сопряжение исследований наследия и политики памяти. Мы рассмотрим, как объекты наследия служат конструированию идеологически нагруженной коллективной памяти; приведем несколько примеров конкретных ситуаций (case studies), актуальных для обеих дисциплин; обсудим, какие именно методы были использованы для изучения выбранных конкретных ситуаций, что позволит говорить о гибкости и проницаемости дисциплинарных границ.

Наследие как политический ресурс

Исследования наследия последних лет расширили географический ареал в фокусе изучения. Дисциплине интересны все кон-

тиненты, контексты и сообщества, однако специалисты, работающие в западных университетах, тяготеют к исследованию Африки и Азии, в частности, под влиянием постколониальных исследований. Авторы, заложившие основу дисциплины исследований наследия, делали выводы прежде всего на материале западных стран, особенно европейских. После 1989 г. востребованным для исследований наследия и памяти стал регион Центральной и Восточной Европы, в первую очередь как территория многоликой и масштабной трансформации. Для местных жителей изучение региона имеет самостоятельную ценность, в рамках же глобальной историографии исследования политики наследия и памяти в данном регионе занимают ограниченное место [см.: Gonzalez Enriquez, 2001, p. 218–247; Murzyn, 2008, p. 316–346; *Cities after the fall*, 2009; *Heritage, ideology*, 2012; *History, memory*, 2013; *Bringing the dark past*, 2013]. Очевидно, что апроприация наследия в Восточной Европе происходит иначе, чем в Западной, но до сих пор не была предложена теоретическая модель, адекватно объясняющая происходящее в регионе. В отличие от Западной Европы, где примирение и покаяние были выбраны в качестве инструментов преодоления травмы Второй мировой войны и дальнейшего сплочения [см.: *The politics of memory*, 2006], в Восточной Европе эти практики восприняты лишь отчасти. Одним из решений такой историографической проблемы стала тенденция рассматривать регион Центральной и Восточной Европы как пространство разворачивания войн памяти, а следовательно – и войн за наследие.

Центральная тема на пересечении интересующих нас дисциплин – использование наследия в качестве ресурса и символического капитала для достижения политических целей, интересов и амбиций. Сюда же относятся исследования о логике принятия решений в вопросах наследия. Данная тема включает также и изучение стратегий взаимодействия профессионального сообщества, гражданского общества и представителей власти в вопросах охраны и интерпретации объектов наследия (материального и нематериального). На примере конкретных ситуаций мы рассмотрим, как исследователи находят ответы на следующие вопросы.

Каковы способы и механизмы использования объектов наследия в политических целях? Какую роль играет политический интерес в процессе принятия решений о необходимости сохранения наследия или игнорирования такой необходимости? Как про-

является столкновение различных интересов при интерпретации объектов наследия? Как те или иные интересы приобретают решающее значение? Как конструируется и проявляет себя идея «права первенства» интерпретации наследия и насколько потенциально конфликтен этот принцип? Как этот принцип становится предметом манипуляций?

Примеры, которые мы приводим ниже, демонстрируют объекты наследия в условиях неконфликтного использования (1), в условиях оспаривания / конкуренции (2) и маргинализации (3). Рассматриваемые случаи включают примеры, когда оспариваются сами объекты наследия либо тот или иной объект находится на территории, оспариваемой конкурирующими группами и нарративами. В последнем случае объекты наследия «работают» на «парадигму-победителя». Несмотря на то что теоретически возможно выделить три вышеперечисленных типа использования наследия, на практике эти типы часто сосуществуют, а неконфликтное использование наследия одним нарративом обеспечивается маргинализацией другого нарратива. Многие объекты наследия обладают сложным прошлым. В ситуации конкурирующих нарративов выделяется та грань истории объекта, которая отвечает задачам контролирующего нарратива, в то время как «неудобная» грань истории объекта может намеренно замалчиваться. Такое положение дел характерно для объектов, история которых связана с насилием.

К примеру, «Тюрьма на Лонцкого» во Львове (бывшая тюрьма, музей – с 2009 г.) позиционируется как место национального страдания украинцев. Музей акцентирует преступления работников НКВД, а особенно – расстрел нескольких сотен заключенных в июне 1941 г. При этом экспозиция музея умалчивает о том, как насилие по отношению к заключенным спровоцировало эскалацию насилия (погром) в отношении евреев-львовлян в июле того же года [Himka, 2015, p. 137–166]. Другой пример – музей жертв геноцида в Вильнюсе (1992), находящийся в бывшем здании КГБ, где геноцидом считаются действия советского правительства относительно литовского народа, а история уничтожения литовских евреев вынесена за стены данного музея [Wight, Lennon, 2007, p. 519–529]. Избирателен также и нарратив музея «Дом Террора» в Будапеште (открыт в 2002 г.), расположенного в здании бывшего Управления государственной безопасности Венгрии. Исследователи не раз отмечали стремление данного музея представить венгер-

скую историю XX в. с позиции жертвы, поневоле оказавшейся меж двух оккупационных режимов – нацистского и коммунистического. В то же время экспозиция музея умалчивает или обтекаемо комментирует как характер режима Хорти и режима «железной гвардии», так и участие венгерской стороны в установлении на территории Венгрии власти тех режимов, которые порицает экспозиция музея. Также, настаивая на статусе венгров как «главных» жертв, музей во многом игнорирует историю Холокоста в данной стране [Manchin, 2015, p. 236–251].

Ситуация умолчания, маргинализации и / или уничтожения объекта наследия также может быть в контексте спора за территорию, равно как в контексте «классической» конкуренции нарративов (к примеру, снос памятника Ленину в Харькове олицетворял сочетание двух таких конфликтов). Маргинализации может подвергнуться наследие недоминирующих этнических или классовых групп. Концепт наследия как ценности (материальной и символической), того, что по определению заслуживает сохранения, при этом находится в конфликте с политической повесткой дня, требующей уничтожения объекта. Смена политических режимов априори предполагает переосмысление, апроприацию либо маргинализацию «неудобного» наследия.

Со временем такое наследие может служить либо преодолению неудобного прошлого, либо дальнейшему умолчанию о нем. Самый известный пример здесь – еврейское культурное наследие, которое в некоторых локациях постсоветского пространства по разным причинам до сих пор маргинализировано, а в некоторых служит инструментом в попытках примирения (официальный нарратив мемориала «Площадь синагог» во Львове). Конкретные ситуации показывают, что в большинстве случаев присутствует смешение условий, и ранее маргинализированный объект наследия может впоследствии быть неконфликтно интерпретирован. Примеры, о которых речь пойдет ниже, указывают на то, что способы интерпретации наследия и смыслы, закрепленные за ним, меняются с течением времени. Исследователей интересует именно данная динамика смены смыслов и практик по отношению к наследию.

Идеологическое забвение и маргинализация вовсе не означают отсутствия действия и апроприации по отношению к «неудобному» наследию. В частности, Элеонора Нарвселиус показывает, как «немецкие» форты, построенные в середине XIX в. в

Кёнигсберге для защиты восточных границ Пруссии, в современном Калининграде, будучи идеологически неугодными объектами, становятся ареной музейного дела, забвения или игр в пейнтбол [Narvselius, 2018, p. 1–22]. Калининград – символически важный город для нарратива о победе в Великой Отечественной войне, так как именно война «привела» город и территории вокруг него в состав СССР. Хотя официальный нарратив настаивает на преемственности в вопросе символической принадлежности Калининграда условной «России», прусское / немецкое прошлое региона не является абсолютной фигурой умолчания. По Нарвселиус, эти два нарратива примиряются путем изобретения локальности – практик, апеллирующих к прошлому без «национальной» окраски. Форты несколько раз меняли не только свое прямое назначение, но и символический статус. Приведем некоторые примеры сегодняшнего использования фортов. Форт 5 – Музей Великой Отечественной войны (открыт в 2010 г.), один из бастионов – Музей янтаря, форт 3 – бывший военный склад, арендуемый частным лицом для проведения мероприятий. Форты Калининграда – это пример неконфликтного использования объекта наследия на ретроспективно оспариваемой территории. Целью Нарвселиус было показать, как легитимные сегодня нарративы сосуществуют с определенными способами умолчания. Исследование Нарвселиус основано на методах включенного наблюдения и интервью с лицами, вовлеченными в «работу» с фортами. Ее статья показывает, что данные методы остаются востребованными для исследований наследия.

Рассмотрим еще два примера неконфликтного использования объектов наследия со сложным прошлым, где интерпретация напрямую зависела от состояния коллективной памяти. Первый пример – Цитадель во Львове в бывшей Большой Максимилиановской башне № 2. В 2009 г. после реконструкции в башне была открыта гостиница. Брендинг гостиницы маркирует это место как пример австрийской фортификационной архитектуры и обещает гостям «любоваться Львовом сквозь призму исторических событий, среди роскоши австрийского имперского стиля, в окружении величественных пейзажей и средневекового духа» [История, б.г.]. Преднамеренно используя «беспроблемные» аспекты истории объекта, такой брендинг осознанно опускает «неудобную» историю объекта. Во время обеих мировых войн в цитадели размещались казармы различных войск, а во время Второй мировой войны –

нацистский лагерь военнопленных Шталаг-328, где последние не только содержались, но и уничтожались [вул. Грабовського, 11, б.г.]. Коммеморация военнопленных и подневольных рабочих времен Второй мировой войны не институционализована на постсоветском пространстве настолько, как коммеморация солдат, погибших на фронтах войн, жертв политических репрессий и геноцидов. Несмотря на то что решение коммерциализировать объект вызвало определенную публичную дискуссию в городе, башня осталась гостиницей.

Другим путем пошли в Фарге, местности на севере Германии недалеко от Бремена. С 2011 г. бункер «Валентин» в Фарге функционирует как мемориальный комплекс в память о судьбах подневольных рабочих, сгинувших на принудительных работах во время строительства бункера (официальное открытие состоялось в 2015 г.). Строительство началось в 1943 г. и было нацелено на создание инфраструктуры для сборки подводных лодок, чего, однако, так и не произошло. В строительстве использовался подневольный труд рабочих, пригнанных со всех концов Европы [см.: Buggeln, 2009, p. 606–632]. Будучи после войны в ведомстве военных, а с 1960-х вплоть до конца 2010 г. – немецкого военного флота, гигантское здание было режимным объектом и использовалось как склад. Создание мемориального центра стало результатом организованных усилий переживших войну бывших подневольных рабочих и финансирования со стороны федерального и государственного бюджета. Бункер в Фарге – пример, где конкуренция за объект (между военными и сторонниками мемориализации) не была открытой и доступной общественности. В то же время это пример того, как память о сложном прошлом постепенно становилась приоритетом в интерпретации места и объекта наследия, не без усилий одних акторов и противодействия со стороны других. Места, где ранее располагались лагеря, в которых содержались подневольные рабочие, также были помечены мемориальными знаками. Примеры во Львове и Фарге демонстрируют, как способы использования объектов наследия транслируют понимание состояния культуры памяти в конкретном регионе.

Историография последних лет рассматривает различные исторические периоды и на примере конкретных ситуаций показывает, как потенциально «неудобное» наследие может быть успешно и неконфликтно интегрировано в повестку дня того или иного по-

литического режима. Этого удается достичь благодаря стратегиям коммуникации между несколькими акторами. К примеру, в книге «Спасая имперский город Сталина: Сохранение исторических памятников в Ленинграде» (1930–1950) [Maddox, 2014] Стивен Мэддокс объясняет, почему в условиях крайнего дефицита ресурсов сразу после окончания Второй мировой войны столь много ресурсов было отдано на реставрацию памятников архитектуры в городе, с 1924 г. носящем имя Ленинград. Мэддокс утверждает, что к 1930-м годам объекты наследия имперской России удалось успешно интерпретировать в рамках нового советского патриотизма, опирающегося на образ славного прошлого русского народа. После войны и блокады города, а также оккупации и разрушения пригородных дворцов и парков, стремление восстановить поруганное наследие стало эффективным средством мобилизации, патриотизма и коммеморации. Восстановление былой роскоши парадных интерьеров дворцов города и области воспринималось как задача, успешное выполнение которой означало возврат к мирной жизни и окончательную победу над врагом. Музейщики пользовались этим аргументом в борьбе за ресурсы, необходимые для проведения реставрационных работ. Работа Мэддокса демонстрирует сложную агентность в вопросах принятия решений о сохранении объектов наследия. Важную роль в исследовании Мэддокса играют архивные документы, которые, наряду с газетными публикациями и статьями в специализированных изданиях 1930–1950-х годов, а также мемуарами, составляют богатую источниковую базу монографии. Это показывает, что в качестве источников для исследований наследия одинаково актуальны как интервью и включенное наблюдение, так и тексты – опубликованные или хранящиеся в архивах.

Ситуация конкуренции нескольких нарративов за публичное пространство города характерна для Восточной Европы. Особенно это актуально для городов пограничья, где сменяющие друг друга политические режимы каждый раз меняли пространство «под себя». Из примеров, среди многих, можно привести Колошвар / Клуж-Напока в Румынии (последовательная конкуренция австро-венгерского и румынского нарративов), Львов / Лемберг / Львів в Западной Украине (конкуренция австро-венгерского, польского, советского / русского и украинского нарративов), Прессбург / Братислава в Словакии (конкуренция условно немецкого, вен-

герского и словацкого нарративов), Кишинев / Кишинэу в Молдове (конкуренция имперского российского, румынского, советского и молдавского нарративов), Вильна / Вильно / Вильнюс в Литве (конкуренция российского, немецкого, польского, советского, литовского нарративов), Бреслау / Вратислава / Вроцлав в Польше. Ситуация конкуренции фиксируется в момент «перехода» города и его пространства в новое, по сравнению с предыдущим, состояние.

Рассмотрим подробнее пример Львова. В условиях смены политического режима после 1989–1991 гг. советское наследие приобрело статус проблемного. Большинство значимых объектов было делигитимировано и убрано из публичного пространства вскоре после смены режима, к примеру памятник Ленину. В то же время ряд памятников, посвященных победе в войне и погибшим в ней, оставались заброшенными, но нетронутыми. Эти памятники подверглись разрушению уже после 2014 г. в рамках декоммунизации. Собственную динамику имеет отношение к польскому наследию, связанное с попытками налаживания отношений между Украиной и Польшей, которые, однако, регулярно прерывались. Сложная и противоречивая ситуация возникает в отношении интерпретации / реинтерпретации австрийского наследия. Оно может использоваться для формирования образа города как «европейского якоря» Украины, но при этом должно быть по возможности очищено от польских коннотаций, поскольку восприятие Львова как оспариваемого пограничья до сих пор сохраняется в украинской среде. Свою отдельную динамику имеет отношение к еврейскому наследию. Период равнодушия и безразличия (1990-е годы) сменился периодом повышенного внимания, что связано с коммерциализацией «еврейской темы» (2000-е и 2010-е годы) [Narvselius & Bernsand, 2014, p. 59–84]. Таким образом, кроме украинского, во Львове развивается как минимум четыре самостоятельных сюжета в интерпретации наследия современными властями города и страны, а также общественными организациями и предпринимателями. Очевидно, что построение единой модели, охватывающей все эти процессы, будет делом затруднительным или даже невозможным.

Если советское наследие в ряде стран утратило свой былой статус, то другие виды наследия, наоборот, этот статус обретают. Случается, что наследие отсутствующей группы вдруг становится актуальным и – под воздействием комплекса факторов – вызывает массовый интерес. В условиях отсутствия «изначальных» хозяев

наследия по причине насилия (преднамеренного уничтожения или изгнания) факторами, актуализирующими наследие, являются восприятие отсутствующего как экзотики, комплекс вины и культура ответственности (если таковые имеют место). Все эти факторы присутствуют в феномене еврейского культурного наследия, а также его коммерциализации и потребления. Попытки интерпретации наследия отсутствующей (а особенно – физически уничтоженной) группы вызывают ряд проблем морального и этического порядка, в частности, о «праве первенства» на интерпретацию такого наследия [см.: Gruber, 2002].

Одна из действующих сегодня стратегий использования наследия для построения транснациональной идентичности – проекты Европейского союза. Среди них следует назвать *Европейские культурные маршруты* (*European Cultural Routes*), *Дни европейского наследия* (*European Heritage Days*) и маркирование локаций как *места Европейского наследия* (*European Heritage Label*). Все данные проекты направлены на укрепление идеи общеевропейской идентичности. Задача выстраивания европейского наследия в новых странах Евросоюза часто сопрягается с использованием в качестве «конституирующего другого» советского, а также русского, нередко представленного как советское / имперское. Практики обращения с таким наследием варьируются от физической элиминации до превращения его в фигуру умолчания на уровне публичного дискурса. В ряде стран Восточной Европы отречение от советского происходило параллельно со стремлением к европейскому.

Маргинализация может принимать и другие формы, например профанирование. Наследие часто становится предметом потребления и коммерциализации в рамках индустрии потребления. Профанирование «неудобного» наследия в посткоммунистической Восточной Европе можно продемонстрировать на примере парков коммунистических скульптур – частный парк-музей Грутас недалеко от г. Друскининкай в Литве (открыт в 2001 г.) или парк-музей под открытым небом «Мементо» вблизи Будапешта (открыт в 1993 г.). «Спустившись с пьедесталов» и перестав быть «сакральными», памятники, выставленные в парках, остаются наследием и служат назидательным целям в той же мере, как и развлекательным. Демонтаж советских памятников и скульптур как часть деконструкции в Украине – еще один сюжет, заслуживающий внимания. В то же время в Беларуси советское наследие не отрицается

и не разрушается, а, наоборот, вписано в сегодняшний нарратив. В России относительно короткий период борьбы с советским наследием в первой половине 1990-х годов сменился маргинализацией, но без разрушения советской скульптуры. Снятые в 1990-е годы в Москве памятники собраны в музее скульптуры под открытым небом «Музеон» (открыт в 1992 г.). Как показала история с восстановлением памятника М. Горькому на площади у Белорусского вокзала в Москве в 2017 г., возможно и обратное «путешествие» памятников из «парковой ссылки» на изначальное место.

Заключение

В данной статье приведены примеры конкретных ситуаций, одинаково актуальных как для исследований наследия, так и для изучения политики памяти. Работы, написанные на методологическом пересечении данных дисциплин, показывают конкретные примеры использования наследия как оспариваемого ресурса, который может по-разному быть интерпретирован в меняющихся условиях. Рассмотренные примеры демонстрируют, что диапазон сопряжения дисциплин довольно обширен, а дисциплинарные границы подвижны. Регион Восточной Европы особенно актуален для таких междисциплинарных исследований из-за высокой динамики изменений, сопровождающих трансформацию в регионе.

Список литературы

- История. – Львов, [б.г.]. – Режим доступа: <http://ru.citadel-inn.com/otel/istorija/> (Дата посещения: 20.02.2018.)
- Эшворт Г. Дж. Культурное наследие и проблема наследования. От истории к наследию – от наследия к идентичности: В поисках понятий и мод // Неприкосновенный запас. – М., 2017. – № 114. – С. 154–171.
- Вул. Грабовського, 11 – готель «Цитадель Інн» (Велика Максиміліанська вежа № 2). – Львов, [б.г.]. – Режим доступа: <http://www.lvivcenter.org/uk/lia/objects/citadel-2-tower/> (Дата посещения: 19.02.2018.)
- A companion to heritage studies / W. Logan, M.N. Craith, U. Kockel (eds). – Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2016. – 624 p.
- Barthel-Bouchier D. Cultural heritage // Routledge international handbook of memory studies / A.L. Tota, T. Hagen (eds). – L.: Routledge, 2015. – P. 221–232.

- Bringing the dark past to light: The reception of the Holocaust in postcommunist Europe / J-P. Himka, J.B. Michlic (eds). – Lincoln: Univ. of Nebraska press, 2013. – 736 p.
- Buggeln M.* Building to death: prisoner forced labour in the German war economy – the Neuengamme subcamps, 1942–1945 // *European history quarterly*. – L.: SAGE Publications Inc., 2009. – Vol. 39, N 4. – P. 606–632.
- Carman J., Stig Sørensen M.L.* Heritage studies: an outline // *Heritage studies. Methods and approaches* / J. Carman, M.L. Stig Sørensen (eds). – L.: Routledge, 2009 a. – P. 11–28.
- Carman J., Stig Sørensen M.L.* Introduction: making the means transparent: reasons and reflections // *Heritage studies. Methods and approaches* / J. Carman, M.L. Stig Sørensen (eds). – L.: Routledge, 2009 б. – P. 3–10.
- Cities after the fall of Communism: Reshaping cultural landscapes and European identity / J. Czaplicka, N. Gelazis, B.A. Ruble (eds). – Washington, DC; Baltimore: Woodrow Wilson center press: Johns Hopkins univ. press, 2009. – 368 p.
- Finkelstein N.G.* The Holocaust industry: Reflections on the exploitation of Jewish suffering. – L.; N.Y.: VERSO, 2000. – 150 p.
- Gonzalez Enriquez C.* De-communization and political justice in Central and Eastern Europe // *The politics of memory: Transitional justice in democratizing societies* / A. Barahona De Brito, C. Gonzalez Enriquez, P. Aguilar (eds). – Oxford: Oxford univ. press, 2001. – P. 245–274.
- Gruber R.E.* Virtually Jewish: reinventing Jewish culture in Europe. – Berkeley: Univ. of California press, 2002. – 317 p.
- Heritage, ideology, and identity in Central and Eastern Europe: Contested pasts, contested presents / Ed. by M. Rampley. – Woodbridge, Suffolk; Rochester, N.Y.: Boydell press, 2012. – 206 p.
- Hewison R.* The heritage industry: Britain in a climate of decline. – L.: Methuen, 1987. – 160 p.
- Himka J-P.* The Lonsky street prison memorial museum: An example of post-communist megationism // *Perspectives on the entangled history of communism and Nazism: a comnaz analysis* / K-G. Larsson, J. Stenfeldt, U. Zander (eds). – Lanham: Lexington books, 2015. – P. 137–166.
- History, memory and politics in Central and Eastern Europe: Memory games / G. Mink, L. Neumayer (eds). – L.: Palgrave Macmillan UK, 2013. – 270 p.
- Lowenthal D.* The past is a foreign country. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1985. – 489 p.
- Maddox S.M.* Saving Stalin's imperial city: Historic preservation in Leningrad, 1930–1950. – Bloomington: Indiana univ. press, 2014. – 296 p.
- Manchin A.* Staging traumatic memory: competing narratives of state violence in post-communist Hungarian museums // *East European Jewish affairs*. – L.: Taylor & Francis, 2015. – Vol. 45, N 2–3. – P. 236–251.
- Murzyn M.A.* Heritage transformation in Central and Eastern Europe // *The Ashgate research companion to heritage and identity* / B. Graham, P. Howard. (eds). – L.: Ashgate publishing, Ltd., 2008. – P. 315–346.

- Narvselius E., Bernsand N.* Lviv and Chernivtsi: Two Memory Cultures at the Western Ukrainian Borderland // *East/West: Journal of Ukrainian studies*. – Edmonton: Canadian institute of Ukrainian studies, 2014. – Vol. 1, N 1. – P. 59–84.
- Narvselius E.* Demonized, domesticated, virtualized: fortification buildings as a case of Prussian heritage in present-day Kaliningrad // *Nationalities papers*. – L.: Routledge, 2018. – P. 1–22.
- New book series focuses on Critical Heritage Studies. – Gothenburg, 2017. – Mode of access: <https://criticalheritagestudies.gu.se/news/n/new-book-series-focuses-on-critical-heritage-studies-.cid1530824> (Accessed: 14.02. 2018.)
- Olick J.K.* The politics of regret: On collective memory and historical responsibility. – L.: Routledge, 2013. – 240 p.
- Pluralising pasts: heritage, identity and place in multicultural societies / G.J. Ashworth, B.J. Graham, J.E. Tunbridge (eds). – L.: Pluto press, 2007. – 236 p.
- Realms of memory. The construction of the French past / P. Nora, L. Kritzman (eds). – N.Y.: Columbia univ. press, 1997. – 642 p.
- Replicating atonement: Foreign models in the commemoration of atrocities / Ed. by M. Gabowitsch. – Dordrecht: Springer, 2017. – 353 p.
- Smith L.* Uses of heritage. – L.: Routledge, 2006. – 368 p.
- The Ashgate research companion to heritage and identity / B. Graham, P. Howard (eds). – L.: Ashgate publishing, Ltd., 2008. – 474 p.
- The Palgrave handbook of contemporary heritage research / E. Waterton, S. Watson (eds). – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. – 586 p.
- The politics of memory in postwar Europe / R.N. Lebow, W. Kansteiner, C. Fogu (eds). – Durham, NC: Duke univ. press, 2006. – 366 p.
- Tunbridge J.E., Ashworth G.J.* Dissonant heritage: The management of the past as a resource in conflict. – Chichester; N.Y.: John Wiley, 1994. – 299 p.
- Understanding heritage: Perspectives in heritage studies / M-T. Albert, R. Bernecker, B. Rudolff (eds). – Berlin.: Walter de Gruyter, 2013. – 210 p.
- Wight A.C., Lennon J.J.* Selective interpretation and eclectic human heritage in Lithuania // *Tourism management*. – Oxford: Elsevier, 2007. – Vol. 28, N 2. – P. 519–529.
- Young J.E.* The texture of memory: Holocaust memorials and meaning. – New Haven, CT: Yale univ. press, 1993. – 398 p.

ИДЕИ И ПРАКТИКА

О.Ю. МАЛИНОВА*

**ОБОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 2000-х ГОДОВ
В ДИСКУРСЕ В.В. ПУТИНА И ФОРМИРОВАНИЕ
МИФА О «ЛИХИХ ДЕВЯНОСТЫХ»¹**

Аннотация. Статья является частью проекта, посвященного конструированию смысловых рамок коллективной памяти о девяностых и нулевых годах XX в. в российском политическом дискурсе. Она анализирует репрезентации опыта девяностых годов в выступлениях В.В. Путина с января 2000 г. по май 2008 г. Автор выделяет четыре способа конструирования смысловых рамок памяти о девяностых годах: 1) критические оценки политики 1990-х годов и ее результатов; 2) конструирование узнаваемых слов-знаков, 3) использование популистской риторики, сочетающей демонстрацию заботы о людях с явной и неявной критикой «других» политиков; 4) воспроизводство нарративов, позволяющих неявно формировать представления о связи между событиями за счет отбора и последовательности эпизодов, а также характеристики действующих лиц. Пред-

* **Малинова Ольга Юрьевна**, доктор философских наук, профессор, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН, e-mail: omalinova@hse.ru

Malinova Olga, National Research University Higher School of Economics; Political Science Department, INION RAN (Moscow, Russia), e-mail: omalinova@hse.ru

¹ Исследование проводится в рамках проекта «Конструирование смысловых рамок коллективной памяти в политическом дискурсе: “лихие девяностые” vs “стабильные нулевые”» при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 17-03-00322.

© Малинова О.Ю.

DOI: 10.31249/poln/2018.03.03

ставляя собственный политический курс по контрасту с предшествующим периодом, В. Путин способствовал формированию мифа о «лихих девяностых».

Ключевые слова: коллективная память; символическая политика; политический дискурс; миф; официальный нарратив; Путин; сильное государство; стабильность; популизм; Чеченская война.

Для цитирования: Малинова О.Ю. Обоснование политики 2000-х годов в дискурсе В.В. Путина и формирование мифа о «лихих девяностых» // Политическая наука. – М., 2018. – № 3. – С. 53–84. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.03

O.Yu. Malinova

Justifying the political course of the 2000 s and constructing the myth about «the hard nineties» in the Vladimir Putin's discourse

Abstract. The article is a part of the study devoted to framing of memory about the 1990 s and the 2000 s in the Russian political discourse. It presents the results of analysis of representations of the 1990 s in Vladimir Putin's speeches and interviews from January, 2004 to May, 2008. The author reveals four methods of framing the experience of the 1990 s: 1) explicit criticism of the policy of the 1990 s and its results; 2) constructing recognizable verbal signs; 3) using populist rhetoric that combines demonstration of care about people's needs with criticism of «the other» politicians; 4) telling narratives that implicitly shaped connections between events by the selection of episodes and roles assigned to actors. By representing his policy in contrast to the previous experience, Putin contributed to constructing the myth about «the hard nineties».

Keywords: collective memory; symbolic politics; political discourse; political myth; official narrative; strong state; stability; populism; War in Chechnya.

For citation: Malinova O.Yu. Justifying the political course of the 2000 s and constructing the myth about «the hard nineties» in the Vladimir Putin's discourse // Political science (RU). – М, 2018. – N 3. – P. 53–84. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.03

Противопоставление «стабильных нулевых» «лихим девяностым» – прием, часто используемый российскими политиками и журналистами. Девяностые годы устойчиво ассоциируются с «ослаблением государства» и неконтролируемой децентрализацией власти, «беспределом», экономическими трудностями и утратой влияния на мировую политику; нулевые годы – с возвращением «сильного государства» и «укреплением вертикали» исполнительной власти, обретением политической и экономической «стабильности», упрочением международного статуса. Смысл данной оппозиции кажется «самоочевидным», вытекающим из пережитого личного и коллективного опыта. Однако анализ социологических данных показывает, что в действительности квалификация 1990-х

как «тяжелого десятилетия» складывалась ретроспективно. Опросы, проводившиеся непосредственно в этот период, зафиксировали более значительный разброс позитивных и негативных оценок происходивших трансформаций по сравнению с данными, полученными в середине 2000-х годов [Левинсон, 2007, с. 492–496]. Согласно выводам социолога А. Левинсона, начальный момент переоценки опыта девяностых годов совпал с добровольной отставкой Б. Ельцина и был следствием реакции недовольства и разочарования действиями его правительства. Приход к власти В. Путина, по стечению обстоятельств совпавший с началом третьего тысячелетия, воспринимался как начало новой эры. По наблюдениям Левинсона, в первой половине 2000-х годов «1990-е подверглись не только гомогенизации, перекрашиванию в один цвет, но и ревизии. Мнение о том, что это было десятилетие исторического прорыва, изменившего к лучшему судьбы чуть ли не половины человечества, исчезло из обихода. Выдвинута прямо противоположная оценка тех же событий как катастрофы XX века» [там же, с. 503].

С точки зрения теории символической политики изменение общественных настроений, зафиксированное опросами левадовского ВЦИОМ, не следует рассматривать как реакцию на нечто «очевидное». Очевидным был лишь факт прихода нового президента, но не содержание его политического курса (вспомним, как после отставки Ельцина все задавались вопросом: «Who is Mr. Putin?»). Сфера политики не является частью непосредственного жизненного опыта большинства граждан, поэтому ожидания, связанные со сменой власти, формируются в ответ на сигналы, подаваемые политическими акторами и «осведомленными» лидерами мнений [Edelman, 1972]. С учетом этого есть основания предполагать, что оппозиция девяностых и нулевых годов сформировалась и поддерживается, наполняясь новыми смыслами, в процессе взаимодействия разных дискурсов.

Необходимость исследования символической борьбы, продуктом которой является противопоставление «лихих девяностых» «стабильным нулевым», подкрепляется и теориями социальной / коллективной памяти, утверждающими, что представления о прошлом всегда имеют социальную природу. Личный опыт, откладываясь в воспоминаниях, вписывается в смысловые рамки (фреймы), усваиваемые индивидами через дискурсы, которые они

потребляют и производят. Для описания этого феномена французский социолог Морис Хальбвакс ввел в 1920-х годах понятие «коллективная память» [Halbwachs, 1992]. Концепция коллективной памяти рассматривает представления о прошлом не столько как достояние индивидов, сколько как производное от символов и нарративов, доступных в публичном пространстве, а также социальных средств их сохранения и передачи. Большинство современных исследователей вслед за американским социологом Джеффри Оликом считают нужным различать сформированную социально разделяемыми представлениями память индивидов (collected memory, массовая индивидуальная память, изучается на индивидуальном уровне) и символические структуры, задающие социальные паттерны воспоминания прошлого (collective memory, собственно коллективная память, изучается на социальном уровне) [Olick, 1999; Müller, 2004; Langenbacher, 2010; etc.].

Предметом настоящего исследования является collective memory в обозначенном выше смысле. В соответствии с таксономией, предложенной Алейдой Ассман, в отличие от социальной памяти как «скоординированной памяти отдельных индивидов», основанной на непосредственной речевой коммуникации, коллективная память характеризуется «наличием опоры в виде символов, которые закрепляют воспоминания для будущего» и обеспечивают их «императивную общность» для следующих поколений [Ассман, 2014, с. 32]. «Символы, закрепляющие воспоминания», могут быть вербальными и невербальными. Они формируются усилиями различных социальных акторов – журналистов, публицистов, кинематографистов, художников и др. В этом ряду особая роль принадлежит политикам, поскольку память о недавнем прошлом служит им инструментом оправдания или критики политики, проводимой в настоящем. Прибегая к этому ресурсу, они вольно или невольно включаются в борьбу интерпретаций постепенно становящегося историей коллективного опыта, участвуют в формировании закрепляющих его мифов и стереотипов.

Настоящая статья подготовлена в рамках исследовательского проекта о конструировании смысловых рамок коллективной памяти о девяностых и нулевых годах в российском политическом дискурсе. В ней представлен анализ репрезентации опыта девяностых годов в выступлениях В. Путина с января 2000 г. по май 2008 г. Исследование охватывает период, когда после отставки Б. Ельцина

В. Путин вел свою первую избирательную кампанию, одновременно исполняя обязанности главы государства, а также первые два срока его работы в этой должности. Особое внимание уделяется началу 2000-х годов, когда в контексте обоснования нового курса складывались основные принципы репрезентации опыта 1990-х годов. Учитывая, что отмеченные Левинсоном изменения общественного мнения оформились именно в этот период, есть основания полагать, что исследование риторики В. Путина как главного агента перемен, приведших к смене политических эпох, дает ключ к пониманию их символических механизмов.

Методика исследования

Для анализа были отобраны стенограммы *всех* публичных выступлений и интервью, в которых затрагивались темы, имеющие отношение к политике и общественным практикам девяностых годов (N=185, в том числе N=108 – для первого президентского срока Путина и N=77 для второго; источник – портал «Президент России»). Исследование проводилось методом качественного контент-анализа с помощью программы «MAXQDA 2018», которая позволяет формировать систему кодов, находить по запросу закодированные исследователем фрагменты, анализировать их пересечения и оценивать их вес в различных группах текстов. Целью кодирования было выделить основные паттерны репрезентации и противопоставления «ельцинского» и нового, «путинского» этапа. Система кодов формировалась индуктивно: сначала в тексте выделялись ключевые слова и темы, использовавшиеся для характеристики прежнего и нового курса; на основе их анализа и обобщения были выделены *категории* (коды, снабженные операциональными признаками) и субкатегории, которые в дальнейшем использовались для кодирования сходных по смыслу фрагментов текста. Система кодов пополнялась и уточнялась по мере появления новых ключевых слов и ключевых тем.

Выбор индуктивной методики кодирования объясняется необходимостью зафиксировать изменения, происходившие в дискурсе В. Путина на протяжении восьми с лишним лет. Однако эта методика не позволяет делать точные подсчеты, поскольку при индуктивном кодировании сложно обеспечить строгое единообра-

ние классификации высказываний. Поэтому при описании результатов исследования я ограничиваюсь словесной характеристикой паттернов.

При обобщении результатов первичного кодирования получились категории двух типов. Категории первого типа были образованы на основе часто используемых ключевых слов (*сильное государство, сильная власть, наведение порядка, диктатура закона, стабильность, единство, демократия, свобода* и т.п.). Они представляют собой *слова-знаки*, которые на уровне означаемого могут иметь разные следствия¹. Будучи активно употребляемыми как самим В. Путиным, так и другими спикерами, такие слова-знаки могут рассматриваться в качестве инструментов конструирования смысловых рамок памяти – вербальных «символов, закрепляющих воспоминания». Категории второго типа (мы будем называть их *аналитическими*) складывались путем выявления общих признаков высказываний, имевших сходные интенции (*популизм, консолидация, международный статус России* и т.п.); выполняя одинаковые смысловые функции, они не имеют сходства на уровне лексических маркеров. Как будет показано ниже, эти типы связаны с разными способами легитимации власти нового лидера по контрасту с предшественником.

Критика опыта 1990-х годов в выступлениях В. Путина

Оправдание (justification) политического курса всегда так или иначе опирается на оценки предшествующего периода. Это одна из причин, по которой недавнее прошлое оказывается предметом внимания политиков раньше, чем к нему обращаются историки. В случае смены лидера и / или команды, когда важно сформировать образ новой власти, логично ожидать, что опыт предыдущей команды будет интерпретироваться критически. Придя к власти в качестве преемника, выбранного самим Б. Ельциным, В. Путин оказался в сложном положении: с одной стороны, ему важно было дистанцироваться от непопулярного предшественника, с другой – требовалось

¹ К тому же выводу пришел К.Е. Петров, анализирувавший вариации концепта «сильное государство» в российском политическом дискурсе [Петров, 2006, с. 175].

соблюдать лояльность по отношению к нему. Принято считать, что в первые годы пребывания у власти В. Путин воздерживался от критики Ельцина. Этот вывод подтверждается и нашими наблюдениями на материале президентских посланий Федеральному собранию: в них нарратив о распаде СССР как «крупнейшей геополитической катастрофе века» и о трудном опыте 1990-х годов появился в 2004–2005 гг. [Малинова, 2015, с. 145–146]. Однако изучение полного корпуса выступлений В. Путина показало, что он и прежде не упускал возможности набрать очки за счет критики в адрес предшественников. При этом количество критических высказываний в заранее подготовленных выступлениях и спонтанных ответах на вопросы примерно одинаково. Основная доля негативных оценок девяностых годов приходится на первые годы пребывания В. Путина у власти. Это подтверждает наше предположение о том, что критика В. Ельцина была неизбежной данью законам политической риторики – ведь в дальнейшем роль «фона» стали играть результаты политики самого В. Путина. Как мы увидим, это потребовало некоторой корректировки нарратива о девяностых и нулевых годах.

В начале своего президентства, выступая перед разными аудиториями, В. Путин негодовал по поводу многомесячных задержек с выплатами пенсий, пособий и зарплат; вспоминал о потерях, которые за годы реформ понесли сельское хозяйство, оборонная промышленность, наука и образование; сожалел о том, что за прошедшие десять лет государство «недопустимо мало сделало» по отношению к соотечественникам [Путин, 2001 б]. Он критиковал решение о выплате долгов СССР [Путин, 2001 а] и порицал прежнее правительство за нерешительность в проведении пенсионной реформы [Путин, 2002 а]. Во время своей первой избирательной кампании Путин назвал «крупномасштабной ошибкой» Хасавюртовские соглашения 1996 г., в соответствии с которыми федеральные войска покинули Чечню [Путин, 2000 б]. Этот пункт его критической повестки имел заметный резонанс в СМИ. Взявшись за формирование «вертикали» федеральной исполнительной власти, призванной исправить издержки децентрализации, избранный президент не раз говорил, что «мы несвоевременно перешли к выборности [руководителей регионов. – О. М.] – слишком далеко шагнули... Нужно было проявить большую осмотрительность и

осторожность»¹ [Путин, 2000 в]. Это тоже широко обсуждалось. Впрочем, в то время Путин полагал, что «отбирать право избирать и быть избранными – неправильно» [там же]. Можно привести и некоторые другие примеры, когда, стремясь заручиться поддержкой избирателей или разъясняя собственную политику, В. Путин критиковал действия своих предшественников (без указания имен – что тоже отвечает «правилам жанра»). Однако нельзя сказать, что он делал это часто – нейтральных и позитивных характеристик ельцинского периода в его выступлениях было существенно больше.

Но не критика была главным инструментом формирования негативного образа девяностых годов в дискурсе В. Путина. Легитимируя собственную власть, он представлял свой политический курс в качестве *исправления ошибок девяностых* годов. Тем самым он умышленно или неумышленно конструировал оппозицию девяностых и нулевых годов, наделяя эти отрезки исторического времени противоположными качествами. Следует заметить, что репрезентация реальности по бинарному принципу вообще свойственна человеческому мышлению: стремясь понять действительность, люди часто оперируют полярными по смыслу категориями [Binaries in battle... 2014, p. 7–8]. По наблюдениям Ю. Лотмана и Б. Успенского, подобный дуализм особенно характерен для русской культуры Нового времени [Лотман, Успенский, 2002]. И хотя отсылки к недавнему историческому опыту в риторике В. Путина иногда имели вид тернарных конструкций (советский этап – девяностые годы – современный этап), в начале 2000-х годов он существенно чаще апеллировал к опыту предыдущего десятилетия.

Ниже рассмотрим три способа легитимации по контрасту с предшествующим периодом, характерных для дискурса В. Путина в 2000–2008 гг. Они связаны с использованием: 1) узнаваемых слов-знаков; 2) популистской риторики, сочетающей демонстрацию заботы о людях / понимания их нужд с явной и неявной критикой «других»; 3) нарративных конструкций, формирующих рассказы о событиях недавнего прошлого за счет отбора действующих лиц и выстраивания последовательности значимых эпизодов.

¹ Здесь и далее выделения курсивом в цитатах сделаны автором статьи.

Слова-знаки: «сильное государство»

Ярким примером слова-знака является категория «*сильное государство*». Она распадается на несколько субкатегорий: в разных случаях, говоря о «сильном государстве», В. Путин имел в виду разные вещи – «сильную власть» (власть, обладающую должной «политической волей»), борьбу с сепаратизмом и стабилизацию государственных границ (прекращение «расползания государства»), совершенствование механизмов государственного управления («укрепление государства»), более уверенную защиту национальных интересов на международной арене, наконец, «силу» как качество макрополитического сообщества, стоящего за Российским государством.

Во всех этих значениях категория «сильное государство» имела оттенок противопоставления *силы*, декларируемой применительно к настоящему или будущему, – *слабости*, связываемой с наследием недавнего прошлого. Например, в «Открытом письме» избирателям, подготовленном к официальному началу его избирательной кампании, В. Путин назвал «*ослабление воли*» «нашей первой и самой главной проблемой». Сетую на «*разболтанную государственную машину*» и «*все больше теряющую лицо*» власть, он декларировал: «*Пора наконец вступать в прямой контакт с проблемами. И в первую очередь с самыми опасными из них*» [Путин, 2000 а]. Наиболее насущные для общества вопросы – недостаток уверенности в завтрашнем дне, разгул преступности, отсутствие внятных правил для бизнеса, коррупцию, необходимость бороться с сепаратизмом и терроризмом в Чечне и т.п. – В. Путин связывал с «*ослаблением государства*», «*разболтанностью государственных институтов*» [Путин, 2000 г. и др.].

Эта тема была одной из главных в его избирательной кампании. Вскоре после инаугурации В. Путин издал указ о введении федеральных округов и инициировал серию законов, призванных укрепить «вертикаль» исполнительной власти. Они предусматривали изменение принципов формирования Совета Федерации; учреждение порядка отстранения от должности руководителей регионов и роспуска законодательных собраний, принимающих акты, идущие вразрез с федеральными законами; а также аналогичное право для глав территорий в отношении нижестоящего уровня власти. Выступая по этому случаю со специальным теле-

обращением, В. Путин подчеркивал, что «речь идет о законах, которые скрепляют и цементируют российскую государственность» [Путин, 2000 д]. Таким образом, «восстановление... работающей властной вертикали» было представлено как первый шаг к «*сильной и ответственной власти*» [там же]¹.

Словосочетание «сильное государство» имело очевидные антилиберальные коннотации. Вспомним, что тезис о «засилье тоталитарного государства» играл важную роль в перестроечном дискурсе, а в дальнейшем идея ограничения государства стала едва ли не центральным элементом постсоветских версий либерализма в России [Малинова, 2017, с. 11–12]. «Сильное государство» вызывало ассоциации с диктатурой и у части зарубежной аудитории, тем более что В. Путин и сам любил говорить о «диктатуре закона». В многочисленных интервью он вынужден был разъяснять, что за идеей «сильного государства» «не стоит ничего, кроме... необходимости достижения... состояния, при котором *государство будет эффективным* в достижении задач, которые перед этим государством стоят» [Путин, 2001 в]. В конечном счете он стал употреблять эти прилагательные через запятую, доказывая, что «*построение сильного, эффективного государства* не может и не должно ни в коем случае приводить к нарушениям гражданских свобод» [Путин, 2000 е]. В выступлениях 2003–2008 гг. В. Путин чаще говорил об «*эффективном государстве*». Однако на начальном этапе противопоставление *силы* – *слабости* сыграло важную роль в легитимации власти молодого и энергичного В. Путина по контрасту со старым и больным Ельциным.

Защищаясь от обвинений в антилиберальности, В. Путин вносил свою лепту в конструирование нарратива о «разгуле свобо-

¹ Любопытно, что, когда осенью 2004 г., после захвата заложников в Беслане В. Путин инициировал введение нового порядка назначения глав регионов, он тоже использовал оппозицию *силы* и *слабости*. В специальном обращении он заявил: «...нужно признать, что мы не проявили понимания сложности и опасности процессов, происходящих в своей собственной стране и в мире в целом... *Проявили слабость. А слабых – бьют*» [Путин 2004 б]. Однако было бы неверно видеть в этом параллель с «ослаблением государства» при Ельцине в 1990-е годы: в данном случае рассуждения о «нашей слабости» были призваны подчеркнуть угрозу безопасности и обосновать необходимость *сильной* чрезвычайной меры – отмены выборов руководителей регионов, которую Путин и сам еще недавно отвергал.

ды» в 1990-х годах. С одной стороны, он неизменно признавал, что Ельцин «дал России свободу» [Путин, 2003 а; ср.: Путин, 2006]. А с другой стороны, не раз указывал на перегибы либеральной политики 1990-х годов. Так, в июле 2000 г., возражая своим критикам, он говорил: «В результате того, что *власть парализовала себя* внутренними противоречиями, мы получили, наверное, самое свободное общество – к сожалению, *свободное даже от закона, порядка и морали*. Многих это устраивало – *потому что было выгодно*. Теперь, когда «сладкая жизнь» кончилась и от разговоров о порядке мы перешли к наведению этого самого порядка, понеслись крики – мол, это угроза свободе, угроза демократии! Но есть ли для этого основания?» [Путин, 2000 е]. Называя свободу достижением 1990-х годов, В. Путин высказывал сомнение в ее качестве, называя ее чрезмерной («даже от закона, порядка и морали») и намекая, что свобода-беспорядок способствовала чьей-то выгоде. Это позволяло представить «укрепление государства» как меру, если и ограничивающую «свободу», то ради «порядка», который не удалось навести Ельцину. В середине 2000-х годов, когда началась активная работа с идеологемой *суверенной демократии*, В. Путин тщательно оговаривал, что речь не о «той» демократии, которая ассоциируется с девяностыми годами: «думаю, что многие со мной согласятся: *внедрение принципов и норм демократии не должно сопровождаться развалом государства и обнищанием народа*. Мы считаем, и я лично считаю, что внедрение и укрепление демократии на российской почве не должно компрометировать самого понятия демократии. Оно должно *укреплять государственность и улучшать жизнь людей*. Вот в этом направлении мы и будем действовать» [Путин, 2005 а]. Таким образом, признавая «свободу» и «демократию» достижениями девяностых годов, В. Путин заботился о том, чтобы поставить под сомнение их «качество». Это было частью стратегии легитимации его собственной политики: антилиберальные и антидемократические меры оправдывались необходимостью формирования «правильной» свободы (опирающейся на «диктатуру закона») и «настоящей» демократии (не разрушающей государство и не ухудшающей жизнь людей).

Слово-знак «сильное государство» в выступлениях В. Путина имело множество смысловых и причинно-следственных связей с другими словами-знаками, описывавшими политические задачи его первого президентского срока – такими как «наведение порядка»,

установление «диктатуры закона», восстановление территориальной целостности, «борьба с терроризмом» в Чечне и даже формирование «сильного и процветающего гражданского общества». С учетом этого его можно рассматривать в качестве центральной категории дискурса В. Путина начала 2000-х годов.

В дальнейшем, как уже упоминалось, предпочтение было отдано выражению «эффективное государство». Однако если «сила» – это качество, которое можно было декларировать через противопоставление «слабой», «расхлябанной», «дряблой» власти 1990-х, то «эффективность» – свойство, которое непросто продемонстрировать, ибо государственная машина всегда имеет недостатки. Примечательно, что к середине 2000-х годов нарратив о восстановлении «сильного / эффективного государства» трансформировался в историю о том, как на смену «политике стабилизации» приходит «политика, устремленная в будущее», для которой «нам крайне необходимо *эффективное государство*», причем «несмотря на многие позитивные изменения, эта действительно центральная проблема в полной мере не решена» [Путин, 2005 а].

Впрочем, во второй половине 2000-х годов выражение «сильное государство» стало чаще использоваться во внешнеполитическом контексте. После серии «цветных революций» в соседних странах В. Путин стал говорить о былой «слабости» как потенциальном источнике несамостоятельности. В одном из интервью он прямо связывал интерес западных партнеров к теме демократии в России с утратой рычагов экономического влияния: «Россия в начале 90-х – в середине 90-х годов испытывала очень тяжелые потрясения в экономике... – вспоминал В. Путин. – Государство не могло решать своих социальных задач перед населением без привлечения огромных крупномасштабных финансовых ресурсов из-за рубежа. Поэтому на Россию *в связи с ее слабостью* существовало *очень много инструментов влияния на ее внешнюю и внутреннюю политику*. Сегодня эти инструменты утрачены, а желание влиять на внешнюю и внутреннюю политику у некоторых наших партнеров осталось» [Путин, 2006 б]. Одним из главных итогов своего восьмилетнего правления В. Путин считал то, что «Россия вернулась на мировую арену как *сильное государство* – государство, с которым считаются и которое может постоять за себя» [Путин, 2008].

Слова-знаки: обретение «стабильности»

Не имея возможности рассмотреть все слова-знаки, обнаруженные в выступлениях начала 2000-х годов, остановимся еще на одном примере. Категория «стабильности» / «стабилизации» примечательна тем, что стала частью распространенного тропа: «лихие девяностые» принято противопоставлять «стабильным нулевым». Риторика первых лет путинского президентства могла способствовать формированию данной оппозиции. Хотя В. Путин не использовал слово «лихие» для характеристики предыдущего десятилетия, он не раз говорил о «стабильности» как цели новой государственной политики. Стенограммы периода его первой избирательной кампании дают возможность проследить, как формировалась эта смысловая конструкция. В феврале 2000 г. во время интервью ОРТ В. Путин заметил, что недостаток политической стабильности является одной из причин невнимания зарубежных инвесторов к России («У нас всегда долгие годы развитие было от одного путча к другому», – подчеркнул он). Подхватив тему, интервьюировавший его М. Леонтьев спросил: «Вы – фактор стабильности?». На что В. Путин туманно ответил: «Мне кажется, что президент, который будет избран, должен быть таким фактором...». А в конце интервью, перейдя к обсуждению собственного быта на казенной даче, он философски обобщил: «Мы все живем, как на чемоданах. У нас вся страна живет, как на чемоданах, в последние 10 лет. И вот это та как раз проблема, о которой мы с Вами говорили. Проблема *стабильности*... Будем надеяться, что мы все это чувство себе вернем» [Путин, 2000 ж].

В дальнейшем В. Путин не раз использовал это слово-знак для характеристики собственной политики, при этом он выделял два аспекта – *политическую стабильность общества и государства и стабильность экономики / экономический рост*, проводя между ними причинную связь: «Меры переходного периода исчерпаны, но чтобы нынешняя *политическая стабильность* в конечном счете обернулась *экономическим процветанием*, надо приложить еще очень много сил, потратить не один год» [Путин, 2001 г.].

В конце первого президентского срока В. Путина «стабильность» из обозначения цели превратилась в констатацию результата – и здесь обнаружилась семантическая ловушка: «стабильность» выглядела привлекательной по контрасту с турбулентностью переход-

ного периода. Но по мере того как «ближним историческим фоном» становились результаты политики инкумбента, «стабильность» приобрела подозрительную коннотацию «застоя». Это обстоятельство не ускользнуло от внимания спичрайтеров – в послание Федеральному собранию 2002 г. была вставлена фраза: «...мы не должны дожидаться, пока достигнутая стабильность превратится в административный застой» [Путин, 2002 б]. Во время своей второй избирательной кампании В. Путин прилагал заметные усилия, чтобы, не отказываясь от «стабильности» как одного из главных своих достижений, избежать ассоциации с застоем. Он подчеркивал: «...стабильность, которой мы сегодня так дорожим, – разумеется, только необходимое условие для развития. А целью развития является благосостояние граждан» [Путин, 2004 а]. Позже, в годы президентства Д. Медведева, семантическое противоречие между стремлением сохранить «стабильность» и необходимостью развития выразится в оксюморе «консервативная модернизация».

В. Путин считал политическую «стабильность» одним из основных достижений своего первого президентского срока. В 2004 г. он с гордостью говорил: «Я считаю, что ситуация *нормализации и стабильности уже наступила...*» [Путин, 2004 в]. Примечательно, что когда во время его второго президентского срока возникла проблема передачи власти, В. Путин снова заговорил о «стабильности». С одной стороны, он утверждал, что не собирается менять Конституцию, ибо «самым главным элементом в укреплении российской государственности на сегодняшний день является *стабильность*» [Путин, 2005 б]. А с другой стороны, заверял, что будет нести «полную ответственность за положение в стране» вплоть до передачи власти новому президенту и «не допустит никакой *дестабилизации* в России» [Путин, 2005 в].

«Стабильность», про которую В. Путин часто рассуждал, говоря сначала о целях, а затем и результатах своей политики, также работала на конструирование оппозиции девяностых и нулевых годов. В данном случае противоположность не задавалась с помощью регулярно используемых антонимов. Однако, как показывает исследование британского лингвиста Мэтта Дэвиса, «мистерия порождения оппозиций» не обязательно связана с лексической семантикой: «Слова и фразы, которые мы обычно не понимаем в противоположном смысле, становятся противоположностями на концептуальном уровне», когда они включаются в типические фреймы противопоставле-

ния [Davies, 2013, p. 2]. «Возвращение стабильности», «достигнутая стабильность», «период стабилизации» – все эти формулировки противопоставляют *прошлую НЕ-стабильность* нынешнему состоянию *стабилизации / стабильности*. На данном примере видно, что негативное фреймирование девяностых годов было в каком-то смысле «побочным продуктом» легитимации политики начала нулевых.

С «заботой о людях»: Популистская риторика начала 2000-х

Результаты индуктивного кодирования стенограмм В. Путина указывают и на другой способ легитимации по контрасту, который, будучи типичным для многих политиков, в данном случае оказался особенно успешным. Речь идет об аналитической категории *популизм*. Это название было присвоено коду, выделенному по сочетанию признаков: 1) забота о людях / понимание их проблем / открытость к коммуникации и 2) критика элит.

В проанализированных нами текстах слово «популизм» не является ключевым: оно использовалось редко и в более узком значении – в качестве синонима демагогии¹. Однако высказывания, соответствующие выделенным признакам, не только многочисленны, но и связаны практически со всеми другими категориями. *Популизм* – вторая центральная категория путинского дискурса начала 2000-х годов после «сильного государства».

Это наблюдение указывает на один из секретов быстрого роста популярности В. Путина: дело не только в том, что выбранные им ключевые темы отвечали общественным запросам, но и в том, что, развивая их, он стремился продемонстрировать глубокое понимание чаяний людей. Так, необходимость «сильного государства» В. Путин связывал с тем, что «люди устали от нашей *расхлябанности, безответственности*» [Путин, 2000 з]. Оценивая общественную реакцию на решительные действия на Северном Кавказе, он говорил: «В душе, может быть, каждый человек и не формулирует это так, как это на самом деле есть, но это правильные представления – о том, что *государство ослабло, а оно должно быть сильным*» [Путин, 2000 и]. Шаги, направленные на трансформацию партийной

¹ Например, в интервью: «... “Единой России” все-таки удалось... не скатиться к популизму, а принимать ответственные решения» [Путин, 2003 б].

системы путем создания «сильных партий», обосновывались тем, что *«гражданам России надоела идейная война. Они ждут от власти политической воли, настойчивости в доведении начатых дел...»* [Путин, 2000 к].

Подобные риторические приемы помогали создавать образ лидера, отвечающего потребностям граждан. Однако эти приемы типичны для дискурса политиков; их использовал и Ельцин. В. Путину же важно было подчеркнуть свои отличия от предшественника. Это достигалось, во-первых, за счет «встроенной логики» *популизма* в обозначенном выше смысле: подобные смысловые конструкции предполагают прямую¹ или косвенную² критику «других» – политиков, которые не проявляли должной заботы о людях. Во-вторых, важным инструментом противопоставления старого лидера новому / молодому было слово-знак *«политическая воля»*; оно помогало отделять прежние, пустые обещания от новых, внушающих надежду. В первом послании В. Путина Федеральному собранию говорилось: *«Сегодня в России нельзя просто обещать. Обещания уже многократно даны, все сроки их исполнения вышли. Десятилетия трудной и нестабильной жизни – достаточный период, чтобы требовать реальных изменений к лучшему»* [Путин, 2000 л]. Благодаря этим приемам популистские (в указанном смысле) высказывания В. Путина решали двойную задачу: конструировали образ лидера, отвечающего запросам людей, и поддерживали оппозицию старого и нового.

Нарратив о событиях в Чечне: Поражение 1990-х годов в зеркале победы 2000-х годов

Как известно, назначение В. Путина исполняющим обязанности председателя правительства и провозглашение его «преем-

¹ Так, в телеобращении по поводу внесения в Государственную думу пакета законопроектов о «вертикали исполнительной власти»: *«Настал момент отделить партийные, местнические и личные амбиции от жесткой необходимости укреплять государственность и усиливать власть»* [Путин, 2000 д]. Подразумевается, что прежде политическая элита ставила свои амбиции выше государственных нужд.

² Например, в контексте обсуждения поездок по регионам: *«Наш народ заслуживает лучшей судьбы, чем та, которую он до сих пор имеет»* [Путин, 2000 е]. Выражая таким образом сочувствие, говорящий подразумевает, что прежние лидеры недостаточно заботились о «нашем народе».

ником» Ельцина в августе 1999 г. совпали с началом второй военной кампании в Чечне. В отличие от первой чеченской войны, завершившейся выводом федеральных войск из Чечни и де-факто поражением России (вопрос о статусе данной территории был отложен до 31 декабря 2001 г.), вторая чеченская война формально привела к возвращению Чечни в состав Российской Федерации. Этот успех прочно ассоциировался с именем В. Путина. Неудивительно, что тема Чечни играла заметную роль в репрезентации опыта девяностых годов в его выступлениях.

Анализ его рассуждений на данную тему позволяет выявить еще один механизм конструирования оппозиции девяностых и нулевых годов – формирование нарратива, сюжетного повествования, предлагающего связную картину цепи исторических событий. Считается, что данный формат чрезвычайно удобен для трансляции неявных идеологических сообщений, поскольку отбор, в результате которого формируется смысловая схема нарратива, происходит имплицитно [Зенкин, 2003; Gill, 2011; Gill, 2013; и др.]. В. Путин многократно воспроизводил историю о событиях в Чечне в своих интервью. Сравнение этих рассказов позволяет проследить трансформацию нарратива о событиях в Чечне в меняющемся политическом контексте (см. табл. 1).

Поначалу, когда в Чечне шли полномасштабные действия, В. Путин практически не поднимал тему первой чеченской войны. Он начинал рассказ либо с Хасавюртовских соглашений 1996 г., либо с нападения террористов в Дагестане, ставшего поводом для возобновления военных действий в августе 1999 г. При этом он неоднократно подчеркивал, что в середине 1990-х годов Россия де-факто согласилась на самостоятельность Чечни (*«ценой национального позора»* [Путин, 2000 м]), итогом чего стал *«вакуум власти»* (это выражение воспроизводилось из рассказа в рассказ), которым воспользовались «деструктивные элементы из радикальных исламских организаций», рассматривавшие территорию Чечни как плацдарм для нападения на Россию. После террористических актов в США 11 сентября 2001 г. В. Путин стал особенно педалировать тему международного терроризма, описывая события на Северном Кавказе как прелюдию проблемы, с которой Запад столкнулся несколько позже. Исключение из нарратива событий первой половины 1990-х годов, приведших к формированию де-факто независимого режима Д. Дудаева и неудачной операции по «поддержанию конституцион-

ного порядка» в 1994–1996 гг., позволяло говорить о *терроризме* и *экстремизме*, обходя вниманием неудобную тему *сепаратизма*.

Таблица 1

**Конструирование официального нарратива о событиях
в Чечне (на материалах выступлений В. Путина, 2000–2004)**

Основные элементы сюжета	Их краткое содержание
Распад СССР	Сепаратистские процессы на Северном Кавказе не получали адекватного ответа со стороны власти [Путин, 2004 г]. Начавшийся конституционный процесс в Чечне был в 1991 г. насильственно прерван, и это стало исходной точкой чеченской трагедии [Путин, 2003 в]. Реальная власть оказалась в руках у «экстремистов».
Первая чеченская война	«В результате ряда ошибок как со стороны федерального центра, так и со стороны тех, кто тогда возглавлял Чечню, дело дошло до военных столкновений» [Путин, 2003 д].
Фактическое признание Россией независимости Чечни в 1996 г.	Ценой национального позора Россия де-факто согласилась на независимость Чечни [Путин, 2000 м]. Оттуда ушли вооруженные силы РФ, прокуратура, милиция.
Де-факто независимость Чечни	Но «мы получили не самостоятельное государство Чеченская Республика, а территорию, оккупированную бандформированиями и религиозными экстремистами» [Путин, 2000 м]. Образовался «вакуум власти», который заполнили деструктивные элементы из радикальных мусульманских организаций. Они начали использовать территорию Чечни «в качестве плацдарма для нападения на нашу страну и для раскачивания ее изнутри» [Путин, 2000 м].
Нападение на Дагестан и контртеррористическая операция (вторая чеченская война)	Фундаменталисты «в 99-м году начали новую войну, неспровоцированно напав на Дагестан» [Путин, 2003 а]. Целью международных террористов было создание исламского халифата от Черного до Каспийского моря. «Народ Дагестана взялся за оружие, призывая центральные власти страны оказать им помощь» [Путин, 2003 г]. «Мы» долго терпели, но после нападения на Дагестан и взрывов домов в Москве «окончательно убедились в том, что нам не решить этой проблемы без ликвидации банд террористов на территории самой Чеченской Республики» [Путин, 2000 м].
Наведение порядка в Чечне	Профессиональные военные уничтожили бандформирования и их инфраструктуру. Контртеррористическая операция смогла отвести угрозу распада России [Путин, 2000 л]. Террористы прячутся в горах, способны наносить удары, и силовые структуры России вынуждены отвечать. При этом могут страдать и мирные жители, но отвечают за это террористы [Путин, 2003 д].

Примечание: в таблице даны ссылки на тексты, в которых соответствующие элементы рассказа встречаются в первый раз или ввиду важности формулировок даны в виде

цитаты; часто повторявшиеся элементы даны в обобщающем пересказе и без ссылок на источники.

В 2003–2004 гг. рассказ о событиях в Чечне обогатился новыми сюжетами: В. Путин стал связывать их с распадом СССР, представляя как крайний пример сепаратизма и нерешенных федеративных проблем. Тем самым он снимал ответственность за происшедшее с «чеченского народа», которому теперь нужно было интегрироваться в Российскую Федерацию. При этом о вине федерального центра и «тех, кто тогда возглавлял Чечню», он говорил редко и скупно. Он несколько раз дал понять, что не одобряет действий федеральных властей в начале 1990-х годов [напр.: Путин, 2003 д], воздерживаясь от более подробных комментариев.

Однако это не мешало использовать тему Чечни для легитимации по контрасту. Эффект достигался за счет «распределения ролей» между действующими лицами повествования (см. табл. 2).

Таблица 2

Действующие лица официального нарратива о событиях в Чечне (на материалах выступлений В. Путина, 2000–2004)

Действующие лица	Действия / характеристики
1	2
Федеральная власть 1990-х	Совершила «ошибки», которые привели к «военным столкновениям» [Путин, 2003 д]. Ответственна за «национальный позор» Хасавюртовских соглашений [Путин, 2000 б]. Бросила чеченский народ на произвол бандитов. Нападение на Дагестан в августе 1999 г. – следствие «расхлябанности власти» [Путин, 2004 г.].
Современная федеральная власть / «мы»	«Мы» долго терпели, но после нападения на Дагестан не могли не вмешаться. Должны были как-то реагировать, чтобы защитить людей и свою территорию. Второй раз не допустим ошибки, которая была сделана в 1996 г. – «создания анклава для раскачивания самой России» [Путин, 2001 г.]. Восстанавливаем легитимную власть в Чечне: провели референдум, выборы президента, подписали договор о разделе полномочий между федеральным центром и Чеченской Республикой с предоставлением ей в рамках Конституции РФ больших автономных полномочий. Заботимся о том, чтобы чеченцы ощущали себя полноценными гражданами России.
Чеченский народ	Пережил трагедию сталинской депортации [Путин, 2003 в]. Реально не получил никакой независимости в 1990-е годы. Заплатил своими страданиями за многолетний период клановой борьбы, борьбы за власть и деньги. Стремится к миру, безопасности, нормальной жизни.

Продолжение таблицы 2

1	2
Бандиты / сепаратисты / террористы / экстремисты	Захватили реальную власть в условиях «вакуума власти». «Все обещали, а занимались только фактически расстрелами, грабежами и торговлей людьми» [Путин, 2003 с].
Международный терроризм	Деструктивные силы воспользовались распадом СССР.
Профессиональные военные	Вынуждены были отвечать. Помогли сохранить достоинство и целостность государства.
Гражданский мир	Определил свою позицию в отношении борьбы с международным терроризмом. Но не всегда видит связь между международным терроризмом и тем, что происходит в Чечне.

Главным положительным героем путинского нарратива является *современная федеральная власть* («мы», от лица которых в большинстве случаев ведется рассказ). Роль антагонистов отводится *бандитам / сепаратистам / террористам / экстремистам* (выбор терминов в зависимости от контекста – предмет отдельного анализа). *Чеченский народ* – страдательный и пассивный герой рассказа. *Федеральная власть 1990-х* – неглавный герой, основная функция которого – совершение ошибок. Она сначала довела дело до «военных столкновений» [Путин, 2003 д], затем заключила «позорные» Хасавюртовские соглашения, бросив чеченский народ на произвол бандитов, и наконец – собственной «расхлябанностью» спровоцировала нападение на Дагестан [Путин, 2004 г]. Критика ельцинской команды отнюдь не была главной темой путинского нарратива о Чечне. Но раз за разом он рассказывал историю событий так, чтобы подчеркнуть негативные последствия ошибок федеральных властей 1990-х годов и собственную роль в их исправлении.

Заключение

Репрезентируя собственный политический курс по контрасту с предшествующим периодом, В. Путин вольно или невольно участвовал в формировании *мифа о «лихих девяностых»*. Мифы, т.е. упрощающие и эмоционально окрашенные нарративы о реальных или вымышленных событиях и явлениях, разделяемые членами политического сообщества, играют важную роль в организации *коллективной памяти* как совокупности символических конструкций, задающих социальные паттерны воспоминания. Коллективная

память избирательна, она оперирует упрощенными схемами, а не сложными теориями, учитывающими различные нюансы исторических процессов. Опыт девяностых годов, становясь прошлым, тоже должен был подвергнуться подобной редукции. Как я попыталась показать, в формировании системы «символов, закрепляющих воспоминания» [Ассман, 2014, с. 32] об этом периоде, определенную роль играла риторика нового политического лидера.

Следует признать, что В. Путину и его спичрайтерам удавалось находить удачные темы и слова для мобилизации поддержки. Представляется, что секрет этого успеха хорошо объясняет теория политического мифа Кьяры Боттичи, в соответствии с которой современные мифы отвечают на фундаментальную потребность человека – они не просто наделяют вещи смыслом (что могут делать и «просто» слова), но и придают им «значимость» (significance). Одно не тождественно другому: «Нечто может иметь смысл, но оставлять меня совершенно равнодушным; то же, что имеет значимость – это то, к чему я чувствую “близость”» [Bottici, 2007, р. 124]. Слова В. Путина о «трудных девяностых» были важны не только потому, что их говорил глава государства; они придавали «значимость» переживаемому трудному опыту постсоветской трансформации – именно поэтому они вызывали культурный резонанс. Таким образом, формируя образ «стабильных нулевых», Путин вольно или невольно способствовал конструированию мифа о «лихих девяностых».

Список литературы

- Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.
- Зенкин С. Критика нарративного разума // Новое литературное обозрение. – М., 2003. – № 59. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/zen.html> (Дата посещения: 3.05.2018.)
- Левинсон А. 1990-е и 1990-й: Социологические материалы // Новое литературное обозрение. – М., 2007. – № 2. – С. 489–503.
- Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – С. 88–115.
- Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 207 с.

- Малинова О.Ю. Конструирование «либерализма» в постсоветской России (Наследие 1990-х в идеологических битвах 2000-х) // Полития. – М., 2017. – № 1. – С. 6–28.
- Петров К.Е. Доминирование концептуальной многозначности: «Сильное государство» в российском политическом дискурсе // Полис. Политические исследования. – М., 2006. – № 3. – С. 159–183.
- Путин В.В. «Открытое письмо» избирателям // Портал «Президент России». – 2000 а. – 25 февраля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24144> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью радиостанции «Маяк» // Портал «Президент России». – 2000 б. – 18 марта. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24186> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Выступление на встрече с членами Совета Федерации // Портал «Президент России». – 2000 в. – 17 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22307> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью германским телеканалам АРД и ЦДФ // Портал «Президент России». – 2000 г. – 9 июня. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24205> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Телевизионное обращение к гражданам России // Портал «Президент России». – 2000 д. – 17 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21440> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью газете «Известия» // Портал «Президент России». – 2000 е. – 14 июля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24171> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью телеканалу ОРТ // Портал «Президент России». – 2000 ж. – 7 февраля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24373> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью телеканалу ОРТ // Портал «Президент России». – 2000 з. – 15 января. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24123> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью телеканалу РТР // Портал «Президент России». – 2000 и. – 23 января. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24126> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Выступление на учредительном съезде общероссийского общественно-политического движения «Единство» // Портал «Президент России». – 2000 к. – 27 февраля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24145> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Портал «Президент России». – 2000 л. – 8 июля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21480> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью телеканалам ОРТ, РТР и «Независимой газете» // Портал «Президент России». – 2000 м. – 25 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21149> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью главным редакторам газет «Комсомольская правда», «Известия», «Московский комсомолец», «Труд» // Портал «Президент России». – 2001 а. –

- 22 марта. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21207> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Выступление на открытии Конгресса соотечественников // Портал «Президент России». – 2001 б. – 11 октября. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21359> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью немецкому журналу «Фокус» // Портал «Президент России». – 2001 в. – 19 сентября. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21336> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью британской газете «Файнэншл таймс» // Портал «Президент России». – 2001 г. – 17 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21447> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Стенографический отчет о пресс-конференции для российских и иностранных журналистов // Портал «Президент России». – 2002 а. – 24 июля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21651> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Портал «Президент России». – 2002 б. – 18 апреля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21567> (Дата посещения 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью газете «Нью-Йорк Таймс» // Портал «Президент России». – 2003 а. – 4 октября. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22145> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью телеканалам «Первый», «Россия» и НТВ // Портал «Президент России». – 2003 б. – 28 ноября. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22229> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Обращение к жителям Чеченской Республики // Портал «Президент России». – 2003 в. – 16 марта. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21939> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью телеканалу «Аль-Джазира» // Портал «Президент России». – 2003 г. – 16 октября. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22162> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Стенограмма встречи с журналистами французских региональных изданий и телеканалов // Портал «Президент России». – 2003 д. – 12 февраля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21874> (Дата посещения 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью американским телеканалам // Портал «Президент России». – 2003 е. – 20 сентября. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22125> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Встреча с журналистами в избирательном штабе по окончании голосования на выборах Президента России // Портал «Президент России». – 2004 а. – 15 марта. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22383> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Обращение Президента России Владимира Путина // Портал «Президент России». – 2004 б. – 4 сентября. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22589> (Дата посещения: 5.05.2018.)

- Путин В.В. Интервью чилийской телекомпании «Канал 13» и газете «Эль Меркурио» // Портал «Президент России». – 2004 в. – 18 ноября. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22693> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Выступление Владимира Путина перед доверенными лицами // Портал «Президент России». – 2004 г. – 12 февраля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22393> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Портал «Президент России». – 2005 а. – 25 апреля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью американскому телеканалу «Фокс Ньюс» // Портал «Президент России». – 2005 б. – 17 сентября. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/23178> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью нидерландскому телеканалу «Недерланд 1» и газете «НРЦ Хандельсблатт» // Портал «Президент России». – 2005 в. – 31 октября. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/23243> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Заявление для прессы и ответы на вопросы на совместной с Президентом США Джорджем Бушем пресс-конференции // Портал «Президент России». – 2005 г. – 24 февраля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22840> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Стенограмма пресс-конференции для российских и иностранных журналистов // Портал «Президент России». – 2006 а. – 31 января. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/23412> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Интервью телеканалу ТФ-1 (Франция) // Портал «Президент России». – 2006 б. – 12 июля. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/23700> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Путин В.В. Выступление на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» // Портал «Президент России». – 2008. – 8 февраля. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24825> (Дата посещения: 5.05.2018.)
- Binaries in battle: Representations of division and conflict / Ed. by M. Vuorinen et. al. – Newcastle upon Tyne: Cambridge scholars publishing, 2014. – 301 p.
- Bottici Ch. A philosophy of political myth. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2007. – vii, 286 p.
- Davies M. Opposition and ideology in news discourse. – L., etc.: Bloomsbury, 2013. – 222 p.
- Edelman M. The symbolic uses of politics. – 5 th ed. – Urbana: Univ. of Illinois press, 1972. – 201 p.
- Gill G. Symbols and legitimacy in Soviet politics. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2011. – vi, 356 p.
- Gill G. Symbolism and Regime Change in Russia. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2013. – viii, 246 p.
- Halbwachs M. On collective memory / trans. L.A. Coser. – Chicago, Il.: Univ. of Chicago press, 1992. – 254 p.

- Langenbacher E.* Collective memory as a factor in political culture and international relations // Power and the past. Collective memory and international relations. – Wash.: George Town univ. press, 2010. – P. 13–49.
- Müller J.W.* Introduction: the power of memory, the memory of power and the power over memory // Memory and power in post-war Europe. Studies in the presence of the past. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – P. 1–35.
- Olick J.* Collective memory: Two cultures // Sociological theory. – L., 1999. – Vol. 17, N 3. – P. 333–348.

Е.В. ПИНЮГИНА*

**СТОЛЕТИЕ ПОМЕСТНОГО СОБОРА
И ОТГОЛОСКИ «ЦЕРКОВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 1917 г.:
ВЕКТОРЫ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ РУКОВОДСТВА РПЦ
И ЦЕРКОВНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ**

Аннотация. Статья посвящена отличиям в политике памяти руководства РПЦ и отдельных представителей церковной интеллигенции в год юбилея Поместного собора Российской православной церкви в 1917–1918 гг. и церковной революции 1917 г. Интеллигенция использует коммеморацию для критики авторитарных практик современного церковного управления, выдвигая на первый план такие принципы Собора, как выборность руководства и вовлеченность общества в церковную жизнь. Официальный дискурс подчеркивает, что главное достижение Собора – восстановление патриаршества, без упоминания важности демократических выборных процедур и решения о приоритете Собора над персонифицированной властью.

Ключевые слова: политика памяти РПЦ; церковное руководство и интеллектуалы; юбилей Поместного собора 1917–1918; воспоминания о церковной революции; общество в жизни церкви; демократия и выборы в церкви; критика церковного управления.

Для цитирования: Пинюгина Е.В. Столетие Поместного собора и отголоски «церковной революции» 1917 г.: Векторы политики памяти руководства РПЦ и церковной интеллигенции // Политическая наука. – М., 2018. – № 3. – С. 85–109. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.04

* Пинюгина Елена Викторовна, кандидат политических наук, научный сотрудник Отдела политической науки ИНИОН РАН, e-mail: pinjugina@mail.ru

Pinyugina Elena, Institute of Scientific Information on Social Sciences, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), e-mail: pinjugina@mail.ru

© Пинюгина Е.В.

DOI: 10.31249/poln/2018.03.04

E.V. Pinyugina

The centennial of All-Russian General Council of the Russian Orthodox Church and echoes of «the 1917 Church revolution»: Politics of memory of the heads and intelligentsia of the Russian Church

Abstract. The article is about today's reflection of intellectuals representing the Russian Orthodox Church's on anniversary of reformatory General Council activity in 1917–1918 and the so called «Church revolution of 1917» versus Church official discourse. Intellectuals use the politics of memory to criticize nowadays Church and highlight the Legitimacy of Council's decisions based on the principle of election and involvement of society in church's life. The main idea of Church officials commemoration is to underline the only one decision of Council – rehabilitation of Patriarch without respect to democratic election procedures and priority of democratic elected Council over personal power.

Keywords: the politics of memory in Russian Orthodox Church; Church General Council 1917–1918 anniversary; Church revolution of 1917; bishops election; society in church's life; church reformatory activity; nowadays Russian church problems; criticism of Church government.

For citation: Pinyugina E.V. The centennial of All-Russian General Council of the Russian Orthodox Church and echoes of «the 1917 Church revolution»: Politics of memory of the heads and intelligentsia of the Russian Church // Political science (RU). – M., 2018. – N 3. – P. 85–109. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.04

Введение

Для Русской православной церкви 2017 год был отмечен юбилеем эпохального события столетней давности – созыва Поместного собора (канонического высшего органа управления территориальной церкви в православной традиции), начавшегося в августе 1917 г. и продолжавшегося более года, до осени 1918 г., когда политические обстоятельства не позволили его участникам продолжить работу. Юбилей стал пространством коммемораций, инициированных, с одной стороны, руководством РПЦ, а с другой – рядом представителей церковной интеллигенции (включая и мирян, и священнослужителей). Два этих вектора интерпретаций значения Собора 1917 г. заметно различаются. Рассмотреть их в сопоставлении с историческим контекстом Собора 1917 г. представляется крайне своевременным, с учетом растущей роли церкви в образовательной и культурной политике России, а также ее за-

метного стремления опираться на государственный ресурс для защиты своего влияния, репутации и интересов.

В первой части статьи будет охарактеризована политика памяти руководства РПЦ относительно Собора, с использованием анализа текстов официального дискурса (речи Патриарха Кирилла и интервью главы Отдела внешних церковных сношений митрополита Волоколамского Илариона) и «среза» проводимых мероприятий. Во второй части кратко представлены контрапункты исторического материала, представляющие вызов церковному осмыслению в рамках официальной политики памяти о Соборе. В последней части будет рассмотрен альтернативный официальному вектор политики памяти, формируемый в дискурсе столетия Собора православной интеллигенцией.

Политика памяти руководства РПЦ

Руководство РПЦ вспоминает о юбилее Собора в контексте осмысления столетия революционного 1917 г., с акцентом на трагические последствия для России революции как таковой, без раздельного осмысления значения для церкви февраля и октября 1917 г., хотя Поместный собор не случайно начал свою работу именно в период между двух революций (*см. подробнее во второй части статьи*). Так, после богослужения 19 февраля 2017 г. в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл назвал революцию «великим преступлением» [Патриарх Кирилл назвал... 2017], не упомянув ни о том, что значительная часть церкви – от епископов до православных мирян – встретила Февральскую революцию оптимистично, ни о том, почему многие представители государственной церкви, включая ее «управленческую страту» – епископат, позитивно отнеслись к отречению монарха и смене политической повестки.

Второй характерной чертой дискурса руководства РПЦ является указание на восстановление патриаршества как основное достижение, первоочередную и главную задачу Собора. Вот цитата из юбилейной речи Патриарха Кирилла после торжественной литургии в день 100-летия открытия Поместного собора: «Церковь, принужденная молчать, не могла в самый критический момент истории мобилизовать людей, сказать им правду, потому что

не было того, кто бы эту правду выразил. Вот почему Поместный собор первой своей задачей поставил восстановление Патриаршества, восстановление законной канонической власти [Слово Святейшего... 2017]. Не конкретизируя, Патриарх Кирилл констатирует далее: «Многие из соборных решений естественно утратили свою актуальность и не могут применяться в современной жизни». При этом, говоря о рецепции некоторых достижений Собора, он указывает на использование в наши дни опыта Предсоборного присутствия (совещательной комиссии с участием клириков и мирян, готовившей с 1905 г. материалы для обсуждения на будущем Соборе) – преемником этого органа называя институт Межсоборного присутствия, где «проекты решений создаются соборным разумом, при участии епископата, духовенства, монашествующих, мирян», не упоминая об участии мирян в Поместном соборе столетней давности с равным правом голоса и о том, что они составляли большинство участников – т.е. о практиках, утраченных в наши дни [там же]. Далее Патриарх называет осуществлением и развитием идей Собора воссоздание крупных региональных единиц церковной структуры – митрополий, отмечает как достижение умножение – по сравнению с 1917 г. – епископских кафедр до 378, подчеркивает, что именно «вокруг правящего архиерея создаются духовно-интеллектуальные центры, как местная интеллигенция и духовенство совместно размышляют о судьбах своего края, страны, Церкви» [там же]. Такой акцент создает ощущение, что важной задачей Собора 1917 г. было усиление церковной вертикали власти, и одновременно утверждает образ единомыслия и согласия современной церковной интеллигенции и епископата.

В своей речи Патриарх аккуратно обходит проблему кризиса церковно-государственных отношений в Российской империи, достигшего апогея в правление Николая II: «Хотя власть была православная и многое делала для Церкви, для православного просвещения, Церковь, тем не менее, утратила всякую возможность обращаться к людям напрямую по вопросам, связанным с жизнью страны, общества, государства. От имени Церкви говорил глава государства, но в моменты потрясений голос государя многие перестали слушать» [там же]. Умолчание о том, что в первую очередь «голос государя» не хотели слушать именно носители высшей церковной власти – архиереи, как и о причинах такого нежелания, создает неверное ощущение единогласия церкви и по-

следнего монарха, не желавшего перемен как в церковной, так и в общественной жизни.

Следующий акцент официального дискурса – на восприятии Собора как сонма мучеников, а не реформаторов, что было подчеркнуто установлением в церковном календаре в мае 2017 г. нового праздника – Дня Памяти Отцев Поместного Собора 1917–1918 гг., ставших новомучениками и исповедниками Российскими (так в РПЦ принято называть священнослужителей и мирян, жертв большевистского террора). Патриарх отмечает, что, несмотря на гибель многих участников Собора в ходе Гражданской войны, террора и репрессий, «он был не напрасно», молитвенная поддержка мучеников – участников Собора с небес, где они теперь пребывают, помогает современной церкви «идти тем путем, о котором мечтали отцы Собора», но, не конкретизируя, констатирует: «Многие из соборных решений естественно утратили свою актуальность и не могут применяться в современной жизни» [Слово Святейшего... 2017]. Таким образом, создается ощущение консенсуса в церкви о неприменимости, а значит, и незначительности в наши дни не менее важных, чем восстановление патриаршества, с точки зрения участников Собора, решений – о выборности епископов, реформе прихода, контроле за финансово-хозяйственными делами церкви органом Высшего церковного управления, формируемым из клириков и мирян, на выборной основе.

Второе лицо в иерархии РПЦ Митрополит Волоколамский Иларион, глава Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии, в приуроченном к столетию Собора интервью «Российской газете» также акцентирует внимание на преступности революционеров-палачей и на восстановлении патриаршества как основном достижении Собора и залоге нормализации церковной жизни. Переходя к рецепции достижений Собора в наши дни, он развивает идею того, что сильная власть Патриарха необходима и сегодня укрепляет Церковь: «У него в Церкви реальная исполнительная власть и очень широкие полномочия, которые прописаны в церковном уставе. А кроме того, у Патриарха есть личный авторитет, который распространяется на всю Церковь, – епископат, клир и миллионы мирян» [Истина... 2017]. Митрополит характеризует в этом интервью как главное юбилейное мероприятие 2017 г. Архиерейский собор, не упоминая такого принципиального отличия Соборов 1917 г. и 2017 г., как состав их полноправных

участников: в 1917 г. большинство соборян составили избранные делегаты-миряне, также высок был процент участников из рядовых клириков, тогда как 100 лет спустя юбилейный собор формируется исключительно из представителей высшего церковного сословия – архиереев.

Таким образом, сегодня высшие иерархи РПЦ не затрагивают тему настойчивого стремления церкви к независимости от власти в начале XX в., в том числе и для проведения внутренних реформ. Умалчивают они и о событиях церковной революции 1917 г., когда архиереи «сверху» позитивно приняли смену правления с православной монархии на республиканское Временное правительство, а массы рядовых клириков и мирян «снизу», за короткое время наступившей свободы церкви – от Февральской революции до большевистских гонений – внедрили в практику церковной жизни выборное начало. Также власти РПЦ не упоминают, что Поместный собор был демократическим, как по составу, так и по принципам работы, и что его участниками важность многих реформаторских решений, внедрению которых помешало установление большевистской диктатуры, расценивалась в одном ряду с дискуссионным для них (а не бесспорным) вопросом о восстановлении патриаршества, тесно связанным с вопросом о том, кому принадлежит полнота власти в церкви. Тем более не упоминается принятие соборными решения о соборном управлении церковью, ограничивающем власть патриарха.

Надо отметить, что в русле официальной церковной политики памяти под эгидой РПЦ был проведен ряд мероприятий, международных и российских научных конференций, где докладчики более полно и объективно рассматривали разные аспекты созыва и работы Собора 1917 г., включая вопрос о власти Патриарха в церкви (подробнее о разнообразных конференциях см.: [Журналы... 2017]). В докладах на одной из них – «Уроки столетия: Поместный Собор 1917–1918 гг. в истории и современной жизни Русской Церкви», состоявшейся 22 августа 2017 г. в Москве, церковные ученые А.И. Мраморнов, возглавляющий научно-исследовательский проект по изданию деяний Поместного собора, и священник Д. Сафонов, в отличие от речей и интервью иерархов церкви, раскрывают неоднозначность для участников Собора вопроса о патриаршей власти, описывают дискуссии о возрождении патриаршества и полемику о нахождении компромисса между церковно-

канонической традицией управления и исходящим от мирян и клириков требованием соборности или народоправства [Конференция... 2017]. В то же время церковные ученые, признавая уникальность Собора с точки зрения сочетания представительности, демократичности процедур и масштаба решенных задач, разъясняя, чем «соборность, как отличительная характеристика работы Поместного собора 1917 г., отличается от простой коллегиальности», подчеркивают, что «для Церкви выборность – возможно, оптимальный, но далеко не единственный механизм осуществления соборности. Соборное управление, когда вся церковная община вовлекается в устройство жизни, гораздо шире выборной процедуры» [Сунайт, 2017]. Церковную революцию 1917 г. А.И. Мраморнов оценивает негативно, полагая, что очищение кадров епископата «должно было происходить легальным каноническим путем, а не путем “революционного” изменения правил», но признает ее положительное влияние на подготовку епархий к проведению Собора [там же].

В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в ноябре 2017 г. состоялась международная научная конференция «Собор и соборность: К столетию начала новой эпохи», где в одном из докладов старший научный сотрудник Центра истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН А.Л. Беглов напомнил, что на Соборе вопрос был поставлен не только о патриаршестве как таковом, но и о «экклезиологических моделях дальнейшего существования Российской церкви: речь шла об “общественной” модели, в которой акцент делался на обществе верующих, и “институтной”, в которой доминировал иерархический принцип, и о попытке их синтеза, предпринятой Н.Д. Кузнецовым». При этом докладчик подчеркнул, что именно синтетический подход лег в основу работы и решений Собора [Международная... 2017].

Обстоятельства созыва Собора, его процедурная и содержательная часть

Для понимания вопросов, вызывающих различные интерпретации акторов церковной политики памяти, необходимо рассмотреть то, что остается за скобками дискурса руководства РПЦ и обычно является достоянием аудитории церковно-исторических

научных конференций, в том числе и приуроченных к юбилею Собора. В первую очередь это обстоятельства созыва Собора, его процедурная и содержательная части. Обстоятельства созыва Собора включали предшествующий кризис церковно-государственных отношений, обострение внутрицерковных противоречий и церковную революцию.

Кризис церковно-государственных отношений

В основе кризиса лежало стремление многих архиереев, клириков и православной интеллигенции освободить церковь от ограничений учрежденной Петром Первым синодальной системы управления, превратившей императора в главу церкви, а ее – в одно из государственных ведомств, подчиненное специальному чиновнику – назначаемому императором обер-прокурору. Обер-прокурор курировал работу Святейшего синода (органа, куда входили несколько архиереев, а также протопресвитеры (руководители) военного и дворцового духовенства) и имел в каждой епархии своих представителей (секретарей). Церкви приходилось выполнять ряд бюрократических, пропагандистских, а также полицейских функций, что не соответствовало ее миссии.

Одновременно развивалось и другое измерение кризиса: далеко не весь клир поддерживал политику главы государства, являвшегося одновременно главой церкви. Часть священников и преподавателей духовных учебных заведений вместо отождествления себя с властью разделяли интересы общества – одни примыкали к политической оппозиции, другие – к рабочему движению. Так, послужившие толчком революции 1905 г. события Кровавого воскресенья были инициированы священником Г. Гапоном, возглавившим массовое шествие безоружных рабочих. Его роль можно оценивать по-разному (исходя из данных о его сотрудничестве с охранкой), но факт остается фактом: именно священник в поисках ненасильственной формы протеста соединил западный формат гражданского профсоюзного движения с русскими церковными крестными ходами и патерналистской традицией обращения народа с жалобами «доброму царю». При этом архиереям и клирикам – монархистам, сторонникам «твердой руки», политика царя после первой русской революции казалась недостаточно жесткой, неко-

торые из них стали сотрудничать с крайне правыми, так называемыми черносотенными политическими организациями.

Вне зависимости от политических симпатий, и высшие, и рядовые клирики сходились в необходимости реформы церковного управления и упразднении государственного контроля над церковью. На рубеже 1904–1905 гг. петербургский митрополит Антоний (Вадковский) передал Николаю II доклад «Вопросы о желательных преобразованиях в постановке у нас Православной Церкви». В начале 1905 г. движение столичного духовенства и церковной профессуры, известное как «группа 32-х священников», выступило против сервилитской роли церкви в государстве и за внутрицерковные реформы с учетом реалий современности [Балакшина, 2014]. Тогда же премьер-министр С.Ю. Витте представил царю список мер необходимой церковной реформы: созыв Собора с участием мирян, превращение таких соборов в регулярную практику, избрание Патриарха, представительность всех епархий на уровне Синода, улучшение материального обеспечения священнослужителей. На разосланные вскоре после этого по епархиям опросники о целесообразности реформы «ответы были готовы уже к концу 1905 г., и из них составилось пять больших томов, официально изданных Св. Синодом. Подавляющее большинство епископов резко критиковало синодальный строй и требовало широких и разнообразных реформ» [Карташев, 1942]. В качестве компромисса царь санкционировал только подготовительную инстанцию – Предсоборное присутствие, после интенсивной работы которого в 1907 г. архиереи Синода снова обратились к царю с резолюцией о необходимости Собора, но получили отказ. Отказы на запросы Синода о созыве Собора последовали и в 1912, и в 1916 г. Одновременно с 1905 г. развивался личностный антагонизм Николая II и представителей высшего клира под давлением субъективных обстоятельств: крестьянин Г.Е. Распутин, способный улучшать состояние больного наследника-цесаревича, убедил царскую чету в преимуществах своего религиозного опыта перед формальными носителями благодати в церкви – архиереями и священниками. Архиереи, желавшие «открыть царю глаза», попадали в опалу, за лояльность фавориту царь вознаграждал назначениями на высокие церковные посты [см.: Фирсов, 2002].

Помимо кризиса отношений с государством самой церкви требовалось разрешить многочисленные внутренние противоре-

чия. Среди них вопрос о реформе низовой ячейки – прихода, превратившийся в вопрос о роли и правах в церкви мирян. В ходе предсоборных дискуссий обнаружились два подхода. Первый – иерархический, когда церковь – организованная совокупность клира, исходя из чего административное понятие «приход» относится к храмовому сооружению, в котором клир обеспечивает богослужения, а прихожане не имеют прав на участие в управлении. Второй – раннехристианский, общинный, когда первичны люди, сознательно объединяющиеся вокруг храма, избирающие священника и других необходимых общине ответственных лиц (регента хора, церковного старосту и т.п.).

Другие внутрицерковные противоречия затрагивали отношения иерархично выстроенных церковных страт. Так, часть так называемого белого (женатого) духовенства тяготилась приниженностью своей роли в церкви относительно черного – монахов, поскольку архиереев «рекрутировали» исключительно из него. Ставилась многими под сомнение и практика Синода назначать епископами «чужаков», регулярные переводы архиереев в другие епархии. Столичные священники и поддерживающие их представители церковной интеллигенции в связи с этим выражали надежды на возвращение к двум практикам раннехристианской церкви – возможность для женатых священников становиться епископами и выборность епископов народом, проживающим на территории епархии, из клириков и мирян, имеющих хорошую репутацию.

К белому духовенству, в свою очередь, имели «классовые» претензии так называемые низшие церковнослужители (диаконы и псаломщики): при распределении жалованья на приходах (там, где оно выплачивалось из казны), а также доходов от треб, низшим чинам доставалась не равная со священниками, а в несколько раз меньшая доля. Сельские приходы оставляли причту возможность питаться, занимаясь крестьянским трудом, но и при выделении земли священник получал надел больше диакона и псаломщика.

Церковная революция: Утверждение выборного начала

Многочисленные церковно-государственные и внутрицерковные противоречия нашли свой выход в событиях церковной революции, наиболее полное освещение которой предлагает в своей

монографии историк П.Г. Рогозный [Рогозный, 2008]. В марте 1917 г. происходит первый акт революции – епископат без возражений принимает отречение царя, которое многие архиереи расценили положительно, как обретенную свободу и шанс на возрождение как самой церкви, так и России, расколотой политическими разногласиями и тяготами войны. Синод принимает новую формулировку ежедневной молитвы за власть, возносимой по традиции на богослужениях в каждом храме страны – вместо императорской фамилии там фигурирует «Временное правительство». Следующий этап – революция снизу, созыв инициативными группами в разных губерниях без санкций правящих архиереев или Синода новых органов – епархиальных съездов духовенства и мирян, куда выдвигались делегаты – от приходов, монастырей и благочиний. Съезды постановляли необходимость выборов для занятия руководящих должностей, решали судьбу епископов – некоторых изгоняли с кафедр. Выбирали в этот период на все церковные должности – от церковных старост и диаконов до настоятелей приходов и монастырей, митрополитов и епископов.

Помимо революции снизу, схожие инициативы по реорганизации церковной жизни стали поступать и от новой государственной власти. Обер-прокурор В.С. Львов рекрутировал в новый состав Синода епископов – сторонников реформ и несколько авторитетных представителей белого духовенства, в том числе из «группы 32-х». 29 апреля обновленный Синод выпустил послание «Архипастырям, пастырям и всем верным чадам Святой Церкви» с сообщением о скором созыве Поместного собора и указанием, что выборное начало должно быть проведено во все доступные для него формы церковного управления, в мае – указ «О привлечении духовенства и паствы к более активному участию в церковном управлении».

Наиболее яркими событиями церковной революции стали свободные выборы митрополитов в Петрограде и Москве, поскольку население отказывалось признавать права утвержденных царем митрополитов, считая их «распутинцами». Решения о выборах и о процедуре их проведения принимались на съездах духовенства и мирян. В обоих городах на приходах избирались делегаты – выборщики, при этом в столице на приходском уровне право голоса впервые получили женщины. Победителем петроградских выборов, проходивших в два тура, стал епископ Вениамин Гдов-

ский (Казанский), имевший безупречную репутацию и далекий от политики. На выборах в Москве в июне 1917 г. среди баллотировавшихся кандидатов впервые в истории российской церкви был безбрачный мирянин, общественный деятель и бывший обер-прокурор А.Д. Самарин. В первом туре он лидировал, но во втором победил вынужденно оставивший из-за оккупации свою кафедру епископ Литовский Тихон (Беллавин). Свободные и честные выборы в двух столицах показали, что церковную власть народ готов был делегировать нравственно безупречным и несклонным к модернизму архиереям, далеким от политики.

Почти одновременно с выборами митрополита в июне 1917 г. в Москве собрался Всероссийский съезд духовенства и мирян. Со всей страны направлялись свободно выбранные делегаты, призывавшие для обсуждения постановления своих недавно проведенных епархиальных съездов и собраний.

Собор, его участники и решения

В условиях церковной революции состав участников Собора формировался на представительной и демократической основе: от каждой епархии избирались многоступенчатым голосованием по пять делегатов, из них три мирянина и два клирика. Также участвовали выборные делегаты, представлявшие не только церковные, но и общественные страты и органы власти: монашество, Академию наук и университеты, церковную профессию, армию, военное духовенство, Госсовет и Госдуму. Были и неизбираемые участники – весь состав Синода, члены Предсоборного совета, протопресвитер армии и флота, епархиальные архиереи, заместители ключевых монастырей. Несмотря на смешанный – выборный и «по должности» – характер формирования участников, большинство мест (299 из 564) получили миряне, имевшие равное с архиереями право голоса на пленарных заседаниях. Были созданы более 20 отделов и совещательных комиссий по основным вопросам, включая отношения церкви и государства, новые формы высшего церковного управления, приходскую и епархиальную реформы, женское служение в церкви и т.д. (для работы в комиссиях записывались все желающие). Подготовленные в отделах решения вы-

носились на общее голосование, предварительно проходя оценку Епископским совещанием.

Поместный Собор установил, что государство не вправе вмешиваться в управление церковью и ее внутренние дела. Тем не менее он решил исходить из признания государством принципа первенства православия среди остальных религий и необходимости «культурного сотрудничества» церкви и государства. Когда сторонники патриаршества выдвинули вопрос о целесообразности восстановления этого института, из-за большого числа делегатов, критически воспринявших такое предложение, он обсуждался в тесной увязке с определением о новой системе церковного управления.

В результате обсуждения, несмотря на принятое решение Собора о восстановлении патриаршества, высшей инстанцией церковного управления становился не Патриарх. Согласно определению Собора, *в Православной российской церкви высшая власть – законодательная, административная, судебная и контролирующая – принадлежат Поместному собору, периодически, в определенные сроки созываемому, в составе епископов, клириков и мирян.*

Соборы постановили созывать каждые три года (для переизбрания членов органов Высшего церковного управления (ВЦУ) и в случаях экстренной необходимости – избрания нового патриарха (Избирательный собор), для суда над патриархом (Архиерейский собор).

Для осуществления повседневной деятельности церкви в периоды между соборами утверждалась система трех институтов Высшего церковного управления (ВЦУ) – Священный синод, Высший церковный совет (ВЦС) и Патриарх. Собор мог требовать отчета от всех органов ВЦУ, включая Патриарха, принимать и рассматривать жалобы на деятельность ВЦС и Священного синода.

В функции Патриарха входило сообщение с другими православными церквями, представительство интересов церкви в общении с высшими органами государственной власти. «Патриарх мыслился более как заступник и представитель Церкви, нежели как обладатель особой власти с собственными правами и обязанностями. В контексте царской России главной целью была независимость Церкви по отношению к государству, а не независимость патриарха внутри Церкви» [Дестивель, 2008, с. 126].

В пользу восстановления патриаршества действительно приводили аргументы, далекие от чисто религиозных, – ссылались на

войну, в условиях которой нужен вождь, на внешнее давление политических сил, в диалоге с которыми нужен авторитетный представитель церкви; на приниженность относительно других православных и католической церкви, возглавляемых патриархами и папой соответственно. Но и приоритеты коллегиальности в управлении церковью были учтены: «либеральные защитники идеала соборности... включили вопрос о восстановлении патриаршества в законодательное определение о соборной форме высшей церковной власти и этим сделали из русского Патриарха конституционного председателя соборных учреждений, лишенного возможности стать церковным монархом» [Карташев, 1942], в результате «церковный строй оставался скорее парламентарным, нежели президентским» [Дестивель, 2008].

Для выборов патриарха на Соборе применили комбинированную схему – сначала выдвижение кандидатов и формирование их перечня, потом голосование в несколько туров с выявлением трех наиболее популярных из них; и, наконец, после молебна из бумаг с именами трех кандидатов вытягивался жребий рукой являющегося духовным авторитетом старца. Так был избран Патриарх Тихон (Беллавин), в июне 1917 г. выбранный в ходе церковной революции митрополитом Московским.

К ведению состоящего из архиереев Синода отнесены были вопросы иерархического, вероучительного, канонического и литургического характера. В Высший церковный совет (ВЦС), новый орган, избираемый на три года до следующего Собора, входили три архиерея – члены Священного синода, а также пять избираемых Собором представителей от приходского духовенства (любого ранга), один представитель от монашествующих и шесть от мирян. ВЦС должен был отвечать за административные, хозяйственные, финансовые, образовательные сферы церковного управления [см.: Цыпин, б. г.]. Председателем на заседаниях ВЦС считался Патриарх или кто-либо из замещающих его в этой роли архиереев Синода, но решения принимались простым большинством голосов.

Следующий блок решений Собора утвердил новый подход к статусу епископа, сформировавшийся в период церковной революции: выборность епархиального архиерея прямым голосованием; возможность выдвижения безбрачных кандидатов, включая белых священников и мирян, но с обязательством при избрании постричься в первую монашескую степень – «рясофор», невоз-

можность перевода епископа на другую кафедру, за исключением чрезвычайных случаев.

Третьей сферой, где состоялось принятие важных реформ, стала приходская жизнь. Появилось определение, что приходом считается «общество православных христиан, состоящее из клира и мирян, пребывающих на определенной местности и объединенных при храме, составляющее часть епархии и находящееся в каноническом управлении своего епархиального архиерея под руководством поставленного последним священника – настоятеля» [Цыпин, б. г.]. Либеральной части делегатов импонировало исходное определение «приход – это общество из клира и мирян», консервативной – отказ от идеи выборности священников. Епархиальный архиерей имел право (но не обязан был) назначать клириков на приход, учитывая пожелания прихожан. Приходское собрание, собирающееся не реже двух раз в год, должно было также на выборной основе из церковного старосты, клириков и мирян сформировать приходской совет – исполнительный орган управления.

Отдельным достижением Собора стало решение вопроса о служении в церкви женщин. Им предоставлялось право избираться в приходское собрание, работать в приходских советах, избираться и участвовать в епархиальных собраниях; в случае необходимости женщины могли занимать должность псаломщицы, но без посвящения в клир.

Политика памяти церковной интеллигенции: Призрак церковной революции

Не только руководство РПЦ, но и православная интеллигенция, миряне и клирики, ученые и публицисты формируют коммеморацию Собора. Для них юбилей становится поводом озвучить критику официальной линии руководства РПЦ и напомнить: как и 100 лет назад, вопросы церковно-государственных отношений и внутрицерковные противоречия обострились до предреволюционной степени.

Редактор созданного православными мирянами независимого интернет-издания «Ахилла.ру» А. Плужников в посвященном юбилею Собора интервью с говорящим названием «Возможна ли революция в Русской православной церкви?» отмечает, что, не-

смотря на поступающие в редакцию схожие свидетельства рядовых клириков о давлении епископата, вымогании средств с небогатых приходов на непрозрачные статьи расходов руководства РПЦ, включая роскошные подарки епископам, приходские священники разобщены и не готовы заступаться друг за друга. Системную проблему автор видит в том, что «жизнь церкви в нашей стране всегда привычно подстраивается под государственную» [Плужников, 2017], этим он объясняет и демократические паттерны Собора 1917 г., находившегося в русле общественной демократизации. Закрепленную в современном Уставе РПЦ абсолютизацию власти епископата, невозможную ни в дореволюционной России, ни в СССР, где церковь во внутреннем управлении ограничивало государство, он называет противоположной идеям Собора.

Более жестко в посвященной столетию Собора публикации «Независимой газеты» церковный публицист протоиерей А.В. Кураев констатирует полное расхождение современной церкви с решениями Собора 1917 г. и причины такого расхождения: «в не-революционных условиях никто из начальников не готов хоть на йоту поступиться своими привилегиями перед лицом тех, кто ниже их и зависим от них: Патриарх не желает, чтобы в Синоде была хоть тень сопротивления его воле. Епископы не готовы терпеть никакой самостоятельности в духовенстве. Настоятелям... не нужны приходские собрания» [Скрыльников, 2017].

Кураев утверждает, что если в 1960-х годах советское государство по-своему защитило интересы мирян перед клиром РПЦ, назначив учредителем прихода «двадцатку прихожан, нанимающих священника» и лишив настоятеля прихода властных полномочий, то при патриархе Кирилле наблюдается иная крайность — полное бесправие прихожан, отчуждение храмов из собственности приходов в юрисдикцию епархии, фиктивность приходского собрания [там же]. Еще большей утратой достижений Собора 1917 г. протоиерей называет превращение в наши дни Высшего церковного совета из полноценного независимого института в орган, подконтрольный Патриарху, так как его члены не избираются, а получают место по должности, на которую и назначаются им самим. Так нивелируется решение Собора 1917 г. наделить выборный орган из клириков и мирян правом контроля над бюджетной политикой церкви, контроля и ревизии финансовой деятельности церковных структур.

Православный ученый и публицист А.С. Десницкий в посвященной юбилею Собора публикации «Костыли для иерархов» напоминает о страшном опыте 1917 г., когда церковь пострадала в том числе из-за тесной связи с государством, дискредитировавшей клир в глазах общества и народа. Автор рассматривает через призму идей Собора сегодняшнюю ситуацию с двух сторон, отмечая как стремление иерархов церкви иметь «костыли» в виде опоры на государство (от которой полностью не хотели отказываться и участники Собора 1917 г.), так и незаинтересованность мирян в активном и ответственном участии в жизни приходской и церковной. Причину Десницкий видит в непонимании епископатом «миссии не прихожан, а так называемых “верных” – составляющих численное большинство в церкви, если не понимать ее узко как корпоративную организацию клириков и монашествующих» [Десницкий, 2018]. С этой позиции «верные», как и в 1917 г., должны стремиться к участию не только в жизни прихода, но и в соборном руководстве церковью и в выработке повестки дня, иметь права и обязанности; без такой вовлеченности «верных» мирян в церковное управление в уязвимое положение между прихожанами и полагающим себя «носителем благодати» епископатом, по мнению Десницкого, попало приходское духовенство.

Протоиерей Г. Митрофанов в посвященной юбилею публикации «НГ» полагает, что реализация в наши дни постановлений и подходов к церковной жизни, принятых на Соборе 1917 г., невозможна, поскольку «многолетнее выживание в условиях гонений значительно усилило централизацию нашего церковного управления, а наше церковное общество, состоящее из сформировавшихся в советский период людей, отличается безынициативностью и потребительским отношением к церковной жизни» [Скрыльников, 2017].

В августе 2017 г. появилась и публикация на сайте православного Преображенского братства, сформировавшегося вокруг церковной общины священника Г. Кочеткова, с говорящим названием: «Вековой юбилей Собора, который принял “слишком демократические решения”» [Вековой... 2017]. Коллектив авторов раскрывает суть важнейших, по их мнению, достижений: «Предоставление инициативы “снизу” и установление на всех уровнях тесного контакта между верующими и их пастырями, наделение выборного органа – приходского собрания широкими полномочиями; возможности участия женщин в богослужении, проповедничестве,

церковном управлении; использование русского языка в богослужении по заявлению прихода и его благословению местным архиереем». Авторы не разделяют точки зрения на восстановление патриаршества как основное достижение Собора и подчеркивают, что на самом Соборе единогласия в вопросе восстановления патриаршества не было, в завершение отмечая, что «слабым местом Собора оказался вопрос отношений церкви и государства. Требуя для себя независимости, Собор тем не менее не мог смириться с мыслью об отделении церкви от столь давно поддерживавшего ее государства» [Вековой... 2017].

Заключение

Руководство РПЦ в политике памяти проводит идею преемственности революций и губительности трансформаций, не выделяя в интерпретации событий 1917 г. Февральскую революцию, имевшую для церкви позитивное значение, поскольку только отречение канонизированного впоследствии царя сделало возможным проведение необходимого церкви Поместного собора. Официальные коммеморации избегают упоминаний о церковной революции, послужившей не только подготовительным этапом Поместного собора, но и выдвинувшей плеяду выдающихся церковных деятелей, часть из которых погибли в ходе большевистских репрессий, а часть реализовали себя в эмиграции. Среди таких забытых событий церковной революции – избрание на Московскую кафедру будущего Патриарха (а впоследствии и канонизированного святого) Тихона Беллавина, авторитет которого был подтвержден дважды победами на церковных демократических выборах в 1917 г. (выборах Московского митрополита и Патриарха), в которых он считал возможным и правильным участвовать.

Политика памяти в дискурсе церковной интеллигенции формирует отличный от предлагаемой руководством РПЦ подход к церковной истории, церковным ценностям и приоритетам. В этом дискурсе признают, что Собор 1917 г. стал возможен только после революционной смены правящего режима, а легитимность и эффективность Собора были во многом обусловлены церковной революцией, утвердившей выборное и представительное начала как основу современной церковной жизни. Опосредованно

это является несогласием с признанием преступного характера любых политических перемен.

Кроме этого, неофициальный вектор политики памяти РПЦ о Соборе 1917 г. по-иному ранжирует приоритетность решений Собора. Принципиальным отличием становится то, что в этом модусе восстановленное патриаршество не является единственным заслуживающим внимания событием. Главное достижение Собора в рамках этого вектора политики памяти – решение о том, что вся власть в Российской Церкви принадлежит именно регулярно избираемому Собору, большинство участников которого – миряне, что отражает христианский взгляд на церковь как на совокупность верующих, а не административно-территориальную корпорацию клириков. Следующее достижение Собора в такой трактовке – решение о том, что рекрутирование в высшую страту церкви (епископат) происходит на открытой, выборной основе. Тему борьбы с коррупцией в церкви затрагивают авторы, напоминающие о создании на Соборе упраздненной в наши дни системы из трех органов Высшего церковного управления, один из которых – избираемый ВЦС в составе мирян и клириков, отвечал бы за финансовое управление и финансовый контроль. Коммеморация в данном случае сигнализирует о том, что в церкви, как и 100 лет назад, есть запрос на децентрализацию власти, на выборность епископата, на открытость и подотчетность высшего церковного управления регулярно выборному органу – Собору, объединяющему клириков, архиереев и мирян, где миряне являются не символическими, а полноправными участниками.

Официальную коммеморацию можно свести к тому, что все революции 1917 г. были преступны, поэтому промыслом свыше было восстановлено патриаршество как институт, символизирующий независимость церкви от государства, ее способность опереться на традиции в эпоху перемен, и являющийся краеугольным камнем в церковном управлении. Избегается упоминание фактов, затрагивающих проблему неоднозначных отношений Николая II с епископатом православной церкви, возможности конфликта церкви и государства, решений Собора о демократизации и выборности церковного управления, революции как способа решения внутрицерковных конфликтов. Современная эпоха жизни церкви с помощью такой избирательной коммеморации предстает идеалом – реставрацией досинодального патриаршества параллельно с во-

площением пожеланий участников Собора 1917 г. о культурном сотрудничестве с государством, которое, в отличие от времен Империи и СССР, не вмешивается в церковные дела, оказывая церкви поддержку.

Список литературы

- Балакишина Ю.В.* Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х» петербургских священников), 1903–1907: Документальная история и культурный контекст. – М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. – 424 с.
- Вековой юбилей Собора, который принял «слишком демократические решения» // Сайт Преображенского братства. – М., 2017. – 28 августа. – Режим доступа: <https://psmb.ru/a/vekovoi-iubilei-sobora-kotoryi-prinial-slishkom-demokraticheskie-resheniia.html> (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Десницкий А.С.* Костыли для иерархов // Газета. ру. – М., 2017. – 14 июня. – Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/comments/column/desnitsky/10719857.shtml?updated> (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Дестивель И.* Поместный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. и принцип соборности. – М.: Изд-во «Крутицкое Патриаршее подворье», 2008. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/assets/uploads/books/18926/1destivel_iakin_f_svyashchennik_pomestnyy_sobor_rossiyskoy_pra.pdf (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Журналы заседания Священного Синода. – М., 2017. – 28 декабря. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5090389.html> (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Истина минус компромисс // Российская газета. – М., 2017. – 26 ноября, № 743. – Режим доступа: <https://rg.ru/2017/11/26/v-sredu-v-moskve-otkroetsia-arhierejskij-sobor-s-uchastiem-glav-pravoslavnyh-cerkvej-mira.html> (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Карташев А.В.* Временное правительство и Русская Церковь // Электронная библиотека Одинцовского благочиния. – Опубликовано: Париж, 1933. – Режим доступа: http://www.odinblago.ru/vrem_p_i_cerkov (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Карташев А.В.* Революция и Собор 1917–18 гг. // Портал «Азбука веры». – Опубликовано: Париж, 1942. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Anton_Kartashev/revolyutsiya-i-sobor-1917-18-gg/#0_9 (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Конференция «Уроки столетия: Поместный Собор 1917–1918 гг.» состоялась в Москве // Древо-инфо. ру. – М., 2017. – 23 августа. – Режим доступа: <https://drevo-info.ru/news/22688.html> (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Международная научная конференция «Собор и соборность: к столетию начала новой эпохи» открылась в Москве // Православие. ру. – М., 2017. – 15 ноября. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/108122.html> (Дата посещения: 20.04.2018.)

- Патриарх Кирилл назвал революцию 1917 года великим преступлением // РИА Новости. – М., 2017. – 19 февраля. – Режим доступа: – <https://ria.ru/religion/20170219/1488324263.html> (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Плужников А. Возможна ли революция в православной церкви? // Московский комсомолец. – М., 2017. – 21 ноября. – Режим доступа: <http://www.mk.ru/social/2017/11/21/vozmozhna-li-revoljuciya-v-russkoy-pravoslavnoy-cerkvi.html> (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Рогозный П.Г. Церковная революция. 1917 г. – М.: Лики России, 2008. – 224 с.
- Священный Синод установил празднование памяти Отцов Поместного Собора 1917–1918 гг. // Патриархия. ru. – М., 2017. – 4 мая. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/4884967.html> (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.: Обзор деяний. Третья сессия / Сост. А. Кравецкий, Г. Шульц; под общ. ред. проф. Г. Шульца. – М.: Изд-во «Крутицкое Патриаршее подворье»: «Общество любителей церковной истории», 2000. – 432 с.
- Скрыльников П. Церковная свобода 100 лет спустя. Нужно ли решения Собора 1917–1918 воплощать в наше время? // Независимая газета. – М., 2017. – 6 сентября. – Режим доступа: http://www.ng.ru/ng_religio/2017-09-06/14_427_hundred.html (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в день 100-летия открытия Священного Собора 1917–1918 гг. // Патриархия. ru. – М., 2017. – 28 августа. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/4997468.html> (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Смолич И.К. История Русской Церкви 1700–1917. – М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. – 799 с.
- Сунайт Т. Собор будущего // Православие. ru. – М., 2017. – 24 августа. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/105948.html> (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). – М.: Духовная библиотека, 2002. – 624 с.
- Цыпин В., прот. Высший Церковный совет // Православная энциклопедия. – М., 2005. – Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/161111.html> (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Чаннин С. Ложный триумф Патриарха. Что показал Архиерейский Собор РПЦ // Carnegie.ru. – М., 2017. – 4 декабря. – Режим доступа: <http://carnegie.ru/commentary/74892> (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Шавельский Г.И. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота: [в 2 т.]. – Нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1954. – Т. 2. – Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Istoriya_Tserkvi/vospominaniya-poslednego-protopresvitera-russkoj-armii-i-flota/2 (Дата посещения: 20.04.2018.)
- Я надеюсь на революцию в РПЦ: Исповедь анонимного священника // Интернет-журнал «Ахилла». – 2017. – Февраль. – Режим доступа: <http://ahilla.ru/ya-nadeyus-na-revoljutsiyu-v-rpts/> (Дата посещения: 20.04.2018.)

С.П. ДОНЦЕВ*

**ПОЛИТИКА ПАМЯТИ В КОНТЕКСТЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ**

Аннотация. В статье предпринимается попытка проанализировать участие Русской православной церкви в формировании и реализации государственной политики памяти в современной России. Автором поставлена задача определить влияние Церкви на государственную политику памяти и описать механизмы ее реализации в контексте взаимодействия религиозных и государственных институтов. Анализируются публичные стратегии Русской православной церкви в отношении прошлого при взаимодействии с системой государственного образования и вооруженными силами, анализируется роль церкви в установлении праздников. Делается вывод о том, что церковь и государство создают не состязательные, а взаимодополняющие каналы социализации при реализации государственной политики памяти.

Ключевые слова: политика памяти; историческая политика; политическая социализация; государственно-конфессиональные отношения; Русская православная церковь; система государственного образования; вооруженные силы; государственная символика.

Для цитирования: Донцев С.П. Политика памяти в контексте институциональных взаимодействий Русской православной церкви и государства в современной России // Политическая наука. – М., 2018. – № 3. – С. 110–128. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.05

*** Донцев Сергей Павлович**, кандидат политических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной политологии, Российский государственный гуманитарный университет (Москва, Россия), e-mail: dontsev@gmail.com

Dontsev Sergei, Department of theoretical and applied political science, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia), e-mail: dontsev@gmail.com

© Донцев С.П.

DOI: 10.31249/poln/2018.03.05

S.P. Dontsev

**Politics of memory in the context institutional interactions
between the Russian Orthodox Church and the state in modern Russia**

Abstract. The article attempts to analyze the participation of The Russian Orthodox Church (ROC) in the formation and implementation of the state politics of memory in modern Russia. The main attention is paid to the institutional aspect of interaction between the ROC and the State. The author sets the task of revealing the influence of the Church on the Russian politics of memory and describing the mechanisms of its realization in the context of interaction of religious and state institutions. Historical politics is seen as an integral part of politics of memory. The article analyzes the public strategies of the ROC in relation to the past as part of the process of political socialization in cooperation with the state educational system and the armed forces. The author also analyzes the process of formation of the symbolic space of Russia by state institutions and the possibility of participation of the Russian Orthodox Church in this process. It is concluded that the Church and the state form complementary (not adversarial) channels of socialization in the implementation of the state policy of memory.

Keywords: politics of memory; historical politics; political socialization; state-religious relations; Russian Orthodox Church; state educational system; armed forces; **state symbols.**

For citation: S.P. Dontsev Politics of memory in the context institutional interactions between the Russian Orthodox Church and the state in modern Russia // Political science (RU). – M., 2018. – N 3. – P. 110–128. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.05

Взаимодействия религиозных и государственных институтов по вопросам, связанным с формированием и реализацией политики памяти, приобретают особую актуальность, когда их следствием становится принятие решений органами государственной власти, затрагивающих все общество в целом. В современной России особый интерес приобретают выявление и анализ взаимодействий крупнейшей российской религиозной организации – Русской православной церкви (РПЦ) – и государственных институтов, которые могут повлиять и влияют на политику памяти нашей страны.

В многочисленных исследованиях государственно-конфессиональных отношений в современной России вопросам влияния церкви на политику памяти и историческую политику уделяется недостаточное внимание. Отдельные аспекты этого явления рассмотрены в работах А.В. Митрофановой (апелляция к прошлому при трансформациях «православного мира» в культурно-политическую общность [Митрофанова, 2004]), О.Ю. Малиновой (церковь как субъект ком-

меморации [Малинова, 2018]), Т.В. Растемишиной (культурное наследие церкви в государственной политике национальной памяти [Растимешина, 2012]) и некоторых других. Однако роль РПЦ в формировании и реализации российской политики памяти в контексте взаимодействия с государственными институтами остается недостаточно изученной.

Исследования современной российской политики памяти и исторической политики преимущественно акцентируются на роли государства и аффилированных с государством институтов в ее формировании и стратегиях реализации (см, например: [Ачкасов, 2013; Миллер, 2014; Культурная... 2015]). Исследуется в первую очередь либо государственная политика памяти, формируемая действующими политическими элитами, либо попытки использования элементов альтернативного исторического дискурса для достижения политических целей завоевания и удержания государственной власти. Однако неполитические акторы не только могут иметь собственное видение содержания политики памяти и продуцировать соответствующий альтернативный дискурс (в тренде концепции тотальной множественности Британской школы культурных исследований), но и пытаться влиять с его помощью на государственную политику. Так, О.Ю. Малинова, рассматривая коммеморацию исторического события в качестве политического процесса, исход которого определяется взаимодействиями мнемонических акторов, преследующих политические цели и избирательно использующих общий репертуар символических ресурсов, относит к их числу и Православную церковь [Малинова, 2018]. С другой стороны, и государственные институты могут задействовать ресурсы неполитических акторов в целях содействия реализации отдельных стратегий и проектов политики памяти. В качестве таких неполитических акторов могут выступать религиозные организации и, в первую очередь, наиболее крупные и влиятельные из их числа, чьи ресурсы позволяют транслировать собственный дискурс памяти на максимально широкую аудиторию. Этот дискурс может либо коррелировать с дискурсом, формируемым государственными институтами и контролируемым агентами социализации населения, либо находиться к нему в оппозиции, формируя и актуализируя альтернативный образ прошлого, либо занимать промежуточную позицию, в чем-то дополняя, а в чем-то расходясь с государственным дискурсом. В России к таким религиозным ор-

ганизациям, которые могут быть объектом исследования в указанном разрезе политики памяти, относится, безусловно, Русская православная церковь. В настоящей публикации предпринята попытка ответить на вопрос, какие каналы влияния на российскую политику памяти имеет РПЦ и как они реализуются в контексте взаимодействия религиозных и государственных институтов.

Историческая политика будет рассматриваться как составной элемент политики памяти, которая включает всю сферу публичных стратегий в отношении прошлого [Миллер, 2013, с. 114]. Из таких стратегий особое внимание будет уделено процессу политической социализации, преимущественно через систему образования и вооруженные силы. Это связано с тем, что такой важнейший компонент социализации, как процесс передачи политической культуры от одного поколения к другому, непосредственно связан с исторической политикой, а религиозные институты, согласно классической модели Г. Алмонда, могут выступать в качестве одного из агентов политической социализации [Almond, 1963].

Второе направление публичных стратегий в отношении прошлого, которое будет рассмотрено в статье, – формирование государственными институтами символического пространства России и возможности участия в этом процессе Русской православной церкви.

Церковь, политическая социализация и политика памяти

Если рассматривать Русскую православную церковь в качестве института, принимающего участие в политической социализации (такой методологический подход возможен, так как Церковь участвует в трансляции ценностей, имеющих отношение к миру политического [Донцев, Чимириш, 2011]), то необходимо выяснить, как ее действия соотносятся с генерализированным потоком социализации, формируемым государственными институтами. Как показывает российская практика, Русская православная церковь может не только транслировать определенный образ прошлого, но и непосредственно участвовать в его формировании, внося в него ценности, связанные с православной традицией, а также собственное видение особенностей функционирования социальных и, в ряде случаев, политических институтов. В Основах социальной концепции РПЦ обозначены предпочти-

тельные для Церкви принципы государственного устройства, взаимоотношений человека и государства, церковных и государственных институтов, основанием которых выступает традиция, а точнее, ее церковная интерпретация. По словам Патриарха Кирилла, «абсолютное большинство людей в России является сторонниками ценностей, исторически восходящих к отечественной религиозно-культурной традиции» [Кирилл, 2006], и поэтому задача Церкви заключается в том, чтобы «добиваться признания легитимности религиозного мировоззрения как основания для общественно значимых деяний (в том числе государственных)» [Основы... 2000, с. 250]. Эта задача как раз и решается в рамках политической социализации. При этом трансляция ценностей и образов прошлого может осуществляться РПЦ при взаимодействии с государственными институтами. В этом плане особый интерес представляют структуры государственного образования и вооруженные силы.

Для РПЦ взаимодействие с системой государственного образования является одним из ключевых каналов для трансляции определенного образа прошлого и собственного видения смысла и содержания общественно-политических феноменов и явлений (власть, государство, патриотизм и т.п.), которые интерпретируются на его основе.

Сегодня это взаимодействие идет по направлениям интеграции религиозного образования и культурологического блока дисциплин, акцентирующих внимание на православной традиции в системе государственного образования. Характерно, что в РПЦ признается именно социализирующая функция образования, под которым понимается «непрерывный процесс, имеющий корни в прошлом», и цель которого – передача традиций [Алексий II, 2006].

Острая общественная реакция на появление в государственной школе предметов религиозной направленности, где образ прошлого выступает только фоном для трансляции религиозных ценностей, привела к тому, что приоритет получили проекты интеграции в систему государственного образования культурологических дисциплин. Здесь, наоборот, уже религиозные ценности становились тем фоном, на котором рассматривались исторические, общественно-политические и культурные сюжеты. В данном случае религиозные ценности предполагается транслировать не в виде учения, а в рамках концепций, имеющих отношение к вопросам

истории, этики, эстетики. Однако и в таком виде они могут влиять на политическую социализацию – особенно когда речь идет об исторической интерпретации вопросов взаимоотношения РПЦ и государства, о роли православных иерархов в тех или иных поворотных для Российского государства исторических событиях. Таковыми особенно были исторические сюжеты, рассматриваемые в рамках культурологических курсов регионального образовательного компонента в средней школе в 2006–2009 гг. «Основы православной культуры», «Православная этика», «Православное искусство».

В 2009 г. в рамках реформы системы среднего образования начался процесс включения предмета «Православная культура» в новое поколение госстандартов общего среднего образования в качестве одного из шести модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Ряд элементов учебной программы этого курса предполагает интерпретацию сюжетов российской истории через призму православного вероучения (например, «Христианин на войне», «Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России», а также тематика творческих работ и творческих проектов завершающих уроков), имеют непосредственное отношение к формированию политической культуры учащихся. Интересен выбор сюжетов и персонажей истории: князья Владимир и Александр Невский, богатырь Илья Муромец, адмирал Федор Ушаков и др., большинство из которых причислены к лику святых Русской православной церкви. Выбор их продиктован ориентацией на формирование у учащихся не только соответствующих ценностей, но и государствоцентричного мировоззрения.

С 2008 г. в публичном церковном дискурсе, в котором Церковь не только выступала носителем исторической памяти, но и задавала направления интерпретации, все чаще появлялся образ «Святой Руси» (см., например: [Патриарх... 2013]). Архиерейский собор РПЦ определил «Святую Русь» как общее цивилизационное пространство восточнославянских народов, имеющих общее историческое прошлое [Определение... 2008], как исторически сформированное духовное единство России, Украины и Беларуси, в основе которого лежит православная вера [Собор... 2008]. Использование этого образа в образовательных проектах Церкви также коррелирует с позицией государственных акторов социализации.

Необходимо также остановиться на позиции РПЦ относительно проблемы единого школьного учебника. По словам Патриарха Кирилла, отсутствие единого учебника истории наносит ущерб формированию гражданственности, негативно влияет на чувство патриотизма, поэтому Церковь приняла активное участие в формировании концепции единого учебника, и «многое было учтено» [Единый... 2014]. Приведенные слова Патриарха иллюстрируют деятельность РПЦ именно в качестве актора, влияющего на процесс политической социализации, имеющего определенную систему ценностей – «нравственных и духовных координат» – и успешно транслирующего их в результате взаимодействия с институтами системы образования.

Многое из того, о чем говорилось относительно взаимодействия Церкви и системы государственного образования, применимо к целям и задачам, решаемым при взаимодействии религиозных и армейских институтов. Особенно это касается вопросов трансляции военным определенным ценностям и мировоззренческих установок. При этом предполагается, что армия в ходе таких взаимодействий может решать задачи морально-этического обоснования необходимости службы в вооруженных силах, а трансляция ценностей с отсылкой к историческим примерам их применения может также формировать у призывников чувства патриотизма.

Для иллюстрации того, как это осуществляется на практике, обратимся к соглашению Русской православной церкви с Воздушно-десантными войсками России, которое предусматривает совместную организацию и участие военнослужащих и духовенства в воинских ритуалах освящения боевых знамен, военной техники, совершение молебнов перед учениями, а также участие в торжествах, посвященных памятным дням воинской славы, организацию торжественных проводов и служение молебнов на призывных пунктах, организацию углубленного военно-исторического и духовно-нравственного просвещения военнослужащих с раскрытием положительной роли РПЦ в исторических событиях и достижениях Российского государства [Соглашение... 2003]. Подобные соглашения заключены и с другими родами войск и войсковыми соединениями. Все они основываются на таких законодательно закрепленных полномочиях Министерства обороны России, как разработка и реализация мер, направленных на повышение в об-

шестве авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, организация в этих целях военно-исторической, культурной работы и иной деятельности [Положение... 2004], т.е. действий, связанных во многом с проблематикой политики памяти.

Церковь же обосновывает необходимость взаимодействия с Вооруженными силами в том числе и задачами «возвращения воинства к веками утвержденным православным традициям служения отечеству» [Основы... 2000, с. 206–207]. Характерно, что именно Министерство обороны первым из российских институтов исполнительной власти формализовало взаимодействия с РПЦ, приняв в 1994 г. совместное заявление о принципах сотрудничества между армией и Церковью, создав затем Координационный комитет по взаимодействию и введя в 1994 г. специальные должности офицеров по связям с религиозными объединениями. Позже, в 2009 г., начался долгий процесс восстановления института военного духовенства. Сегодня воспитательные задачи и задачи социализации в армии оказываются тесно переплетены. При этом все они предполагают апелляцию к историческому прошлому, соответствующая интерпретация которого может возлагаться на представителей религиозных организаций.

Церковь и государственная символика России

Национально-государственные символы могут выступать в качестве инструмента политики памяти, фиксируя и воспроизводя образы, способствующие формированию чувства сопричастности граждан к государству. С распадом Советского Союза в России встала проблема формирования новой государственной символики, способной решить указанную задачу. Отказ от символов советской эпохи, актуализация дореволюционной символики и одновременно попытка поиска новых государственных символов привели к формированию эклектичной государственной символической системы, объединяющей крайне разнородные элементы (наиболее показательный пример – российский гимн). Одновременно произошло соединение православной и – шире – общехристианской символики с системой государственных символов. В настоящее время христианская и православная символика при-

сутствует в таких символах государства, как государственный герб, гербы и флаги субъектов Российской Федерации, в российских государственных наградах. Религиозная символика также присутствует на денежных знаках, выступающих носителями государственных символов. На государственном гербе России, принятом в 1993 г., изображены кресты (навершие короны и державы), всадник, поражающий копьем опрокинутого навзничь дракона, соответствующий основным элементам иконографии святого Георгия Победоносца. Христианская символика присутствует в гербах и флагах шести субъектов Российской Федерации и их столиц (без учета крестов в навершии императорской короны и крестов как геральдических символов).

Еще более широко православная символика представлена в государственных наградах – два ордена (Святого Георгия и Святого апостола Андрея Первозванного) названы в честь святых Православной церкви, а в изображениях пяти присутствует крест. Тот факт, что в новой российской системе геральдических символов и государственных наград была восстановлена геральдика Российской империи с элементами общехристианской и сугубо православной символики, свидетельствовал об определенной интерпретации сюжетов имперской истории и роли православия в развитии российской государственности на официальном уровне. При этом говорить, что государство транслирует православную символику и тем самым солидаризируется с ценностными установками православной традиции, было бы не вполне корректно: религиозный символ в данном случае утрачивает свою сугубо религиозную составляющую и полностью сращивается с государственной символикой. Сама эта проблематика если и появляется в публичном дискурсе, то, как правило, связана с заявлениями отдельных представителей исламского сообщества России, которые видят здесь признаки религиозной дискриминации.

Да, РПЦ не оказывала влияние на процесс формирования системы государственных символов и практически никогда не акцентировала внимание на их православной составляющей. Поэтому в данном случае мы имеем ситуацию, когда государство в одностороннем порядке задействует символический потенциал религиозной традиции для формирования собственной символической системы.

Если в процессе формирования официальной государственной символики церковь не участвовала, то попытка создания новых политических символов имела место. Так, в августе 2006 г. Патриарх Алексий II передал для президента В.В. Путина «символический» меч преподобного воина Илии Муромца, освященный на его мощах, который должен помочь Президенту «право править Отечеством нашим, утверждая возрождение России, помогая духовному возрождению Святой Руси» [Патриарх... 2006]. Однако продолжения эта история не получила, и больше о новом символе президентской власти информации обнаружить не удалось.

Государственные праздники и церковь

Анализ системы государственных праздников позволяет выявить, какие события прошлого являются системообразующими для построения гражданской идентичности. Влияние религиозных организаций на формирование системы праздников может проявляться в двух аспектах: 1) когда государство признает в качестве праздника день памяти явления, события или сюжета, связанного непосредственно с религиозной традицией, 2) когда религиозная организация выступает инициатором и / или поддерживает введение в систему государственных праздников дня памяти исторического события или личности, имеющих одновременное значение и для истории государства, и для религиозной организации. Такие праздники являются и важным элементом социализации, так как с их помощью граждане приобщаются к политической и / или исторической традиции.

Русская православная церковь связана с системой российских праздников в двух указанных аспектах. В настоящее время в России, согласно Трудовому кодексу, из восьми государственных праздников, признанных выходными днями, два – Рождество Христово и День народного единства – непосредственно связаны с Русской православной церковью. В числе дополнительных праздничных дней, установленных в субъектах Российской Федерации и связанных с православной традицией, следует отметить день общецерковного поминовения усопших – Радоницу (в Саратовской области с 2012 г.), Троицу и Светлый понедельник (Республика Крым и Севастополь).

Пасха не является государственным праздником, однако в пасхальных богослужениях, транслируемых по центральным государственным каналам, так же как и в рождественских, участвуют знаковые представители политической элиты страны. По степени символической значимости для государства этот религиозный праздник близок к Рождеству и стал важной составляющей не только религиозного, но и культурного пространства страны. Однако говорить о том, что праздничное воспоминание Воскресения и Рождества является элементом политики памяти, несущим какую-либо инструментальную задачу, представляется преувеличением.

Иная картина складывается с введенным в 2005 г. новым государственным праздником – Днем народного единства. Сама дата его празднования, приходящаяся на 4 ноября, совпадает с церковным праздником иконы Казанской Божьей матери, которая, в свою очередь, исторически связана с датой освобождения Московского Кремля от польско-литовских интервентов и, в более широком контексте, с завершением периода «смутного времени» в начале XVII в. Важна символическая основа праздника – ведь вслед за преодолением периода смуты началось возрождение российской государственности. Введение праздника важно и с точки зрения политики забвения – одновременно произошла отмена государственного празднования годовщины Октябрьской революции 7 ноября. В сюжете противостояния двух ценностных систем, символизируемых указанными праздниками, государство максимально публично и ясно продемонстрировало свой выбор. Инициатива введения нового праздника формально принадлежала Межрелигиозному совету России, однако наиболее активная позиция по обоснованию необходимости введения нового праздника наблюдалась у Русской православной церкви. Благодаря медийным усилиям РПЦ в публичном дискурсе формировалась устойчивая ассоциативная связь между праздником возрождения российской государственности и православной церковью. Тот факт, что дата праздника приходится на день памяти особо чтимой православной церковью Казанской иконы Божьей матери, всегда особо подчеркивался церковными СМИ, ими же формировался и образ этой святыни как символа освобождения от иностранной интервенции. То, что производится молитвенное почитание иконы именно как заступницы и хранительницы России, дало основание официальному церковному изданию писать, что «не государство, а Право-

славная церковь наполнила праздник смыслом и содержанием» [День Народного Единства, 2005]. Церковь также акцентировала внимание на роли Патриархов Гермогена и Филарета в преодолении смутного времени. Следствием очевидной связи государственной и церковной истории периода Смутного времени стала ситуация, когда любая реконструкция исторического контекста нового праздника становилась невозможной без упоминания православия и Православной церкви. В результате практически все официальные торжества, связанные с новым праздником, проводятся при участии представителей РПЦ.

Помимо государственных нерабочих праздничных дней в России существует система государственных памятных дат. Они могут использоваться в качестве инструмента политики памяти и так же, как и в случае с государственными нерабочими праздничными днями, быть связаны с религиозной традицией. Среди таких дней стоит отметить памятную дату День Крещения Руси. В 2008 г. Архиерейский собор РПЦ обратился к президенту России Д. Медведеву с предложением учредить в стране государственный праздник в честь святого равноапостольного князя Владимира [Послание... 2008]. Инициатива была поддержана президентом, но воплотилась в 2010 г. в День Крещения Руси, отмечаемый 28 июля – день памяти св. князя Владимира по церковному календарю. Праздник наполнился новым содержанием с присоединением к Российской Федерации Крыма в 2014 г., когда древняя Корсунь – Херсонес, в котором, по церковному преданию, принял крещение св. Владимир, стала площадкой для организации праздничных мероприятий, с акцентом на значении этого события в развитии российской государственности, а В. Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что для России Корсунь имеет «огромное цивилизационное и сакральное значение» [Путин, 2014].

Государственный памятный День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия) также сопровождается проведением значительного количества культурных и просветительских проектов и мероприятий с государственным и церковным участием. Еще один государственный памятный день, связанный с православной традицией, – Татьянин день (праздник всех студентов), в день памяти раннехристианской мученицы Татьяны Римской, – пока еще не проявил свой мобилизующий потенциал в качестве инструмента политики памяти.

О том, что Церковь видит рассмотренные государственные праздники и памятные даты в том числе и в контексте политической социализации и политики памяти, лучше всего свидетельствует постановление Священного синода, отметившего значение установления общегосударственного празднования Дня народного единства именно «для сохранения исторической памяти народа России и консолидации российского общества» [Журнал... 2005].

Заключение

В нынешнем общественно-политическом дискурсе, формируемом агентами социализации из числа государственных и церковных институтов, преобладают патриотическая, «державная», цивилизационно-изоляционистская и традиционалистская компоненты. Участие в трансляции этого дискурса Русской православной церкви и в формировании на его основе элементов символической системы являются примером того, как религиозные институты в лице Церкви могут дополнять деятельность государственных агентов политической социализации, в том числе и при реализации государственной политики памяти. Однако в связи с этим закономерно возникает вопрос, как подобные, порой достаточно глубокие и интенсивные, институциональные взаимодействия согласуются с конституционными принципами светскости и отделения религиозных объединений от государства (статья 14 Конституции РФ). В условиях сохраняющейся правовой неопределенности этих понятий, допускающей нередко прямо противоположные их интерпретации, государство находится в определенной «зоне риска», задействуя ресурс религиозных организаций для реализации отдельных элементов исторической политики, но не имея при этом убедительного правового обоснования подобной деятельности.

Проведенный анализ показал, что Русская православная церковь, которая формально отделена от государства и является негосударственным и неполитическим институтом, действует в согласии с государственными агентами политической социализации и дополняет их активность в трансляции официальных и полуофициальных ценностных установок, связанных с прошлым.

Другими словами, Церковь и государство формируют не составлятельные, а взаимодополняющие каналы социализации.

Список литературы

- Алексий II.* Слово на открытии XIV Рождественских образовательных чтений // Церковный вестник. – М., 2006. – № 3. – Режим доступа: <http://www.tserkov.info/patriarh/?ID=3049> (Дата посещения: 20.02.2018.)
- Ачкасов В.А.* «Политика памяти» как инструмент строительства постсоциалистических наций // Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 2013. – № 4. – С. 106–123.
- День Народного Единства // Церковный вестник. – М., 2005. – № 21. – Режим доступа: <http://www.tserkov.info/prazn/?ID=5333> (Дата посещения: 20.02.2018.)
- Донцев С.П., Чимирус Е.С.* Политическая социализация граждан РФ и деятельность религиозных организаций в современной России // Вестник РГГУ. Серия «Социально-коммуникативные науки». – М., 2011. – № 1. – С. 132–140.
- Единый учебник по истории жизненно необходим, считает патриарх Кирилл // Интерфакс-религия. – М., 2014. – 1 сентября. – Режим доступа: <http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=56308> (Дата посещения: 25.03.2018.)
- Журнал № 97 заседания Священного синода Русской православной церкви, состоявшегося 27 дек. 2005 г. // Официальный сайт Московского патриархата. – М., 2005. – 27 декабря. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/73914.html> (Дата посещения: 20.02.2018.)
- Кирилл*, митрополит. Не должно быть законов, оскорбляющих и возмущающих нравственное чувство человека // Церковь и время. – М., 2006. – № 3. – С. 25–50.
- Культурная память в контексте формирования национальной идентичности России в XXI веке: Коллективная монография / Новый ин-т культурологии; отв. ред. Н.А. Кочеляева. – М.: Совпадение, 2015. – 168 с.
- Малинова О.Ю.* Коммеморация столетия революции (й) 1917 года в РФ: Анализ стратегий ключевых мнемонических акторов // Полис. Политические исследования. – М., 2018. – № 1. – С. 9–25.
- Миллер А.И.* Политика памяти в России: Год разрушенных надежд // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. – М., 2014. – № 4 (75). – С. 49–57.
- Миллер А.И.* Роль экспертных сообществ в политике памяти в России // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. – М., 2013. – № 4 (71). – С. 114–126.
- Митрофанова А.В.* Политизация «православного мира». – М.: Наука, 2004. – 293 с.
- Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О единстве Церкви» // Официальный сайт Московского патриархата. – М., 2008. – 27 июня. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/428916.html> (Дата посещения: 20.02.2018.)
- Основы социальной концепции Русской православной церкви // Сборник документов и материалов юбилейного Архиерейского собора Русской православной

- церкви. – Н. Новгород: Изд-во Братства во имя св. князя Адександра Невского, 2000. – С. 171–250.
- Патриарх Кирилл: Исторический путь Святой Руси должен быть ясным // Православие. ru. – М., 2013. – 29 мая. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/61859.html> (Дата посещения: 25.03.2018.)
- Патриарх освятил в Муроме символический меч Ильи Муромца в дар президенту Путину // Православие. ru. – М., 2006. – 03 августа. – Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/18205.html> (Дата посещения: 25.03.2018.)
- Положение о Министерстве обороны Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082) // Собрание законодательства Российской Федерации. – М., 2004. – № 34. – Ст. 3538.
- Послание Святейшего Патриарха Алексия от имени Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву // Официальный сайт Московского патриархата. – М., 2008. – 27 июня. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/428844.html> (Дата посещения: 20.02.2018.)
- Путин В. Послание Президента Федеральному Собранию // Официальный сайт Президента России. – М., 2014. – 4 декабря. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/47173> (Дата посещения: 20.02.2018.)
- Растимешина Т.В. Политика российского государства в отношении культурного наследия церкви: Традиционные подходы и инновационные технологии. – М.: МГОУ, 2012. – 291 с.
- Святейший Патриарх Кирилл: Ново-Иерусалимский монастырь является символом соработничества Церкви и государства // Официальный сайт Московского патриархата. – М., 2009. – 17 ноября. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/938400.html> (Дата посещения: 25.03.2018.)
- Соглашение о сотрудничестве между воздушно-десантными войсками и Русской православной церковью // Церковный вестник. – М., 2003. – № 18. – Режим доступа: <http://www.tserkov.info/numbers/greetings/?ID=646> (Дата посещения: 20.02.2018.)
- Собор называет единство Святой Руси «величайшим достоянием» народов России, Украины и Белоруссии // Интерфакс-религия. – М., 2008. – 27 июня. – Режим доступа: <http://www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=news&div=25181> (Дата посещения: 20.02.2018.)
- Almond G.A., Verba S. The civil culture: Political attitudes and democracy in five nations. – Princeton, 1963. – 562 p.

РАКУРС

А.Т. УРУШАДЗЕ*

**ПОМНИТЬ-НЕЛЬЗЯ-ЗАБЫТЬ:
КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА В ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ АДЫГОВ И РОССИЙСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ КОММЕМОРАЦИИ**

Аннотация. В статье на основе опубликованных источников и полевых материалов автора рассмотрены несколько проблем места Кавказской войны в исторической памяти адыгов (черкесов) на фоне локализации этого события в большом нарративе Российской Федерации. В СССР начиная с 1950-х годов тема Кавказской войны оказывается на обочине как научного изучения, так и общественного внимания. Историческое содержание самого длительного конфликта в российской истории явно противоречило партийно-идеологическим задачам обеспечения межнационального мира и согласия. Традиция забвения Кавказской войны осталась актуальной и в политике памяти современной России. В то же время для адыгов Кавказская война выступает важнейшим местом памяти, стержнем исторического самосознания. В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее наиболее масштабное явление коммеморации в постсоветский период – учреждение Дня памяти адыгов – жертв Кавказской войны (21 мая), но попытки его признания на федеральном уровне безрезультатны. Это стало причиной формирования мемориального разрыва между адыгской этнической группой и большим российским обществом.

* **Урушадзе Амиран Тариселович**, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Средних веков и Нового времени Института истории и международных отношений Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия), e-mail: aturushadze@sfedu.ru

Urushadze Amiran, Institute of History and International Relations, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia), e-mail: aturushadze@sfedu.ru

© Урушадзе А.Т.

DOI: 10.31249/poln/2018.03.06

Ключевые слова: Кавказская война; историческая память; историография; Кабардино-Балкарская Республика; адыги.

Для цитирования: Урушадзе А.Т. Помнить-нельзя-забыть: Кавказская война в исторической памяти адыгов и российском пространстве коммеморации // Политическая наука. – М., 2018. – № 3. – С. 129–156. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.06

A.T. Urushadze

**Remember-can't-be forgotten: Caucasian war in the historical memory of
Adygs and in the Russian space of commemoration**

Abstract. In the article, based on published sources and field materials of the author, considered several problems of the place of the Caucasian War in the historical memory of Circassians on the backdrop of the localization this event in the large narrative of the Russian Federation. In the USSR since the 1950-s the theme of the Caucasian war is on the sidelines of both scientific study and public attention. The historical content of the longest conflict in Russian history clearly contradicted the party-ideological tasks of ensuring international peace and harmony. The tradition of forgetfulness of the Caucasian war has remained actual and in the politics of the memory of modern Russia. At the same time, for the Circassians, the Caucasian War is the most important place of memory, the core of historical self-awareness. In Kabardino-Balkaria, Karachaevo-Cherkessia and Adygea, the most large-scale phenomenon of commemoration in the post-Soviet period was the Day of Remembrance of Adygs – victims of the Caucasian War (May 21). Attempts its recognition at the federal level have been unsuccessful. This was the reason for the formation of a memorial gap between the Adygeyan ethnic group and the big Russian society.

Keywords: Caucasian war; historical memory; historiography; Kabardino-Balkarian Republic; Adygs.

For citation: Urushadze A.T. Remember-can't-be forgotten: Caucasian war in the historical memory of Adygs and in the Russian space of commemoration // Political science (RU). – М., 2018. – N 3. – P. 129–156. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.06

Введение

21 мая – особый день в городской жизни Нальчика. Это выходной, а потому с самого утра люди собираются в сквере Свободы у мемориала «Древо жизни». Его переплетенные ветви символизируют единство 12 адыгских племен. Официальные лица и общественные активисты произносят речи. Их смысл и содержание перекликаются с текстами передовиц региональных газет: «Кавказская война вписала трагические страницы в историю Российского государства. Это была война колониальная, захватническая против народов Кавказа. При этом особое геополитическое и

военно-стратегическое значение имела адыгская земля... Для адыгов она [Кавказская война. – А. У.] стала национальной катастрофой» [Хафицэ, 2014, с. 1].

Неподалеку от мемориала проходит яркий этнографический перформанс адыгских всадников под зелеными черкесскими флагами, вызывающий живой интерес у горожан, утомленных официальными выступлениями. После траурного митинга звучит музыка старинных адыгских песен, а завершается День памяти адыгов – жертв Кавказской войны и насильственного выселения – зажжением 101 свечи, каждая из которых символизирует один год военного времени – с 1763 по 1864. Именно такая датировка Кавказской войны закреплена на постаменте «Древа жизни». Она противоречит устоявшейся в советской науке и зафиксированной в современном историко-культурном стандарте хронологии – 1817–1864 гг.

В историческом сознании адыгов Кавказская война длилась больше века, в большом российском нарративе – «всего» 47 лет. Но хронологическая асимметрия становится малозаметной на фоне колоссального мемориального разрыва. Память о Кавказской войне кажется замкнутой административными границами республик Северного Кавказа, прежде всего «адыгских» регионов: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Как будто здесь запятуя поставили после слова «помнить», а остальная Россия предпочла забыть.

История на Кавказе всегда больше, чем история. Агонистический дух, свойственный традиционной культуре северокавказских народов, превращает историю в своеобразное состязание «по древности предков». Славное прошлое выступает важным ресурсом этнической мобилизации и политической конкуренции. Подобные «войны памяти» в Закавказье, а также символическая борьба вокруг аланского наследия, были проанализированы в фундаментальных работах В.А. Шнирельмана [Шнирельман, 2003; 2006]. Особенности и смыслы черкесских коммеморативных практик не получили столь же фундированного и обстоятельного освещения.

Вместе с тем исследовательский интерес к региональным практикам конструирования исторической памяти в последние годы, несомненно, вырос. Различные способы мемориализации исторического опыта, которые получили развитие на региональном уровне, Д.О. Хлевнюк объединила в понятие «вторая память»

[Хлевнюк, 2017]. В этой схеме «первая» – память, которая культивируется и эксплуатируется государством, а «вторая» создается общественными «актерами памяти» и концентрируется преимущественно на сюжетах, не связанных с официальной героикой.

Случай Кавказской войны не вполне укладывается в предложенную дихотомию. К памяти о ней обращаются не только адыгские общественные активисты, но и региональные власти, которые, в отличие от федерального центра, не могут не выражать своего отношения к центральному событию истории народов Северного Кавказа. Можно говорить о трех вариантах памяти, или о двух – и одном забвении. В любом случае демаркирующая концептуализация будет проблематичной, ведь тональность высказываний множества «актеров памяти» меняется на различных этапах осмысления истории и наследия Кавказской войны.

Война без памяти

Первым и пока единственным лидером постсоветской России, который попытался дать оценку Кавказской войны, был Б.Н. Ельцин. 18 мая 1994 г. пресс-служба российского президента распространила «Обращение к народам Кавказа». Приуроченный к 130-летию окончания Кавказской войны документ распадается на две части.

Ключевой тезис первой звучит либерально-примирительно: «В настоящее время, когда Россия строит правовое государство и признает приоритет общечеловеческих ценностей, появляется возможность объективной трактовки событий Кавказской войны как мужественной борьбы народов Кавказа не только за выживание на своей родной земле, но и за сохранение самобытной культуры, лучших черт национального характера» [Обращение президента... 2012]. Эти слова могли быть восприняты как сигнал к началу символической деколонизации истории народов Северного Кавказа и, прежде всего, истории Кавказской войны. Возможно, авторы текста рассчитывали на подобный эффект.

Вторая часть обращения актуализирует идеи общей исторической судьбы и политического единства: «В нашем сознании Россия и Кавказ стали неразрывно связанными понятиями, одно невозможно представить без другого. В Нальчике, столице

Кабардино-Балкарии, поставлен памятник Марии Темрюковне, на котором высечены слова: “Навеки с Россией”. Эти слова святы и дороги каждому россиянину».

Можно предположить, что обращение президента России было вызвано не только памятью об очередной годовщине окончания Кавказской войны, но и тяжелым политическим кризисом на Северном Кавказе, вскоре обернувшимся в трагедию первой чеченской войны. Еще более важно, что две части этого важного текста «включались» в формирование различных нарративов о Кавказской войне.

«Деколонизирующая» часть была (и остается) востребована памятью адыгов и других народов Северного Кавказа. В то время как «объединяющая» на долгие годы вошла в символический арсенал государственной политики памяти. Показательно, что в программной статье В.В. Путина «Россия: Национальный вопрос», опубликованной в начале 2012 г., идея исторического, государственного и культурного единства многонациональной России является основной и едва ли не единственной. В соответствии с этим предлагалось конструировать и политику памяти: «Культурная политика, которая на всех уровнях – от школьных пособий до исторической документалистики – формировала бы такое понимание единства исторического процесса, в котором представитель каждого этноса, так же как и потомок “красного комиссара” или “белого офицера”, видел бы свое место. Ощущал бы себя наследником “одной для всех” – противоречивой, трагической, но великой истории России» [Путин, 2012].

Память о Кавказской войне невозможно эффективно использовать в качестве исторического примера единения многонационального народа Российской Федерации. Во многом именно поэтому на федеральном уровне о ней предпочитают не вспоминать, а если все же вспоминают, то это заканчивается скандалом. В декабре 2013 г. в здании Государственной думы подрались два депутата-«единоросса» – А.С. Делимханов и А.А. Журавлев. Причиной конфликта стал памятник чеченским женщинам села Дади-Юрт, которое было уничтожено 14 сентября 1819 г. в ходе одной из военных экспедиций генерала А.П. Ермолова [Ермолов, 2014]. Согласно местному историческому преданию, чеченские женщины, взятые в плен, при переходе через Терек бросились в реку, увлекая за собой солдат-конвоиров. Мемориал на месте аула Дади-Юрт

появился еще в 1990 г., а в 2013 г. памятник получил свой современный вид: горная гряда с чеченской боевой башней в середине композиции.

Депутата А.С. Делимханова возмутило обращение депутата А.А. Журавлева в Генеральную прокуратуру с запросом на проведение проверки законности установки памятника на месте уничтоженного «проконсулом Кавказа» А.П. Ермоловым селения. Инцидент оказался резонансным и широко освещался в прессе [Антонова, Матвеева, 2013]. Конфликт был быстро локализован, и депутаты продолжили совместную работу, но случай этот еще раз показал «взрывоопасность» памяти о Кавказской войне, которая довела до драки однопартийцев.

Кавказская война очевидно находится на периферии государственной политики памяти. Это вызвано не только невозможностью использовать ее в качестве «социального клея», но и повышенной конфликтностью этого места памяти. Во многом нынешнее безразличие федеральных властей напоминает ситуацию 1940-х годов.

Тогда под влиянием государственно-идеологических мотивов произошел переворот в оценке Кавказской войны. Ранее (в 1920–1930-е годы) Кавказская война рассматривалась советской исторической наукой как антиколониальное движение горцев Северного Кавказа против экспансии российского царизма. Горцы выступали в качестве «союзников европейской революции» [Дегоев, 2003, с. 263]. Сложился и культ имама Шамиля – защитника слабых и угнетенных. Беднейшие горцы сплотились под его предводительством для отпора пришлым колонизаторам и местным феодалам. Кавказская война стала историей сплочения трудящихся, которые боролись за свое политическое, социальное и культурное освобождение.

В 1940-е годы многонациональное советское общество объединилось для жестокого противостояния с внешним врагом. «Антиколониальный» и «освободительный» дискурс Кавказской войны естественным образом оказался непопулярен. Стремление горцев Северного Кавказа к светлым идеалам свободы и справедливости не могло отменить того факта, что в Кавказской войне русские и горцы убивали друг друга [Дегоев, 2003, с. 268]. В послевоенные годы историки заметно снизили активность в изучении проблем истории Кавказской войны. Кровопролитная и бес-

прецедентно долгая война между «братскими народами» совершенно не соответствовала атмосфере того времени. В 1947 г. началась кампания по пересмотру концепции Кавказской войны ввиду ее «политической вредности» [Дегоев, 2003, с. 268]. Теперь Россия несла на Кавказ передовую культуру, а горцы во главе с Шамилем выступали в роли приспешников Турции и Англии [Шамиль – ставленник султанской Турции и английских колонизаторов, 1953]. Знаковой стала публикация в официальном печатном органе ЦК ВКП (б) – журнале «Большевик» статьи первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР М.Д. Багирова под названием «К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля» [Багиров, 1950]. Автор обвинил историков в «буржуазном национализме», который привел к «неправильному освещению событий», развернувшихся на Кавказе в первой половине – середине XIX столетия. Присоединение Северного Кавказа к России объявлялось прогрессивным историческим явлением и единственной альтернативой порабощения горцев отсталыми Турцией и / или Персией. Лидеры горского сопротивления признавались за пособников и шпионов иностранных государств – врагов России. Предложенная М.Д. Багировым концепция полностью соответствовала текущему политическому моменту начала холодной войны.

Ученых, допускавших отход от заданной М.Д. Багировым схемы, преследовали. Показательна трагичная судьба философа Г.Н. Гусейнова. В марте 1950 г. он был удостоен Сталинской премии за книгу «Из истории общественной и философской мысли в Азербайджане XIX века», но спустя всего несколько месяцев премии был лишен за то, что «представил в извращенном виде характер движения мюридизма и Шамиля, изображая их в качестве прогрессивного национально-освободительного и демократического явления» [Адамов, Кутаков, 1950, с. 101]. Книгу Г.Н. Гусейнова обсуждали на специально созванном Общебакинском собрании интеллигенции 14–15 июля 1950 г., где выступавшие не скупились на обвинения и «разоблачения» [Исмаилов, 2003, с. 191]. Не выдержав преследований, 15 августа 1950 г. Г.Н. Гусейнов покончил с собой.

Произошедшее с Г.Н. Гусейновым показало повышенную опасность темы Кавказской войны. Это, вкупе с позицией советских идеологов, желавших отодвинуть проблему сложного конфликта в дальний угол общественно-политического пространства,

предопределило остановку дальнейшей научной разработки истории Кавказской войны и ее негласное табуирование в мемориальной политике. Память о Кавказской войне в советское время превратилась в полуподпольное явление, что, в свою очередь, стало причиной ее взрывной актуализации на Северном Кавказе в период перестройки и после распада СССР.

Кроме «политической вредности» памяти о Кавказской войне есть и еще одна важная причина ее забвения в российском мемориальном пространстве. Северный Кавказ в эпоху империй (Россия / СССР) так и не был окончательно принят русским национальным самосознанием в качестве «своей» территории. Регион продолжал играть роль символического Другого. Не случайно в манифесте А.И. Солженицына «Как нам обустроить Россию» (1990) три закавказские республики отделяются «непреренно и бесповоротно», а «горским кавказским народам» предоставляется выбор, однако на их вхождении в по-новому обустроенную Россию автор не настаивает: «Не крупный Российский Союз нуждается в примыкании малых окраинных народов, но они нуждаются в том больше» [Солженицын, 1990]. Невозможно не отметить, что эти рассуждения великого писателя были порождены поиском ответа на вопрос «где видят границы России сами русские?». Северный Кавказ в ответе, предложенном А.И. Солженицыным, представал регионом-окраиной, очевидно подверженным пространственной маргинализации, которая может выступать в качестве эффективного метода конструирования Другого [Нойманн, 2004, с. 217].

События 1990-х годов усилили и закрепили чуждость Северного Кавказа в русском самосознании. Первый всплеск кавказофобии отмечен в самом начале 1990-х годов и был связан с массовым недовольством жителей Москвы и Санкт-Петербурга поведением и бизнес-методами торговцев из республик Северного Кавказа и независимых закавказских государств. В.А. Шнирельман приводит данные опроса москвичей, проведенного в октябре 1992 г.: 40% опрошенных хуже всего относились к чеченцам, еще 46% – к азербайджанцам [Шнирельман, 2011, с. 257]. Стабильно высокие индексы негативного отношения к представителям кавказских этносов были зафиксированы и опросами ВЦИОМ 1993 г. [там же, с. 257]. В целом социологические исследования 1990-х годов показывали, что российские граждане хуже всего относились к уроженцам Кавказа и цыганам, негативные чувства к которым были силь-

нее, чем аналогичные эмоции к евреям, прибалтам и выходцам из Средней Азии [Шнирельман, 2011, с. 257].

Одним из наиболее популярных киногероев второй половины 1990-х годов стал ветеран первой чеченской войны Данила Багров. В одном из эпизодов фильма А.О. Балабанова «Брат» (1997) Данила, напугав «лиц кавказской национальности» огнестрельным оружием, в ответ на просьбу «Не убивай, брат» равнодушно и с явным пренебрежением говорит: «Не брат ты мне, гнида черно...ая». Желание режиссера отразить социальные настроения совпало с поиском культурной легализации общественной кавказофобии. В крупных российских городах надолго сохранились уличные граффити с изображением Данилы Багрова, закинувшего самострел на плечо, и фразой-слоганом.

Кавказофобия оставалась актуальным общественным явлением и в 2000-е годы, когда приобрела новое измерение, связанное уже не с войной в Чечне, а с социально-экономической политикой центра. Он, по мнению значительной части россиян, неравномерно распределял доходы от нефтегазовой ренты, направляя в республики Северного Кавказа избыточные финансовые средства. Быстро стал популярен лозунг протестных акций: «Хватит кормить Кавказ!». После проведения уже первых акций «за бюджетное равноправие» в Москве осенью 2011 г., по данным «Левада-центра», лозунг «Хватит кормить Кавказ!» поддерживали 62% россиян (при статистической погрешности не более 3,4%) [Россияне об обстановке на Северном Кавказе, 2011]. Еще больше россиян считали, что бюджетные дотации, направляемые в республики Северного Кавказа, растрачиваются неэффективно (72%). Более половины россиян (53%) считали, что федеральные власти слабо контролируют положение дел в Чеченской Республике [Россияне об обстановке на Северном Кавказе, 2011].

Невозможность символического использования Кавказской войны как исторической памяти, консолидирующей многосоставной социум, и кавказофобия стали факторами забвения самого долгого военного конфликта в истории России. В историко-культурном стандарте Кавказская война лишь упомянута как одна из тем в разделах «Пространство империи: Этнокультурный облик страны» и «Преобразования Александра II: Социальная и правовая модернизация» [Историко-культурный стандарт, 2015]. На страницах учебников по истории России для высшей школы Кавказ-

ская война представлена крайне лаконично. Параграфы, включающие описания событий Кавказской войны, названы подчеркнуто нейтрально: «Россия и Кавказ» [История России с древнейших времен... 1996, с. 493], «Россия на Кавказе» [История России XVIII–XIX веков, 2006, с. 569]. Современные российские школьные и университетские учебники по-прежнему выполняют две привычные функции – врачевания и борьбы [Ферро, 1992, с. 19]. Кавказская война выступает не более чем эпизодом в истории расширения Российской империи и ее конкуренции с соседними государствами, а трагедия вынужденного переселения в Османскую империю (мухаджирство) остается за страницами учебника. Горцы и их лидеры показаны фоном, на котором играют свои роли российские генералы и кавказские наместники.

Такое состояние дел контрастирует с мемориализацией Кавказской войны в национальных республиках Северного Кавказа. Здесь историческая память в постсоветскую эпоху стала мощным ресурсом этноцентризма.

Память как война

Адыги – это общее название современных адыгейцев, кабардинцев и черкесов. Оно же в форме *адыгэ* выступает эндоэтнонимом. Адыги и черкесы – синонимичные этнонимы. Но если первый – это самоназвание, то второй – экзоттноним, фиксируемый в исторических источниках не ранее середины XIII в. [Волкова, 1973, с. 18]. Разделение адыгов на три народа и по трем республикам – наследие советской национальной политики.

Кавказская война и мухаджирство для адыгов – историческая травма. В отличие от федеральной власти, стремящейся к локализации этого опыта, адыги не пытаются его вытеснить или подавить. Напротив, травма Кавказской войны выступает важной частью рассказа о себе и способом актуализации адыгского единства. Вместе с тем интеграция адыгов в политико-административное, социальное и культурное пространство Российской, а затем советской империй придала памяти о Кавказской войне форму «дискурсивного и эпистемологического паралича» [Травма... 2009, с. 7–8], когда травмирующее прошлое осталось невыказанным. В сознании этнического меньшинства это равносильно отторжению памяти

травмы со стороны большого общества и его нарративов, а также навязыванию исторического беспамятства.

В условиях перестройки и гласности, на фоне резкого обвала государственной идеологии и дискредитации большого советского нарратива о «добровольном вхождении» народов Северного Кавказа в состав Российского государства, адыги начинают своеобразный поход за исторической идентичностью и «адекватным историческим сознанием». Этими идеями пропитано знаковое предисловие книги известного историка-адыговеда В.Х. Кажарова «Адыгская хаса». В этом манифесте, провозглашающем возрождение адыгской этнической истории, автор рассматривает череду событий XIX–XX вв. как длящуюся историческую травму: «Столетняя (Sic! – А. У.) Кавказская война, массовый геноцид, аннексия территории, изгнание большей части народа в пределы Османской империи, военно-оккупационный режим в зонах, отведенных для проживания его остатков, затем Октябрьский переворот, Гражданская война, тотальные репрессии сталинизма, усугубленные местными диктаторами, и, наконец, умерщвление духа в годы брежневщины – все это поставило адыгов на грань полной деэтнизации» [Кажаров, 1992, с. 5]. Ученый объединяет имперский и советский периоды, показывая их преемственность в отношении распада адыгской общности и этнической идентичности. Кавказская война и ее трагические итоги определяются автором в качестве причины распада связи времен. В.Х. Кажаров указывал, что «дорога к свободе лежит также и через формирование адекватного исторического сознания» [там же, с. 7].

Способом формирования нового адыгского исторического сознания историк видел подготовку и издание «многотомной истории адыгов с древнейших времен до наших дней» [там же, с. 7]. Эта задача стала приоритетной для появившегося в последние годы советской власти Института черкесской истории и культуры. Однако она так и не была реализована в полной мере. Важнее ее символический смысл: создание отдельного этнического исторического нарратива, пересматривавшего большой нарратив государственной истории.

Манифест В.Х. Кажарова задал парадигму развития адыговедческой историографии. Этническая история адыгов стала доминирующим предметом научных исследований и популяризации прошлого. Спустя 20 лет В.Х. Кажаров писал о первой половине

1990-х годов: «Историки, формируя новое историческое сознание, соответствующее этой потребности, хотели творить и саму историю» [Кажаров, 2012, с. 32].

Историческое наследие Кавказской войны обсуждалось и использовалось не только историками-адыговедами, но быстро стало предметом принятия новых мемориальных законов республиканским парламентом. Уже 7 февраля 1992 г. Верховный совет Кабардино-Балкарской ССР принял Постановление «Об осуждении геноцида адыгов (черкесов) в годы Русско-Кавказской войны» [Об осуждении... 1992]. Документ обозначил несколько оценок и требований, которые позднее будут концептуализироваться понятием «черкесский вопрос».

Во-первых, демографическая и миграционная катастрофа адыгов в годы Кавказской войны были признаны актом геноцида, который предлагалось признать и на общегосударственном уровне. Во-вторых, перед республиканскими институтами власти была поставлена задача разработать программу по реабилитации и репатриации адыгов диаспоры – потомков изгнанников-мухаджиров. Наконец, в-третьих, документ объявлял 21 мая «Днем памяти адыгов (черкесов) – жертв Русско-Кавказской войны» – и выходным днем. Очевидно, документ принимался в спешке, и никто из депутатов не обратил внимания на явное календарное несовпадение. 21 мая 1864 г. прошел парад войск Кавказской армии в урочище Кбаада (Красная поляна) – этот день считается датой завершения Кавказской войны. Именно в таком качестве, как «день воспоминания покорения Кавказа», он отмечался российскими солдатами и офицерами – участниками войны за Кавказ [РГИА.Ф. 547. Оп. 1. Д. 986. Л. 1]. Но эта дата была зафиксирована по юлианскому календарю (старому стилю) и не совпадает с датой по григорианскому календарю (новому стилю). Депутаты не учли перехода на новую календарную систему, которая «перенесла» дату окончания Кавказской войны на 2 июня.

Требование признать геноцид адыгов в годы Кавказской войны становится основным в повестке адыгских съездов и деятельности Международной черкесской ассоциации (далее – МЧА). Основными адресатами обращений становятся высшие должностные лица и парламент Российской Федерации. В 1994 г. МЧА стала участником Организации непредставленных народов и наций (ОННН). В обращении к генеральному секретарю ОННН руково-

дство МЧА отмечало: «Трудности заключаются в том, что трагические последствия Русско-Кавказской войны для адыгов усилиями правителей России в прошлом были скрыты от российской и мировой общественности. Можно сказать, что подобная политика продолжается и по сей день» [Обращение Международной Черкесской Ассоциации... 1994]. ООН признала геноцид адыгов в годы Кавказской войны, а позднее, в 1997 г., ее генеральный секретарь, известный правозащитник М. Ван Вальт ван Праг обращался к Б.Н. Ельцину с просьбой признать геноцид адыгов, закрепить за ними статус народа-изгнанника, признать право на репатриацию адыгов диаспоры [Обращение Организации Непредставленных Народов... 1997]. Однако эти многочисленные обращения не привели к законодательному признанию геноцида адыгов в РФ.

Отсутствие реакции со стороны российского политического руководства отчасти компенсировалось вниманием и внешним покровительством республиканских элит, не препятствовавших общественным дискуссиям, публикации научных работ и художественных произведений, по-новому осмысливающих трагический исторический опыт Кавказской войны.

Проблема геноцида адыгов, представленная в постановлении Верховного совета Кабардинской ССР и многочисленных обращениях МЧА, получила развитие в книге 1992 г. «Геноцид адыгов», написанной в жанре «историко-краеведческой публицистики» [Касумов, Касумов, 1992, с. 4]. Несмотря на полемическую заостренность заглавия, книга написана в узнаваемом тяжеловесном стиле советской историографии. Текст усыпан ссылками на классиков «единственно верного учения». С концептуальной точки зрения в нем не оказалось ничего нового: главным виновником трагедии мухаджирства назван «российский царизм» (по традиции отделенный от русского народа), проводивший политику «колониального гнета». Среди других виновников – Турция и Англия, озабоченные лишь своими интересами и раздававшие адыгам «лживые обещания». Единственная новация книги – появление категории геноцида для характеристики завершающего этапа Кавказской войны и выселения адыгов. С 1990-х годов историческое адыговедение развивается под значительным влиянием деятельности общественных организаций, добивающихся политико-правового признания геноцида.

«Геноцид адыгов» упоминается в качестве дополнительной литературы во введении школьного учебника (8–9 классы) по истории Кабардино-Балкарии [Бекалдиев, 2011, с. 8]. Однако в соответствующих параграфах учебника термин «геноцид» не употребляется. Борьба адыгов против российской экспансии в годы Кавказской войны названа «народно-освободительной» и «антиколониальной» [там же, с. 125–127]. Схожие оценки зафиксированы и в учебнике по истории Адыгеи (8 класс) [Чирг, Емтыль, 2002, с. 85–90].

Еще одной формой развития адыгского нарратива о Кавказской войне с 1980-х годов становится художественная литература. Роман лауреата государственной премии РСФСР адыгского писателя И.Ш. Машбаша «Раскаты далекого грома» издается в 1988 г. стотысячным тиражом [Машбаш, 1988]. Повествование разворачивается на фоне социальных противоречий внутри различных адыгских сообществ, которые приводят сначала к плохо скрываемой вражде, а затем оборачиваются кровавой междоусобицей Бзиюкской битвы (29 июня 1796 г.). Наряду с вполне традиционным для советской исторической литературы сюжетом «классовой борьбы» в романе И.Ш. Машбаша присутствует и тема негативного вмешательства Российской империи во внутренние дела адыгов.

В 1990-е годы писатель создает целый ряд историко-литературных произведений, посвященных этнической истории адыгов различных эпох. В 2003 г. на русском языке выходит монументальный роман «Адыги», в заключительных строках которого И.Ш. Машбаш дает историческую оценку трагедии мухаджирства. Писатель вносит свой вклад в один из самых дискуссионных вопросов истории Кавказской войны – численность мухаджиров: «Но самое страшное – более пяти миллионов адыгов были вынуждены со слезами навсегда покинуть свою родину, расстаться со священными могилами предков. Живут они, можно сказать, безродными по всей земле – в Турции, на Балканах, в странах Ближнего Востока, в Америке, Африке, Европе...» [Машбаш, 2003, с. 733]. По официальным данным российской администрации, которые привел в своей работе еще А.П. Берже, адыгов в период с 1858 по 1865 г. было выселено около 470 тыс. [Берже, 1882, с. 168]. В постсоветский период в трудах исследователей, представляющих «адыгские» научно-образовательные центры, эта цифра считалась заниженной более чем в два раза [Дзамихов,

2005, с. 42; Кушхабиев, 2007, с. 40–41]. Это отмечалось и в учебной литературе. Почему же И.Ш. Машбаш писал о 5 млн мухаджиров? Вероятно, писатель ориентировался на общую численность зарубежной черкесской диаспоры, которая к моменту написания романа составляла, по разным оценкам, от 4 до 5 млн человек.

Несмотря на повышенный интерес к событиям Кавказской войны в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее, обобщающего научного труда так и не появилось. Как отметил В.Х. Кажаров: «Вопреки ожиданиям эта тема не стала предметом всестороннего комплексного исследования, что явно не соответствовало потребности адыгского народа иметь адекватную историческую память о Кавказской войне» [Кажаров, 2012, с. 40]. Кавказская война была самой обсуждаемой темой в адыговедении, но при этом осталась недостаточно изученной. Историки-адыговеды признают парадоксальность такого положения, но указывают на целый ряд объективных проблем, встающих на пути написания подобной работы: формирование авторского коллектива, определение конвенциональных концептуальных рамок, вопрос финансирования¹. Отчасти историографическую пустоту заполнили документальные публикации, отразившие различные стороны Кавказской войны и ее последствий [Материалы по истории западных черкесов, 2012; Адыгские песни времен Кавказской войны, 2014]. Показательно, что даже 150-летие окончания войны (2014) не стало поводом к появлению обобщающей научной работы. В Нальчике была проведена конференция «Кавказская война: События, факты, уроки (к 150-летию окончания)» и изданы ее материалы [Кавказская война: Актуальные проблемы исторического дискурса, 2014]. Это явно контрастирует с другой важной датой, которая отмечалась в 2007 г., – «450-летие союза и единения народов Кабардино-Балкарии с Россией». История русско-кабардино-балкарских связей и отношений отразилась во внушительной по объему (720 страниц) и авторскому коллективу работе под заглавием «История многовекового содружества» [История многовекового содружества, 2007].

¹ Полевой материал экспедиции автора в г. Ростов-на-Дону, 12.09.2017, А.А., 1980 г. р.

Во второй половине 1990-х годов широкий общественный интерес к истории Кавказской войны затухает. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, сложное социально-экономическое положение населения, столкнувшегося с обнищанием, безработицей, бытовой неустроенностью. Активный интерес к прошлому не вписывался в повседневные стратегии выживания. Во-вторых, изменение позиции региональной власти, переставшей покровительствовать изучению истории Кавказской войны. Республиканская администрация опасалась, что популяризация истории Кавказской войны окажет негативное влияние на общественно-политическую обстановку и приведет к межэтническим столкновениям, спровоцирует напряженность в отношениях с федеральным центром.

В эти годы значительно снижается влияние черкесских общественных организаций, поставленных под контроль различных центров власти. Наиболее показателен пример Кабардино-Балкарии, где в 1990-х годах быстро сложился авторитарный, или, по другой терминологии, «неосултанистский» режим власти президента В.М. Кокова [Дерлугьян, 2010, с. 74].

В 2000-е годы черкесские общественники продолжили регулярно (и столь же безнадежно) обращаться к различным институтам федеральной власти с требованием признать геноцид адыгов. Некоторые ответы федеральных чиновников можно назвать и показательными, и курьезными. Летом 2005 г. к Государственной думе РФ обратилось Адыгейское республиканское общественное движение «Черкесский конгресс». Ответ, подписанный заместителем председателя думского Комитета по делам национальностей М.А. Аюповым, сводился к следующему: «По данным Института российской истории РАН, репрессиям по национальному признаку в советский период подверглись 16 этносов, еще 45 этносов были затронуты репрессиями частично. Адыгейцы (черкесы) в этом списке не фигурируют» [Аюпов, 2006]. В данном случае перед нами либо не самая удачная попытка бюрократического ответа на вопрос, который не задавали, либо свидетельство полного непонимания исторического контекста развития народов Северного Кавказа. Отметим, что в заключение своего ответа федеральный чиновник призывает к консолидации и единению, словно проговариваясь, что тяжелое наследие Кавказской войны объективно этому препятствует: «По нашему мнению, современные реалии требуют новых форм работы по соблюдению коллективных прав народов, и

представляется, что сегодня всем нам необходимо искать то общее, что объединяет народы Российской Федерации» [Аюпов, 2006].

Дискурс государственного единства доминирует и в официальных выступлениях региональных лидеров. В заявлении президента КБР А.Б. Канокова, посвященном 144-й годовщине окончания Кавказской войны (2008), было сказано: «Оглядываясь назад, мы должны помнить и о том, что Кавказская война – это единственная черная страница в многовековой истории взаимоотношений Кабардино-Балкарии и России. Не так давно мы торжественно отметили 450-летие добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства. Празднование этой знаменательной даты придало новый импульс консолидации нашего общества, укреплению единства народа Кабардино-Балкарии, ярко и убедительно продемонстрировало его верность однажды данной клятве “Навеки с Россией”» [Сыромятников, 2008].

Однако год спустя, участвуя в документальном фильме А.Н. Сокурова «Интонация», А.Б. Каноков говорил уже о том, что в трагедии Кавказской войны «всем нужно покаяться». А также отметил необходимость «более правдиво показать историю Кавказской войны», попутно сославшись на то, что «эта тема почему-то довольно плотно закрыта». Представляется, что в первом случае А.Б. Каноков призывал к государственному единению, будучи одним из элементов вертикали власти, а в фильме А.Н. Сокурова, говоря о покаянии, позволил себе быть этническим адыгом.

Маргинализация требований адыгских общественных организаций и давление региональных властей привели к тому, что ранее влиятельные социальные институты превратились в замкнутые клубы немногих активистов. В 2012 г. в ходе экспертного интервью мой собеседник отметил: «Население и понятия не имеет о существовании данной организации [Международная черкесская ассоциация. – *А. У.*], о ее лидерах, о местонахождении офиса структуры, не говоря уже о целях и задачах общественной организации». И далее: «...данные организации не имеют ни достаточных ресурсов, ни тем более достаточного числа сторонников. И в перспективе это исключено»¹.

¹ Полевой материал экспедиции автора в г. Нальчик, 20.07.2012, Р.О., 1978 г. р.

Подготовка к проведению зимней Олимпиады в Сочи (2014) вывела проблему последствий Кавказской войны на международный уровень обсуждения. Особенно активны были наиболее многочисленные черкесские диаспоры в Турции (3,3 млн человек) и Иордании (80 тыс. человек) [Кушхабиев, 2007, с. 115, 165]. Зарубежные черкесские организации, требуя признать геноцид, проводили пикетирование зданий российских дипломатических представительств и международных институтов. Возросла и активность российских черкесов-общественников, которым удалось развернуть масштабную кампанию по созданию негативного информационного фона вокруг сочинской Олимпиады. В публикациях представителей черкесских общественных организаций Сочи был объявлен «землей геноцида» [Черкесский вопрос в Сочи, 2014]. Отметим, что черкесские активисты раскололись на два лагеря: одни призывали к бойкоту Олимпиады, другие лишь настаивали на включении адыгских этнических символов в официальную олимпийскую символику.

Через три дня после открытия XXII зимних Олимпийских игр (10 февраля 2014 г.) в рамках встречи с представителями Общественного совета Сочи – 2014 В.В. Путин назвал требования признания черкесского геноцида, с новой силой зазвучавшие в «олимпийском» контексте, «попыткой сдерживания России» [Петров, 2014]. После завершения игр широкое общественное обсуждение Кавказской войны и ее последствий предсказуемо завершилось.

Региональные власти продолжили курс на формирование объединяющей и примиряющей исторической памяти. В 2014 г. в календаре Кабардино-Балкарии появился новый праздник и выходной – День адыгов (черкесов). Указ главы КБР назначил его на 20 сентября. Содержательно праздник должен играть роль регионального варианта Дня народного единства и согласия. На «адыгских» сайтах праздник называли «симулякром» и «даром данайцев», подчеркнув искусственность его создания и смысла. Как отметил Д.Н. Прасолов, «мероприятия 20 сентября пока остаются коммеморативной неудачей республиканского руководства» [Прасолов, 2017, с. 70].

21 мая в этническом сознании адыгов – наиболее значимый день памяти. В этом можно наглядно убедиться, посмотрев запись многолюдного шествия по проспекту Ленина в Нальчике 21 мая 2016 г., размещенную на видеохостинге YouTube. На сайте

Адыги.ру опубликован список героев Черкесии – предводителей горцев в Кавказской войне, составленный по документальным источникам и этнографическим материалам. Он насчитывает 253 имени. Списку героев предпослано небольшое введение, в котором есть такие слова: «Рано или поздно история Русско-Кавказской войны [Sic! – А. У.] в учебных заведениях будет изучаться как самостоятельный предмет, как Великая Октябрьская социалистическая революция, как Великая Отечественная война; о ней будут написаны многотомные труды» [Герои Черкесии, 2018].

Заключение

Своеобразным символом государственного отношения к памяти о Кавказской войне является здание управления центра Кавказской линии, сохранившееся в Нальчике. Бледно-персиковые стены с обсыпавшейся штукатуркой, из-под которой проглядывают деревянные доски; закрытые, будто заколоченные, оконные ставни; кособокие колонны и табличка с надписью: «Охраняется государством». Для советского, как и для современного российского государства тема Кавказской войны показалась слишком опасной. Отсутствие официальных ограничений на изучение и памятование тех событий «компенсируется» особенностями общественных настроений россиян и красноречивым молчанием представителей федеральной власти.

Невысказанность коммеморативной травмы прошлого в советское время привела к ее бурному обсуждению в постсоветские годы, когда история Кавказской войны подверглась стремительной политизации. Забвение и «нарративная недостаточность» Кавказской войны в российском мемориальном пространстве влечет радикализацию ее трактовок и интерпретаций травмированным этническим сознанием адыгов. Наиболее конфликтна и опасна радикальная историческая память, выступающая от имени подполья. Неуклюжие попытки навязать социуму идею общей истории через призывы помнить «позитивную роль» и «вехи дружбы» оборачиваются общественной апатией к официальному дискурсу примирения и согласия.

История Кавказской войны и память о ней смыкаются с другими общественно-политическими проблемами «адыгского» про-

странства Юга России. Настойчивые требования черкесских общественников к федеральной власти признать факт геноцида имеют не только морально-нравственный смысл. Они прямо связаны с незавершенностью процессов нациестроительства в регионе, особенно в «двухтитულных» республиках. Кабардино-балкарские земельные конфликты, проблема защиты прав адыгского меньшинства в Карачаево-Черкесии, а также периодически обостряющиеся дискуссии о вхождении Адыгеи (или ее отдельных частей) в состав Краснодарского края играют роль катализатора идеи обретения идеальной государственности, общего дома российских адыгов и черкесов диаспоры.

Список литературы

- Адамов Е., Кутаков Л. Из истории происков иностранной агентуры во время кавказских войн // Вопросы истории. – М., 1950. – № 11. – С. 95–108.
- Адыгские песни времен Кавказской войны / Под ред. А.М. Гутова, М.А. Табишева, Н.Г. Шериевой. – Нальчик: Печатный двор, 2014. – 624 с.
- Антонова Е., Матвеева П. «Жестко отчихвостили» // Газета. ru. – М., 2013. – 4 декабря. – Режим доступа: <https://www.Gazeta.Ru/Social/2013/12/04/5782873.Shtml?Updated> (Дата посещения: 15.03.2018.)
- Аюпов М.А. Ответ Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей М.А. Аюпова на Обращение АРОД «Черкесский конгресс» в ГД РФ по признанию геноцида / Государственная дума РФ. – М., 2006. – 17 января. – Режим доступа: http://www.elot.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2545&Itemid=5 (Дата посещения: 23.03.18.)
- Багиров М.Д. К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля // Большевик. – М., 1950. – № 13. – С. 21–37.
- Бекалдиев М.Д. История Кабардино-Балкарии. 8–9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – Нальчик: Эльбрус, 2011. – 416 с.
- Берже А.П. Выселение горцев с Кавказа // Русская старина. – М., 1882. – № 2. – С. 152–180.
- Владимир Путин. Россия: Национальный вопрос // Независимая газета. – М., 2012. – 23 января. – Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (Дата посещения: 15.03.2018.)
- Волкова Н.Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. – М.: Наука, 1973. – 210 с.
- Герои Черкесии // АДЫГИ.RU. – Майкоп, 2018. – 27 февраля. – Режим доступа: <http://adygi.ru/index.php?newsid=13311> (Дата посещения: 23.03.18.)
- Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: История и современность. – М.: Русская панорама, 2003. – 512 с.

- Дерлугьян Г.М.* Адепт Бурдые на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010. – 560 с.
- Дзамихов К.Ф.* Адыги: Борьба и изгнание. – Нальчик: Республиканский полиграфический комбинат, 2005. – 110 с.
- Ермолов А.П.* Кавказские письма. 1816–1860. – СПб.: ООО «Журнал “Звезда”», 2014. – 723 с.
- Исмаилов Э.Р.* Власть и народ. Послевоенный сталинизм в Азербайджане. 1945–1953 гг. – Баку: Адильоглы, 2003. – 286 с.
- Историко-культурный стандарт // Российское историческое общество. – М., 2015. – 24 августа. – Режим доступа: <https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii/istoriko-kulturnyj-standart.html?view=category&id=122> (Дата посещения: 19.03.18.)
- История многовекового содружества: К 450-летию союза и единения народов Кабардино-Балкарии и России. – Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2007. – 720 с.
- История России XVIII–XIX веков / Под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. – 785 с.
- История России с древнейших времен до 1861 года / Под ред. Н.И. Павленко. – М.: Высшая школа, 1996. – 559 с.
- Кавказская война: Актуальные проблемы исторического дискурса (к 150-летию окончания). – Нальчик: КБИГИ, 2014. – 197 с.
- Кажаров В.Х.* Адыгская хаса. Из истории сословно-представительных учреждений феодальной Черкесии. – Нальчик: Институт черкесской истории и культуры, 1992. – 180 с.
- Кажаров В.Х.* Историография и историческое сознание кабардинцев во второй половине XX–XXI в. – Нальчик: Издательский отдел КБИГИ, 2012. – 84 с.
- Касумов А.Х., Касумов Х.А.* Геноцид адыгов. Из истории борьбы адыгов за независимость в XIX веке. – Нальчик: Логос, 1992. – 201 с.
- Кушхабиев А.В.* Очерки истории зарубежной черкесской диаспоры. – Нальчик: Эль-Фа, 2007. – 320 с.
- Материалы по истории западных черкесов (Архивные документы 1793–1914 гг.) / Сост. А.В. Сивер. – Нальчик: КБИГИ, 2012. – 158 с.
- Маибаиш И.Ш.* Адыги. – М.: Советский писатель, 2003. – 736 с.
- Маибаиш И.Ш.* Раскаты далекого грома. – М.: Советский писатель, 1988. – 608 с.
- Нойманн И.* Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. – М.: Новое издательство, 2004. – 366 с.
- Об осуждении геноцида адыгов (черкесов) в годы Русско-Кавказской войны: Постановление / Верховный совет Кабардино-Балкарской ССР. – Нальчик, 1992. – 7 февраля. – Режим доступа: http://www.elot.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1699&Itemid=5 (Дата посещения: 19.03.18.)
- Обращение Международной Черкесской Ассоциации к Организации Непредставленных Народов и Наций / Международная черкесская ассоциация. – Майкоп, 1994. – 9 сентября. – Режим доступа: http://www.elot.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2530&Itemid=5 (Дата посещения: 20.03.18.)

- Обращение Организации Непредставленных Народов к Президенту Российской Федерации Борису Ельцину / Организация непредставленных народов и наций. – Гаага, 1997. – 23 апреля. – Режим доступа: http://www.elot.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2583&Itemid=5 (Дата посещения: 20.03.18.)
- Обращение президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина к народам Кавказа // Коммерсант. – М., 2012. – 11 июля. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/1978317> (Дата посещения: 15.03.2018.)
- Петров М. Путин: Попытки сдерживать позитивное развитие России абсолютно бесперспективны / ТАСС. – М., 2014. – 10 февраля. – Режим доступа: <http://tass.ru/politika/953535> (Дата посещения: 23.03.18.)
- Прасолов Д.Н. Коммеморативные практики в современной Кабардино-Балкарии // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. – М., 2017. – № 2. – С. 67–82.
- Российский государственный исторический архив. Ф. 547. Оп. 1. Д. 986. Л. 1.
- Россияне об обстановке на Северном Кавказе, национализме, политике и финансировании региона, лозунге «Хватит кормить Кавказ» / Левада-центр. – М., 2011. – 15 декабря. – Режим доступа: <http://www.levada.ru/2011/12/15/rossiyane-ob-obstanovke-na-severnom-kavkaze-natsionalizme-politike-i-finansirovani-regiona-lozunge-hvatit-kormit-kavkaz/> (Дата посещения: 17.03.18.)
- Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию. – М., 1990. – Режим доступа: http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/stati_i_rechi/v_izgnanii/kak_nam_obustroit_rossiyu.pdf (Дата посещения: 15.03.18.)
- Сыромятников Д. Война как конструирование нации // Росбалт. – СПб., 2008. – 23 мая. – Режим доступа: <http://www.rosbalt.ru/main/2008/05/23/486662.html> (Дата посещения: 23.03.18.)
- Травма: Пункты: Сборник статей / Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 936 с.
- Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. – М.: Высшая школа, 1992. – 254 с.
- Хафицэ М. История необратима // Кабардино-Балкарская правда. – Нальчик, 2014. – 21 мая, № 94/95. – С. 1–2.
- Хлевнюк Д.О. Ценности будущего // Ведомости. – М., 2017. – 22 февраля. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/22/678719-tsennosti-buduschego> (Дата посещения: 22.02.2018.)
- Черкесский вопрос в Сочи: Столица Олимпиады или земля геноцида? // Кавказский узел. – М., 2014. – 24 марта. – Режим доступа: <http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/238010/> (Дата посещения: 23.03.18.)
- Чирг А.Ю., Емтыль Р.Х. История Адыгеи (XVIII – 60-е годы XIX в.): Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – Майкоп: Адыгейское республиканское книжное издательство, 2002. – 160 с.
- Шамиль – ставленник султанской Турции и английских колонизаторов: Сборник документальных материалов / Ред. Ш.В. Цагарейшвили. – Тбилиси: Госиздат, 1953. – 300 с.
- Шнирельман В.А. «Порог толерантности»: Идеология и практика нового расизма. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – Т. 2. – 720 с.

Шнирельман В.А. Быть аланами: Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 696 с.

Шнирельман В.А. Войны памяти: Мифы, идентичность и политика в Закавказье. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 542 с.

Полевые наблюдения и материалы

Полевой материал экспедиции автора в г. Нальчик, 20.07.2012 г.; Ошроев Рубен Германович – руководитель группы по изучению проблем современного развития общества Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН, 1978 г. р., интервью в ИГИ КБНЦ РАН.

Полевой материал экспедиции автора в г. Ростов-на-Дону, 12.09.2017 г.; Абазов Алексей Хасанович – старший научный сотрудник сектора средневековой и новой истории Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН, 1980 г. р., интервью в Южном научном центре РАН.

Используемые сокращения

КБР – Кабардино-Балкарская Республика

МЧА – Международная черкесская ассоциация

ОННН – Организация непредставленных наций и народов

РГИА – Российский государственный исторический архив

А.В. МИХАЛЕВ*

БОГ ВОЙНЫ, ИЛИ ПАМЯТЬ О «ЧЕРНОМ БАРОНЕ» В ПРАВОМ ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. После распада Советского Союза начался процесс оформления правых идеологий в России, в ходе которого стали востребованы материалы исторической науки, способные легитимировать данные идеологии. Начался процесс формирования новых политических мифологий. Барон Роман фон Унгерн-Штернберг (1886–1921) стал одной из ключевых фигур подобного мифотворчества. В постсоветский период были предприняты попытки построения вокруг его образа идеологий как евразийской, так и крайне правой ориентации. Политические лидеры самых разных взглядов апеллируют к мифам о бароне Унгерне. Эти мифы в политической памяти в современной России создаются профессиональными историками, публицистами, а также экспертами по эзотерике и мистике. Основная цель этой статьи – рассмотреть механизм формирования образа «нового героя Евразии» на примере канонической биографии барона Унгерна.

Ключевые слова: историческая память; политика; миф; идеология; коммеморация.

Для цитирования: Михалев А.В. Бог войны, или Память о «черном бароне» в правом дискурсе современной России // Политическая наука. – М., 2018. – № 3. – С. 157–178. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.07

* **Михалев Алексей Викторович**, доктор политических наук, директор Центра изучения политических трансформаций ФГБОУ ВО Бурятский госуниверситет (Улан-Удэ, Россия), e-mail: mihalew80@mail.ru

Mikhalev Alexey, Centre of political transformation studies in Buryat State University (Ulan-Ude, Russia), e-mail: mihalew80@mail.ru

© Михалев А.В.

DOI: 10.31249/poln/2018.03.07

A.V. Mikhalev
God of War or the memory of the «Black baron»
in the right discourse of contemporary Russia

Abstract. After the collapse of the USSR, the process of formation a number of conservative and right-wing ideologies began. All of them borrowed plots from historical science to legitimize them. New political mythologies were being formed. Baron Roman Ungern von Sternberg (1886–1921) became a key figure of this mythmaking. For this period, the attempts to construct ideologies both of the Eurasian and the extreme right orientation were undertaken around him and his ideas. Political leaders of the very different directions often appeal to myths on Baron Ungern. This myth in the political memory of the contemporary Russia is created by professional scientists – historians, publicists as well as by experts in esotericism and mystics. The main objective of this article is to consider a mechanism of formation the image of a «new hero of Eurasia» on the example of creating Baron Ungern’s canonical life profile.

Keywords: historical memory; politics; myth; ideolog; commemoration.

For citation: Mikhalev A.V. God of War or the memory of the «Black baron» in the right discourse of contemporary Russia // Political science (RU). – М., 2018. – N 3. – P. 157–178. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.07

Правый дискурс в постсоветской России тесно связывается с определяющей его содержание исторической памятью о знаковых фигурах. С 1990-х годов формируется пантеон героев, вокруг которых начинает функционировать политически ангажированная коммеморация. Прошлое стало превращаться в символический ресурс для политиков и общественных активистов [Малинова, 2017, с. 7]. Сформированное в советский период на уровне массовой культуры негативное отношение к империи и империализму к 2000-м годам становится все менее актуальным и отступает на второй план. Этот процесс начинался с публичной реабилитации лидеров Белого движения, что привело к их последующей мифологизации. Ключевой фигурой этого мифотворчества стал один из лидеров Белого движения в Забайкалье и Монголии – барон Роман фон Унгерн-Штернберг (1886–1921). В последние два десятилетия вокруг его образа, созданного в культуре и СМИ, строятся идеологии как евразийской, так и крайне правой ориентации. При этом, служа образцом героя для самых разных современных течений политической мысли, сам Роман фон Унгерн-Штернберг придерживался монархических взглядов, но какой-либо четкой идеологии не формулировал.

Сегодня из «героев империи» в той или иной степени сакрализованы лишь Николай II, его семья и барон Унгерн, причем последний еще при жизни. Глава буддистской церкви Монголии VIII Богдо-гэгэн признал Унгерна перерождением одного из буддийских божеств. Память о бароне Унгерне вышла за рамки обычной политизации памяти о Гражданской войне в России. По уровню мифологизации персона Унгерна сравнима лишь с фигурой Чапаева (что нашло отражение в романе В.О. Пелевина). По нашему предположению, причину этому нужно искать в том, что культ Унгерна, в отличие от А.В. Колчака или П.Н. Краснова, возник еще в 1930-е годы в нацистской Германии. Современные империалисты и ультраправые воспроизводят прежние идеологические шаблоны и мифы в новых контекстах, поэтому особое значение приобретает то, каким образом создаются эти самые исторические мифы и какие исторические персонажи становятся значимыми.

Из всех лидеров Белого движения барон Роман фон Унгерн-Штернберг стал значимой фигурой не только в современной России и Германии 1930–1940-х годов, но и в Монголии. Память об Унгерне консолидирует различные политические силы. Автор данной статьи встречал среди правой атрибутики футболки с изображением барона и девизом «Nescit occasum». Среди арт-объектов можно увидеть и неканонические буддистские танки с изображением Унгерна в качестве докшита (защитника веры).

Данная работа следует исследовательской традиции изучения образа героя в контексте исторической памяти. Говоря о конкретных исследованиях, касающихся образов героев Внутренней Азии, нужно упомянуть следующие работы: К. Каплонски – о формировании пантеона героев монгольского национализма [Karłonski, 2004], С.Л. Кузьмина – подробный анализ биографии барона Унгерна [Кузьмин, 2011], И.О. Пешкова – об исторической памяти в условиях азиатского фронта [Пешков, 2010], К. Хамфри – об исторической памяти и Сталине в буддистской эсхатологии [Хамфри, 2010]. Важное место в данном обзоре занимает книга У. Сандерленда «Плащ барона. История Российской империи в войне и революции» [Sunderland, 2014], вызвавшая активное обсуждение в академических кругах. Это попытка исторической реконструкции событий, связанных с бароном Унгерном, а также контекста, в котором они происходили. Рецензии на книгу вышли в

целом ряде изданий: *Ab imperio*, *Восток / Oriens*, *Foreign affairs* и др. Сандерленд акцентирует внимание на плаще барона как на атрибуте имперской гетеротопии и отсылает к метафоре «восточного ковра» [Sunderland, 2014]. Большое внимание уделено реконструкции взглядов барона на основе дискурса желтой опасности и критике социализма Г. Лебона. В числе положительных сторон работы хотелось бы отметить качественно проделанную реконструкцию, но при этом данная книга, на наш взгляд, внесла свой вклад в поддержание культа памяти барона.

Эмпирическая база исследования опирается на массив материалов о бароне Унгерне за период с 1991 по 2017 г. как научного, так и художественного характера. В выборку вошли тексты (художественная литература, публицистика, поэзия), художественные фильмы, а также музыка. В качестве дополнительных материалов использованы российские и зарубежные публикации об Унгерне 1920–1930-х годов. В данном исследовании предлагается классификация и систематизация перечисленных материалов на основе содержащихся в них политических смыслов.

В представленной работе тестируется гипотеза о том, что политические смыслы, содержащиеся в мемориальных нарративах о «даурском бароне», ориентированы на целевую аудиторию, именующую себя «имперцами», «монархистами», «фашистами» и «евразийцами», так или иначе разделяющую правые политические ценности. Цель работы – рассмотреть практики исторического мифотворчества, стремящегося адаптировать память о бароне Унгерне к политическим течениям правого толка современной России.

В методологическом плане, изучая историческую политику, мы опираемся на работы А. Ассман [Ассман, 2014]. Наиболее значим для нас предложенный ею концепт «политической памяти». Под политической памятью понимается ситуация, когда история выступает инструментом формирования идентичности и к ней апеллируют политики [там же, с. 35]. Политическая память отдает предпочтение коллективным формам усвоения [там же, с. 58]. Не менее значима для анализа динамики политической памяти об Унгерне работа П. Хаттона [Хаттон, 2004]. Предлагаемый в данной книге обзор развития исследований памяти открыл возможности для систематизации практик коммеморации.

Особенность данного исследования состоит в том, что оно фокусируется на формировании исторического образа эталонного

правого героя. Героика Гражданской войны, а также почти ориенталистская экзотизация персоны Унгерна привлекают к ней внимание со стороны самых различных политических сил. В данной работе мы рассмотрим возникновение истоков канона интерпретации образа Унгерна как «харизматического вождя», а также натурализацию этого образа в современной России. В центре внимания – формирование мифа о вожде, моделей его трансляции, а также связь с относительно маргинальными российскими и зарубежными политическими группировками.

Кто такой Унгерн?

Роман фон Унгерн-Штернберг – один из деятелей Белого движения в России, командир Азиатской конной дивизии. На протяжении длительного времени Унгерн был, по образному выражению Л. Юзефовича, «даурским феодалом» [Юзефович, 1993, с. 37]. В этот период в Забайкалье начинается масштабная партизанская война против белых, вызванная террором и реквизициями. В результате наступления Красной армии и действий партизан белые в Забайкалье были разгромлены. Отступая из Даурии, барон Унгерн вторгся в Монголию в 1920 г., освободил ее столицу Ургу от сил китайских милитаристов. После взятия Урги в городе был устроен еврейский погром. В дальнейшем Унгерн восстановил в Монголии буддистскую теократическую монархию.

Согласно свидетельствам ряда современников барона, теократический правитель Монголии Джебзун-Дамба-хутухта VIII в день интронизации провел ритуал посвящения в тантру, после которого Унгерн получил право считаться докшитом (защитником веры) и воплощением бога войны Джамсарана. Однако один из биографов барона С.Л. Кузьмин, ссылаясь на мнение Богдо-гэгэна IX, ставит факт тантрического посвящения под сомнение [Кузьмин, 2011, с. 381]. При этом в большинстве книг эмигрантов этот факт представляется очевидным. Именно в это время Унгерн начинает использовать свастику в качестве атрибута на своих погонах и плаще. Отношение Унгерна к буддизму, равно как и большая часть его идей, на наш взгляд, является рецепцией взглядов Э.Э. Ухтомского и И.С. Левитова. Популярная в столичных кругах идея Желтороссии – масштабной русской колонии от Байкала до

Тихого океана, опирающейся на смешение «белого и желтого населения» региона [Левитов, 1905, с. 99], – несомненно, была известна Унгерну. Будучи близок к окружению князя Э.Э. Ухтомского, он получил представление об основах буддизма и о ситуации на окраинах Российской империи. Симпатии Унгерна к буддизму также можно объяснить придворной модой на восточный мистицизм. В 1919 г. он вступил в брак с китайской принцессой Цзи, венчание по православному обряду проходило в Харбине.

Осуществив перегруппировку войск и проведя мобилизацию в Монголии, Унгерн предпринял наступление на Сибирь. В 1921 г. был издан приказ № 15, который сегодня считается едва ли не основным программным документом Унгерна. Приказ № 15 о походе на Сибирь написан с опорой на христианскую эсхатологию. Одной из задач приказа была попытка сплотить силы вокруг мифического (реальный уже был расстрелян) великого князя Михаила. Об этом свидетельствуют следующие строки из приказа: «Народами завладел социализм, лживо проповедующий мир, злейший и вечный враг мира на земле, т. к. смысл социализма – борьба. Нужен мир – высший дар Неба. Ждет от нас подвига в борьбе за мир и Тот, о Ком говорит Св. Пророк Даниил (гл. XI), предсказавший жестокое время гибели носителей разврата и нечестия и пришествие дней мира: “И восстанет в то время Михаил, Князь Великий, стоящий за сынов народа Твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из народа Твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1330 дней”» [Барон Унгерн, 2004, с. 172–173].

В ходе ряда сражений войска Унгерна были разбиты. В результате заговора своих офицеров он был выдан большевикам, осужден и расстрелян в Новониколаевске (Новосибирск).

Готический герой и канон памяти

Современная модель исторической памяти о бароне Унгерне берет свое начало из эмигрантских текстов, опубликованных в Харбине в 1920–1930-е годы. Различного рода воспоминания, сопровождавшиеся откровенными мистификациями, издавались как бывшими офицерами Азиатской конной дивизии, так и литераторами. В плане формирования канона, который некритично был заимствован историками 1990-х годов, ключевое значение имеет книга А.Ф. Оссендовского 1922 г. [Барон Унгерн, 2004, с. 559–580]. Ее принято относить к жанру беллетристики, однако начиная с 1990-х годов ни одно исследование, посвященное Унгерну или Азиатской конной дивизии, не обходится без ссылок на нее. Наряду с «Балладой о Даурском бароне» А. Несмелова (1928) книга А. Оссендовского сформировала особый жанр, который можно назвать «даурской готикой». Даурская готика – это романтическое течение в искусстве, для которого характерны готическая атмосфера и сюжеты о войне, связанной с «древними» мистериями Внутренней Азии. События обычно происходят в начале XX в., а ключевыми протагонистами выступают как реальные исторические личности (Роман фон Унгерн-Штернберг, Чжа-лама), так и вымышленные герои и йогины. Территориально события локализуются в Забайкалье (Даурии) и граничащей с ним Монголии.

Мистификатор А.Ф. Оссендовский, описывая быт Азиатской конной дивизии, писал: «Вот так жил этот лагерь мучеников-беженцев, теснимых событиями к неизбежной встрече со Смертью и подгоняемых ненавистью и презрением этого потомка тевтонцев и пиратов [Унгерн. – *Прим. А. М.*]. А он, ведущий их на заклание, не знал покоя ни днем, ни ночью. Подтачиваемый измучившими, отравленными мыслями, он испытывал титанические муки, зная, что каждый день в укорачивающейся цепи из ста тридцати звеньев подводит его все ближе к пропасти по имени Смерть» [там же, 2004, с. 559–580]. В данном абзаце нашли отражение распространенный беллетристами миф о предсказании того, что «Богу войны суждено сто тридцать шагов», а также предание о Великом Неизвестном. Это предание отчасти заимствованно из «тайной доктрины» Е.П. Блаватской. Дополняя сказанное, целесообразно привести мнение другого очевидца событий 1921 г. в Монголии – этнографа Д.П. Першина: «От барона веяло Средневековьем, и в

нем чувствовался атавизм, наследованный им от далеких предков рыцарей-крестоносцев: та же жажда, как и у них, боевой жизни, и, пожалуй, та же вера в сверхъестественное, потустороннее... Он был суверен, ему всегда сопутствовали, даже в походе, ламы-ворожеи, гадалщики. И на этой слабой струнке играли многие, в том числе называли некоего Оссендовского, написавшего книгу, “небылицу в лицах” или “Люди, боги, звери”» [Першин, 1999, с. 109].

В центре внимания произведений данного стиля «мрачная» природа Даурии, на фоне которой разворачиваются наполненные мистицизмом кровавые события Гражданской войны. Эталонное произведение, из которого можно заимствовать наиболее релевантные примеры, – «Баллада о Даурском бароне» А. Несмелова:

И шорохам ночи бессонной внимая,
Он призраку гибели выплюнул:
Прочь!
И каркала вороном –
Глухонемая,
Упавшая сзади,
Даурская ночь.

Большая часть произведений об Унгерне первых двух послереволюционных десятилетий написана профессиональными пропагандистами. А.Ф. Оссендовский до революции работал в газете Б.А. Суворина «Новое время», после революции 1917 г. был одним из авторов «документов Сиссона», обличавших большевиков в связях с германской разведкой. А.И. Несмелов (Митропольский) – офицер, участник Великого сибирского ледяного похода. С 1941 г. он стал сотрудником четвертого отдела Японской военной миссии, работал на курсах пропагандистов, читал предмет «литературно-художественная агитация». Опираясь на литературные приемы, характерные для эпохи романтизма, именно эти авторы положили начало мифу о «Боге войны». А.И. Несмелов сделал попытку натурализовать миф об Унгерне, заявляя о его популярности среди монголов.

Я слышал:
В монгольских унылых улусах,
Ребенка качая при дымном огне,
Раскосая женщина в кольцах и бусах
Поет о бароне на черном коне...

И будто бы в дни,
Когда в яростной злобе
Шевелится буря в горячем песке, –
Огромный,
Он мчит над пустынею Гоби,
И ворон сидит у него на плече.

В дальнейшем свое развитие культ Унгерна получил в Третьем рейхе, пропагандистская машина которого сформировала его образ как первого вождя нового типа, первого фашиста. В содержательном плане наиболее полно характеризует фашистский культ Унгерна текст Ю. Эволы «Унгерн-Штернберг, кровавый барон».

Говоря о готическом нарративе, повествующем об Унгерне как о типичном герое этого жанра, нужно сказать, что барон немало сделал для его возникновения через общение с журналистами и немногочисленную личную переписку. Формирование личного мифа было для него важной частью политической деятельности. Заявляя об амбициях создать Азиатскую империю, Унгерн говорил о себе как о потомке Аттилы. Все это впоследствии нашло отражение как в книгах современников, так в гиперболической форме у авторов XXI в. Однако нужно отметить, что не вся эмигрантская литература рассматривала Унгерна как эпического героя, существует большое количество книг, авторы которых критически оценивают его личность и политические проекты.

Что же касается советской исторической науки, то на протяжении почти 70 лет она руководствовалась оценками, заложенными еще Е.М. Ярославским в брошюре 1922 г. [Барон Унгерн, 2004, с. 555–557]. Устойчивые шаблоны «японского шпиона» и «сумасшедшего реакционера» воспроизводились достаточно стабильно [Михалев, 2006]. Книга Б.Д. Цибикова «Разгром унгерновщины» 1947 г. была одним из первых советских трудов, посвященных этому эпизоду Гражданской войны [Цибилов, 1947]. В целом же ему уделялось достаточно мало внимания (исключение см.: [Кислов, 1964]), в результате чего интерес к данной теме превышал

имевшийся достаточно отрывочный материал, представлявший собой разделы в комплексных работах по новейшей истории Монгольской Народной Республики.

Как создавался миф?

С конца 1980-х годов интерес к Унгерну среди самых различных представителей общественно-политической сферы стал стремительно возрастать. В 1993 г. вышла в свет первая системная работа Л. Юзефовича «Самодержец пустыни» [Юзефович, 1993], к 2018 г. она выдержала несколько переизданий и редакций, в том числе в серии «ЖЗЛ». Жанр книги был определен как «документальный роман» – это позволило сделать его востребованным как в политической, так и в академической среде. Это одна из первых книг об Унгерне постсоветского периода, воспроизводящая жанр «даурской готики» 1920-х годов. Главы книги «Тень Чингисхана», «Пир трупоедов», «Пропавшая дивизия», «Град Обреченный» [там же], а также некритичное принятие целого ряда легенд – все это дает основания для отнесения книги к указанному жанру. Книга Л. Юзефовича, не имея четкого политического подтекста, положила начало пересмотру исторических оценок личности барона Унгерна и в то же время объективной оценке совершенных военных преступлений.

В 2003 г. вышли две книги отечественных историков, посвященные Унгерну. Одна из них – монография известного российского ученого-востоковеда Е.А. Белова «Барон Унгерн: Биография, идеология и военные походы. 1920–1921 гг.» [Белов, 2003]. Автор этой книги попытался сделать научный анализ событий 1920-х годов в Забайкалье и Монголии и определить роль барона Унгерна в них. Книга вызвала большой общественный резонанс, получила высокую оценку на правом интернет-ресурсе «Правые мысли». Другая значимая книга – работа И.И. Ломакиной «Грозные Махакалы Востока», посвященная Чжа-ламе и Унгерну [Ломакина, 2003]. Книга содержит подробные сведения как о событиях Гражданской войны, так и о роли в них буддийской мистики. На наш взгляд, по обилию описаний религиозных ритуалов и насилия книгу также можно отнести к документальному роману в жанре готики.

В условиях распада СССР Унгерн рассматривался правыми идеологами как харизматичный вождь и собиратель Евразийской империи. Широкое распространение евразийской идеологии послужило основой для переоценки личности Унгерна. Его достаточно бессистемные радикальные высказывания, наиболее близкие к теории И.С. Левитова, стали интерпретироваться через призму евразийства. Так, великий князь Владимир Кириллович Романов, развивая данные идеи, писал в 1990-е годы: «Течение это незаслуженно предано забвению, между тем как многое в идеях Вернадского и князя Трубецкого, Зелинского и Савицкого, Карсавина, Иванова, барона Унгерна удивительно актуально именно сегодня. Я имею в виду прежде всего идеи о том, что исторические судьбы России неотделимы от судеб Азии, Евразийского Севера, Турана и, следовательно, тюркских народов. Российская империя могла бы стать, но не стала евразийской...» [Нартов, 2007, с. 138–139]. В текстах А.Г. Дугина барон-кшатрий Унгерн – это предвестник «Десятого Аватара, Мстителя-Триумфатора-Грозного Судии», избранный и жертвенный герой, «хан по предопределению» [Дугин, 1999]. В работе «Священные монстры» лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов пишет: «В Берлине были обнаружены, после битвы за Берлин и взятия его советскими войсками, около тысячи трупов людей тибетской расы, одетых в немецкую военную форму, известно, что “Аненэрбе” – общество, специальная служба, занимавшаяся изучением германской истории, организовало многочисленные экспедиции в Тибет. Если вспомнить, что последнее направление прорыва разгромленной “Дикой дивизии” был Тибет, туда хотел вести через пустыню Гоби своих людей Унгерн, то понятно, что без влияния Унгерна на “Аненэрбе” не обошлось» [Лимонов, 2004].

В 2004 г. под редакцией С.Л. Кузьмина выходит большой сборник документов «Барон Унгерн в документах и мемуарах» [Барон Унгерн, 2004]. Книга представляет собой 661 страницу исторических источников о деятельности одного человека – на сегодня это наиболее полное собрание материалов об Унгерне. В 2011 г. С.Л. Кузьмин подготовил фундаментальную работу «История барона Унгерна: Опыт исторической реконструкции» [Кузьмин, 2011]. Для примера, первый том «Истории Гражданской войны в СССР» (1938 г. издания) составлял 303 страницы, в то время как две книги С.Л. Кузьмина в общей сложности составляют

1300 страниц (по совокупному объему это равно первым трем томам «Истории Гражданской войны в СССР»).

В дальнейшем интерес к Унгерну продолжил расти: в России были опубликованы работы белых эмигрантов, а также западная публицистика 1920-х годов. Культ Унгерна как харизматического вождя, созданный в фашистской Германии, получил рецепцию в постсоветской России. На смену шаблонным оценкам советского периода пришли клише, заимствованные в Третьем рейхе. В большей степени они нашли отражение в музыке стиля RAC, в изобразительном искусстве, а также многочисленных романах об Унгерне. При этом необходимо разграничить неонацистский и евразийский культы Унгерна, последний наиболее массовый. Характеризуя место «черного барона» в музыке стиля RAC, целесообразно привести цитату из «постапокалиптической песни» группы ГУЛАГ: «Гитлер такой же, как Унгерн, Унгерн такой же, как вождь». Отдельно необходимо отметить неполитизированную музыку. Например, в тексте песни, исполняемой О. Кочубей, также воспроизводится набор мифов, созданных еще А.Ф. Оссендовским и А.И. Несмеловым:

У барона камень в груди
Сердцем стучит, болью болит.
Над бароном ворон летит –
Что впереди мрачно глядит.
А в степи валяются псы,
Взгляды пусты, ноги босы.
Бог Войны не видит их лиц,
Мертвых глазниц,
Рухнувших ниц.
Заметает Ветер Побед
Призрачный след
В грозный Тибет.

Что же касается художественной литературы об Унгерне, основная ее масса, начиная с 1990-х годов, выполнена в жанре готического романа. По последним данным, подобных книг насчитывается более двух десятков. В романтическом контексте в отношении к Унгерну употребляются эпитеты «Белый рыцарь Тибета», «Черный барон», «Бессмертный бог войны», «Даурский

крестоносец», «Унгерн-хан». Большое количество подобных книг удовлетворяет самые разнообразные запросы читателей как ориентирующихся на евразийские ценности, так и на откровенно нацистские и империалистические.

К началу XXI в. обилие различного рода и качества текстов об Унгерне привело к возникновению исторического культа, прежде всего в крайне правых кругах. Фактически на дискурсивном уровне создан отечественный эталонный универсальный правый лидер. Именно в силу отсутствия у реального прототипа какой-либо четко оформленной идеологии на современном этапе он интерпретируется как универсальный «герой империи».

Ритуализация памяти

Ритуальные практики, связанные с фигурой Унгерна как универсального харизматического вождя имперского толка, объединяют вокруг себя самый широкий спектр правых и близких к ним политических групп как в России, так и за рубежом. Почти сто лет усилий различного рода интеллектуалов сформировали не только канон [Асман, 2004, с. 123] политической памяти, но и острую потребность в ритуалах, необходимых для поддержания идентичности. Евразийцы, монархисты и фашисты – таков спектр политических сил, заинтересованных в проведении мемориальных ритуалов. Ритуальные инсценировки создают систему переживаний, определяющих преемственность и соотнесение той или иной группы с событиями прошлого. Так, в 2014 г. в день города в столице Монголии на центральной площади имени Сухэ-Батора была поставлена инсценировка торжественного вхождения Унгерна в город. Стилизованное представление с фланкировкой казачьими шашками и флагом с монограммой Михаила II символизировало освобождение Монголии от китайских милитаристов.

Ритуализация памяти об Унгерне в России началась в 2010-е годы – к этому моменту накопилось достаточное количество романов, стихов, песен и фильмов. Культ героя тесно связан с ритуалами, особенно если речь идет о героях войны. Представители российских консервативных организаций в это время обсуждали перспективу открытия памятника барону в Улан-Баторе, инициированную местными ультраправыми. В 2016 г. монгольские нео-

нацисты из группировки «Цагаан хасс» («Белая свастика») получили отказ на открытие этого мемориала. В итоге многонациональное сообщество правых и идеологически близких к ним объединений не получило места для отправления ритуалов.

В то же время в 2011 г. в Новосибирске представители Евразийского союза молодежи (ЕСМ) почтили память белого генерала в день его расстрела. Мероприятие проходило на месте бывшей тюрьмы (к 2011 г. она была снесена), где, по легенде, был расстрелян и похоронен Роман фон Унгерн-Штернберг. Тогда же на этом месте была установлена памятная табличка. В 2012 г. представители ЕСМ повторили мемориальную акцию на этом же месте и положили цветы. На стене рядом с «местом расстрела» была сделана граффити-надпись: «Здесь был расстрелян барон Унгерн». 29 декабря 2012 г. в Москве возле памятника Льву Толстому перед зданием Академии ВС РФ состоялся митинг ЕСМ памяти барона Унгерна. Участники митинга скандировали лозунги «Унгерн против Урганта!», «Такого как Унгерн!», «Власть – воинам, мысль – философам, виселицы – предателям!». В 2013 г. «акция памяти» повторилась, одним из ее условий было наличие атрибутики белого цвета (по версии организаторов – цвета траура в Азии). Особенностью мероприятия 2013 г. было отношение к Унгерну не просто как к полководцу, а как к «Белому Богу Войны».

Хотя большинство авторов, создавших миф об Унгерне, пишут, что после его смерти Богда-гэгэн VIII повелел во всех буддистских храмах Монголии провести службы, сегодня не зафиксировано ни одного буддистского обряда памяти Унгерна. Во многом это связано с тем, что современная буддистская церковь (школы гелугпа) отрицает возможность принятия военных преступлений барона как совершенных во благо дхармы.

15 сентября 2011 г. память Унгерна почтили члены Имперского казачьего союза (объединения казаков-монархистов). Они провели полевой выход с элементами выживания в походных условиях. Мероприятие началось с богослужения чтением поминальной молитвы о всех белых воинах. Акция проходила на территории Восточной Украины (район Харькова).

В 2015 г. в Монголии на территории сомона Баянхангай – недалеко от места боев Азиатской конной дивизии с частями китайской армии – был открыт музей барона Унгерна. На территории сомона найдены многочисленные артефакты, свидетельствующие

об ожесточенных боях в этих местах. На открытии музея присутствовали директор и сотрудники Института археологии и истории Академии наук Монголии. В раскопках в сомоне Баянхангай участвовали и российские волонтеры.

По мнению А. Ассман, «Ритуальное выражение скорби и утраты укрепляет чувство преемственности и общности» [Ассман, 2014, с. 117]. Таким образом, мы сталкиваемся с претензиями на преемственность с «делом Унгерна» множества политических групп, каждая из которых исповедует свой культ барона. Унгерн-монархист, Унгерн-евразиец, Унгерн – предвестник фашизма – все эти ипостаси смоделированы с опорой на его многочисленные, зачастую противоречивые высказывания, сделанные в самых различных и стремительно менявшихся политических условиях. Показательна в данной ситуации ритуальная трактовка свастики, использовавшейся в атрибутике Азиатской конной дивизии. В зависимости от политической ориентации свастика трактуется либо как «древний азиатский солярный символ», либо как наглядное подтверждение протофашистских взглядов барона.

Немаловажно для данного исследования, что на территории Даурии (современные Забайкальский край и Бурятия) культ Унгерна так и не сложился. Представители бурятского буддистского духовенства неоднозначно оценивают и факт признания Унгерна одним из докшитов (защитников веры). По нашей версии, причиной этому является другой набор значимых событий Гражданской войны, связанных с возникновением государственности у бурят. Для данного региона более компромиссная фигура – атаман Семенов, особенно в плане конфликта воспоминаний. Однако в 2009 г. в процессе онлайн-голосования в проекте «Великие люди Забайкалья» на финальном этапе кандидатуры Г.М. Семенова и Р.Ф. фон Унгерн-Штернберга были сняты в связи с искусственным увеличением голосов. Проект «Великие люди Забайкалья» был организован на сайте <http://www.persona.zabmedia.ru> при поддержке «Забайкальской медиагруппы», администрации Забайкальского края и государственной телерадиокомпании «Чита».

Заключение

Образ Унгерна как готического героя для правой идеологии начал формироваться в 1920–1930-е годы в Маньчжурии, где впоследствии появилась и одна из первых русских фашистских организаций. Этот образ также был востребован и в Третьем рейхе. Все это оказало влияние на постсоветскую историографию Гражданской войны в Забайкалье. После распада СССР миф об Унгерне наполнился новыми сюжетными линиями, дополнявшими и расширявшими мистификации начала XX в. Это произошло как благодаря многочисленной художественной литературе, так и песенному творчеству. В итоге «легендарный барон» стал идеологически значимой фигурой и для евразийцев, и для фашистов. Притягивая внимание с различных полюсов политического спектра, образ Унгерна из единого целого разделился на множество вариаций, адаптированных к отдельным идеологическим запросам. Соответственно, возникли прежде всего художественные образы «Унгерна-монархиста», «Унгерна-евразийца» и «Унгерна-фашиста». Политическое воображение существенно дополнило каждый из них «вновь открытыми» фактами, корректирующими память о герое в необходимом контексте.

В XXI в. начался процесс ритуализации памяти об Унгерне. При этом речь идет о событиях, изобретенных в 1990-е годы и основанных на заново приписанных значениях и смыслах. Коммеморация как политический акт в данном случае не связана с государством, именно поэтому она носит относительно бессистемный характер. По сей день продолжается изобретение традиции почитания «Белого Бога Войны». Мемориальные презентации носят достаточно маргинальный характер и не имеют поддержки у региональных властей. Однако именно эта специфика способствует межрегиональной консолидации приверженцев культа Унгерна как культа универсального героя.

Для монархистов Унгерн встроен в пантеон белых генералов, его культ сопровождается православными богослужениями и установлением поклонных крестов. Для евразийцев большое значение имеет идея Азиатской империи, а для почитания Унгерна характерны политические акции: митинги и мемориальные караулы. Для большей части фашистов Унгерн – это прообраз вождя, культ которого копируется с аналогов Третьего рейха. Портреты,

скульптуры, музыка РАС в большей степени отвечают запросам националистов и неонацистов. При таком разнообразии возникает закономерный вопрос: откуда такое внимание именно к Унгерну?

Культ героя, находящегося в условиях распада империи и принимающего решение бороться с хаосом, оказался востребован именно в постсоветский период. Поиск мнения историков по актуальным вопросам привел к тому, что возникло стремление соответствовать ожиданиям общества [Миллер, 2009, с. 7]. «Изобретение Унгерна», на наш взгляд, – это процесс, в ходе которого можно проследить переформатирование советского нарратива о Гражданской войне и конструирование новых героев. Современный образ Унгерна – это результат умолчаний советской историографии. В результате этого возник иррациональный, полный мистицизма образ героя контрреволюции.

Здесь же нужно сказать, что подъем национализма в 1990-е годы в постсоциалистической Монголии и его антикитайский вектор актуализировали и в этой стране память о «черном бароне». Это оказало непосредственное влияние на его культ в России, обеспечивая ему международное признание. Таким образом, культ Унгерна интересен тем, что он свободно конвертируется за рубежом, что сравнимо лишь с авторитетом классиков российского марксизма. При этом на территории исторической Даурии популярность Унгерна как героя коллективной памяти сравнительно невелика.

Список литературы

- Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.
- Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.
- Барон Унгерн в документах и материалах / Под. ред. С.Л. Кузьмина. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. – 675 с.
- Белов Е.А. Барон Унгерн фон Штернберг: Биография. Идеология. Военные походы. 1920–1921 гг. – М.: Аграф, 2003. – 240 с.
- Дугин А.Г. Абсолютная Родина. Пути Абсолюта. Метафизика благой вести. – М.: Арктогея, 1999. – 345 с.
- Кислов А.Н. Разгром Унгерна. – М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1964. – 100 с.

- Кузьмин С.Л. История барона Унгерна. Опыт реконструкции. – М.: Изд. научных изданий КМК, 2011. – 659 с.
- Левитов И.С. Желтороссия как буферная колония. – Санкт-Петербург: Типография инж. Г.А. Бернштейна, 1905. – 136 с.
- Лимонов Э.В. Священные Монстры. – М.: Ad Marginem, 2004. – 320 с.
- Ломакина И.И. Грозные Махакалы Востока. – М.: Изд-во Яуза: Изд-во Эксмо, 2003. – 384 с.
- Малинова О.Ю. Коммеморация исторических событий как инструмент символической политики: Возможности сравнительного анализа // Политика. – 2017. – Т. 87, № 4. – С. 6–22.
- Миллер А.И. Россия: Власть и история // Pro et contra. – 2009. – Т. 46, № 3/4. – С. 6–23.
- Михалев А.В. Монгольская революция 1921 года в советской и российской историографии. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2006. – 130 с.
- Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА: Единство, 2007. – 544 с.
- Першин Д.П. Барон Унгерн, Урга и Алтан-Булак. – Самара: Агни, 1999. – 280 с.
- Пешков И.О. Граница на замке постсоветской памяти. Мифологизация фронтальных сообществ на примере русских Трехречья // Миграции и диаспоры в социокультурном, политическом и экономическом пространстве Сибири. Рубежи XIX–XX и XX–XXI веков. – Иркутск: Оттиск, 2010. – С. 601–616.
- Сандерлэнд У. Барон Унгерн, «отравленный космополит» // Ab imperio. – Казань, 2005. – № 3. – С. 285–298.
- Хамфри К. Постсоветские трансформации в азиатской части России. – М.: Наталис, 2010. – 384 с.
- Хаттон П. История как искусство памяти. – СПб.: Издательство «Владимир Даль», 2004. – 423 с.
- Цибиков Б.Д. Разгром унгерновщины. – Улан-Удэ: Бурмонгиз, 1947. – 160 с.
- Шенк Б.Ф. Александр Невский в русской культурной памяти: Святой, правитель, национальный герой (1263–2000). – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 619 с.
- Юзефович Л. Самодержец пустыни. Феномен судьбы барона Унгерна. – М.: ЭллисЛак, 1993. – 272 с.
- Kaplonski C. Truth, history and politics in Mongolia. Memory of Heroes. – L.; N.Y.: Routledge Curzon, 2004. – 248 p.
- Sunderland W. The Baron's cloak: A history of the Russian empire in war and revolution. – Ithaca; L.: Cornell univ. press, 2014. – 344 p.

И.О. ПЕШКОВ*

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРАГА: МИФОЛОГЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Аннотация. Центроориентированность и замкнутость советского пространства превращала приграничные районы в полупустые места абсолютной готовности к конфронтации. В советской картине мира граница воспринималась как источник опасности и пространство столкновения с враждебным миром. Соседство с политическими оппонентами легитимизировало милитаризацию приграничных регионов и продлевало до бесконечности атмосферу Гражданской войны на этом участке территории. Противоречие между политической стерильностью населения и эмоциональной включенностью в защиту рубежей решалось при помощи воспроизведения конфронтационных мифологем, перформативная сила которых состояла в способности смешивать темпоральные режимы и ставить под сомнение фронтирную лояльность местного населения. Статья анализирует позднесоветские дискурсивные практики, описывающие существование вневременных антикоммунистических казачьих сообществ в Монгольской Народной Республике, Китайской Народной Республике и Забайкалье, и их влияние на современные процессы примирения в Восточной Сибири. Отталкиваясь от идей Д. Скотта и Д. Агамбена о перформативной силе государственного описания в категориях исключения, автор пытается уйти от прямолинейной мартирологии раннего социализма, показывая символические аспекты исключения и специфику политической демонологии послесталинского СССР. Теоретической основой статьи стали подходы Д. Скотта к ключевой роли государственного описания в производстве приграничного политического бандитизма и описанная Ги Дебором

*** Пешков Иван Олегович**, PhD, преподаватель, Университет им. Адама Мицкевича (Познань, Польша), e-mail: ipeshkov@amu.edu.pl

Peshkov Ivan, PhD, assistant professor, Adam Mickiewicz University (Poznan, Poland), e-mail: ipeshkov@amu.edu.pl

© Пешков И.О.

DOI: 10.31249/poln/2018.03.08

потенциальная возможность захвата поля официальной идеологии и адаптации ее для собственных нужд.

Ключевые слова: Россия; забайкальские казаки; Гражданская война; память.

Для цитирования: Пешков И.О. В поисках утраченного врага: Мифологемы Гражданской войны как фактор региональной идентичности Забайкалья // Политическая наука. – М., 2018. – № 3. – С. 179–202. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.08

I.O. Peshkov

**In search of the lost enemy: Mythology of the civil war
as a factor of the regional identity in Transbaikalia**

Abstract. The center orientation and closed character of the Soviet space turned borderline areas into half-empty places remaining in absolute readiness for confrontation. According to the Soviet outlook on the world borders were viewed as a source of danger and an area of confrontation with the enemies. The paper analyses late Soviet discursive practices concerning the danger of fictional Cossack communities in Mongolia, China, and Transbaikalia with their old-fashioned life style and strong anti-Soviet attitudes and their influence for modern process of reconciliation (after Civil War) in Eastern Siberia. Originating from J. Scott's and G. Agamben's ideas concerning the performative power of state description using categories of exclusion the author will attempt to avoid straightforward early-socialist martyrization to show symbolic aspects of exclusion and the specificity of political demonology of the post-Stalinist USSR. J. Scott's attitude towards the key role of state description in the development of borderline political banditry and the possibility to usurp the field of official ideology and adapt it for a group's own needs described by G.-E. Debord will constitute the theoretical basis for the paper.

Keywords: Russia; Transbaikalian Cossacks; Civil War; memory.

For citation: Peshkov I.O. In search of the lost enemy: Mythology of the civil war as a factor of the regional identity in Transbaikalia // Political science (RU). – М., 2018. – N 3. – P. 179–202. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.08

Заседание клуба краеведов в зале Государственного архива Забайкальского края 24 октября 2012 г. не предвещало беды. Были заслушаны два доклада о сельскохозяйственной выставке 1862 г. и о столетии российской авиации, но заключительная часть этой встречи не только спровоцировала новый виток споров о Гражданской войне в регионе, но и на время превратило Читу в центр споров о Гражданской войне в России. Когда краевед Г.Л. Шукин проинформировал о негативной позиции краевого совета ветеранов по отношению к инициативе Посольской Австралийской станции Забайкальского казачьего войска увековечить память атама-

на Г.М. Семенова, слово взял историк В.И. Василевский и предложил противоположную точку зрения, призывая пересмотреть стереотипы по отношению к белой государственности в Забайкалье (особенно заостряя внимание на источниковой базе, советской мифологии и юридической основе насилия как красных, так и белых) [Полуполтинных, 2012].

Именно это выступление вызвало бурю. В спор вмешались представители КПРФ, журналисты и казаки. Противоположная сторона любые попытки пересмотра отношения к Семенову воспринимала как агрессию и «попытку внести раздор в общество» и проигнорировала необычный для российского казачества призыв атамана к взвешенному подходу и к свободной дискуссии о прошлом региона. В отличие от Иркутска (с его коммерциализацией памяти об А. Колчаке) и Республики Бурятия (рассматривающей события Гражданской войны в перспективе национальной драмы¹), Чита пережила настоящий бум памяти о Гражданской войне: памяти живой, конфликтной и часто провоцирующей прямые обвинения в политическом или гражданском несоответствии. Для читателя, не связанного с регионом, в этой истории непонятно многое: уровень страстей по событиям почти столетней давности, странная роль эмиграции из Австралии в отдаленном регионе и главное – достаточно глубокий характер дискуссий, затрагивающих легитимность террора, оценку его масштаба и право региона на своих героев.

Чтобы разобраться в причинах, почему имя атамана Семенова возбуждает столько эмоций, нужно внимательно проследить эволюцию официальной и неофициальной памяти о Гражданской войне в приграничном регионе. В советской картине мира граница воспринималась как источник опасности и пространство столкновения с враждебным миром. Противоречие между политической стерильностью населения и эмоциональной включенностью в защиту рубежей решалось при помощи воспроизведения конфронтационных мифологем, перформативная сила которых состояла в способности смешивать темпоральные режимы и ставить под сомнение фронтирную лояльность местного населения. Местное население воспринималось в полукOLONиальной перспективе, как

¹ Что часто позволяет избежать перспективы конфронтации благодаря перспективе «трагической судьбы бурят» в начале XX в.

наименее заметная и сомнительная часть локального сообщества. Рассказывая о травматическом опыте экспансии советских моделей жизни, эти легенды одновременно были способом переживания культурных иерархий, страхов и полусознанной внутренней потребности в материальном существовании врага. Их приграничная локализация включала их в перспективы советской границы как пространство контакта с неведомым и враждебным. Поэтому в отличие от *классических* врагов советского человека, фронтирные *воображенные не-сообщества* [Zahra, 2010] были сообществами полуреальных существ, сотканными из противоречий советской картины мира. Грамматика и аксиология фронтирной мифологии сыграли большую роль в постсоветский период, определяя дискурсивные и эмоциональные аспекты попыток возвращения в идеальное прошлое. Более того – триумфальное возвращение «проклятых солдат»¹ антикоммунистического сопротивления в центр общественных дискуссий Польши, Украины и Литвы с новой силой поставило вопросы о легитимности антикоммунистического насилия, моральных и правовых противоречий новых агиографий и реакций массового сознания, сформированного другими словарями и историческими перспективами. При всей многослойности полемик и явном влиянии политической конъюнктуры, появление новых героев было прежде всего попыткой нового словаря, новой аксиологии политического действия и новых критериев оценки прошлого. В постсоветских странах триумфальное возвращение забытых героев рассматривается в постколониальной перспективе конфликта национального с внешним, что создает условия не только для риторики морального превосходства их последователей, но и морального шантажа оппонентов как предателей нации. В России (как и в Испании) граница между национальным и поли-

¹ Польский термин «проклятые солдаты» (*żołnierze wyklęci*) обозначает бойцов Армии Крайовой, продолжавших вооруженное сопротивление Красной армии и вооруженным силам ПНР в первые послевоенные годы. Отношение к этой группе коренным образом изменилось в последние годы, когда она с позиции неудобных героев (подчеркивались насильственные действия против мирного населения и национальных меньшинств) приобрела статус символа национально-го сопротивления и невероятную популярность у молодежи (их изображения и символы появляются на одежде и даже татуировках). Здесь символ бойцов АК, УПА и лесных братьев превращается в символ национального действия в Польше, Украине и Литве соответственно.

тическим более размыта, в связи с чем проявление общей тенденции возвращения запрещенных героев принимало маргинальные формы и встречало сопротивление общественного мнения. Похожие вопросы об аксиологии антикоммунистического насилия были заданы в совсем другой атмосфере асимметрического примирения после Гражданской войны, жестких культурных иерархий и негативного восприятия любых форм региональной автономии. Неудачные попытки символически вернуть семеновцев в Забайкалье показали не только эффективность советских мифологем, но и невозможность простой конверсии демонов в ангелов без глубокой рефлексии над практиками и дискурсами советской границы¹.

В статье рассматривается случай, когда историческая политика сталкивается не просто с эклектичными обломками прошлых мифологем и словарей. Можно предположить, что ситуация Забайкалья представляет более сложный пример – когда наследие приграничного режима в гораздо большей степени актуализирует события прошлого, чем постсоветские формы аффективного менеджмента [Oushakine, 2013]. Здесь мы имеем дело с массовыми переживаниями ретрогаллюцинаций, легитимизированными не просто как память, а как культурная реальность региона. В этой перспективе реальную память о событиях заменяет «память о памяти» в виде прошлых переживаний существования несоветской реальности, которая с трудом воспроизводится в постсоветской ситуации. Эта сложная конструкция региональных воображений об актуальности прошлого будет главным героем этой статьи. Модная в исследовании границ идея границы как события [Radu, 2010] принимает немного зловещую форму. Трагические события Гражданской войны здесь вытесняются событием приграничного режима, включающего постоянных и временных жителей региона в спираль мистерии присутствия «людей из прошлого». Не драматизируя всеисилие советской культурной политики и не преуменьшая косвенное участие советских институтов в этих поисках утраченного врага, следует заметить, что масштаб и глубина вовлеченности были во многом случайны, связаны прежде всего с применением легенды для решения локальных напряжений между местными и приезжими, со спецификой казачьей культуры, не склонной к жертвенности, а также с драматизмом границы как

¹ О границе как ритуале см.: [Peshkov, 2012].

места, где государство перестает картографировать реальность. При написании статьи использовались материалы полевых исследований, проведенных в 2013–2016 гг. во Внутренней Монголии, Монголии и Читинской области.

Насилие и примирение: Географическое измерение политической воли

Правовая оценка сторон Гражданской войны происходит в сложном культурном контексте, часто искажающем принятые государством юридические основы декоммунизации: непростое соотношение Российской Федерации с Российской империей и СССР, исчезновение государства, победившего в Гражданской войне, имперское прочтение советской истории, создающее новые противоречия и, главное, отсутствие ясных критериев примирения. Все это приводит к попыткам переписать события и предложить новые формы легитимации участников Гражданской войны. Революция видится как трагическая трансформация одной империи в другую, что приводит к неожиданному восприятию ленинской гвардии как разрушителей, а Сталина как восстановителя страны. Этот подход, решая проблему глорификации Белой гвардии при сохранении легитимности советских институтов, парадоксально усложняет оценку многих участников Гражданской войны. Идеологический конфликт становится предательством Родины, а политическая борьба с СССР после 1921 г. (особенно в период 1939–1945) – бесчеловечным преступлением. Несмотря на достаточно равнодушное отношение государства, этот контекст делает невозможным неполитическое высказывание по многим историческим темам, актуализируя события долгой Гражданской войны как элемент политической жизни современной России.

Почему атаман Семенов, подобно А. Колчаку, не превратился в героя мелодраматического фильма в стиле ретрофэнтези и в региональный туристический бренд? Почему память о нем продолжает быть живой, яркой и провоцирующей политические споры? Фигура атамана играет очень важную роль, несмотря на то что попытки общественной реабилитации и включения его имени в символическое пространство не увенчались успехом, а принесенный в Россию дискурс казачьей эмиграции не смог смягчить нега-

тивных оценок его действий. Вытесненная фигура атамана постоянно появляется в самых неожиданных местах: на почтовой марке, в конкурсе «Великие люди Забайкалья» (в 2009 г.), на сайте приаргунского погранотряда (фотография атамана размещена по соседству с текстами о героической борьбе советских пограничников с диверсантами из Маньчжурии) [Пешков, 2010].

Следует заметить, что существует как минимум несколько независимых традиций демонизации Семенова, слабо или вообще не связанных между собой. Попытка удержания политической автономии, коллаборация с японцами, слом имперской географии для панмонголистского проекта и «неудержимая казачья вольница» с точки зрения советских и постсоветских историков определяли и определяют однозначно негативную оценку атамана и его людей. Если в советской историографии доминировали кровавые подробности репрессий против коммунистов, то в постсоветский период главным обвинением является несубординация правительству Колчака, «панмонголистская авантюра» и *продажа Родины* японцам [Савченко, 2007].

Мы имеем дело с примером создания исключительного случая в историографии: сначала Семенову приписываются черты типичного атамана, потом как доказательство этого тезиса приводятся примеры обыденного опыта всех сторон Гражданской войны: политическое насилие, грабежи, арбитражные решения и несубординация. Можно предположить, что причины негативной оценки белой государственности в Забайкалье касаются прежде всего неразрешимого конфликта между разными перспективами локальности в регионе. Сама идея власти, не только не связанной с центром, но и ставящей его под сомнение, кажется безответственным авантюризмом, криминальный характер которого лишь подчеркивает невозможность его долговременного существования. Именно в этом контексте реальные и нереальные преступления атамана становятся исключением, они нелегитимны даже не в правовой, но в цивилизационной оценке. Описанные как преступники и авантюристы, Семенов и его последователи в этой перспективе чужды современному Забайкалью.

Развивающаяся благодаря Интернету индустрия воспоминаний о советском периоде также приводит к воспроизводству советских мифологем о «семеновцах» в позднем СССР и МНР. Можно говорить о негативном консенсусе, в типично советском

стиле фиксирующем внимание на фигуре атамана, несмотря на оценки его деятельности. Это создает конгломерат ретроспективных дискурсов, где рассказы о реальном опыте (сторонников и противников Семенова) смешиваются с официальными и неофициальными мифами. Многослойность взаимоисключающих историй создает эффект общественного присутствия и важности исторического явления. Голос части австралийской диаспоры в поддержку реабилитации не только усилил этот эффект, но и создал иллюзию международного измерения споров об истории региона.

Образ Семенова заметно отличается как от советского образа патологического политического бандита, так и от альтернативных версий справедливого и строгого атамана. Рожденный в селе Куранжа станицы Дурулгуевская, Григорий Семенов был типичным представителем русско-китайского фронта. Потомственный казак русско-бурятского происхождения, знающий монгольский язык и хорошо ориентирующийся в монгольских делах, Семенов с самого начала согласовывает свои планы со сложной архитектурой российско-китайской границы: эмансипации Халха-Монголии, внутримонгольским конфликтом в Барге и набирающим силу бурятским национальным движением [Семенов, 2007]. До последних дней жизни Семенов пытается разыгрывать панмонголистскую карту: пишет письма далай-ламе и поддерживает все допустимые в Маньчжоу-Го формы интеграции монголов. Даже главный рецепт своей политической карьеры он перенимает у монгольского героя Бабуджапа¹: опираясь на поддержку Японии, максимально использовать китайско-монгольские и русско-бурятские противоречия [Базаров, 2003]. Практически с самого начала мы видим двух Семеновых: один выступает на восточном политическом театре, пытаясь построить панмонголистическое государство, второй на сцене российской Гражданской войны пытается соединить безграничную атаманскую власть с парламентской системой [Василевский, 2007]. В этой перспективе судьба Семенова становится неотделима от попыток максимально использовать возможности границы.

¹ Бабуджап (1875–1917) – один из символов борьбы за объединение монгольских земель. После его гибели значительная часть его отряда перешла под командование Г.М. Семенова [Наками, 2011].

Политическую активность Семенова можно представить как попытку сопротивления трансформации российско-китайского фронта в стерильные приграничные территории советского государства¹. Судьба казаков Восточного Забайкалья напрямую связана с приграничным статусом территории. Роль режима управления границей является здесь ключевой: с одной стороны, сообщество создается вместе с границей и для ее защиты, с другой – смена приграничного режима после победы большевиков стала основным фактором уничтожения казачьего Забайкалья [Пешков, 2010]. Следует заметить, что определенные сомнения в их способности выполнять роль защитников границы появляются задолго до революции, причем со стороны как правительства, так и революционно настроенной интеллигенции. С этим были связаны и культурные факторы, и новые подходы к модернизации приграничного контроля, отсылающие к европейским биополитическим практикам того времени [Holquist, 2001].

Кроме этого, сомнения касались способности казаков азиатской России быть проводниками цивилизационной миссии, их расовой чистоты и опасной дружбы с казахами, монголами и китайцами. В эпоху позднего имперского национализма [Миллер, 2010] смешанная культура казаков [Бураева, 2005] воспринималась не только как предательство цивилизационной миссии и расовая деградация, но и как опасность перерастания сословной обособленности в попытки сепаратизма. Эти представления возродятся с новой силой во время Гражданской войны, когда стереотип управляемых японцами азиатских орд Семенова и Унгерна будет популярен у красных и белых.

После победы Красной армии казачество как социально-культурная формация было фактически ликвидировано в Забайкалье. Казакам не было места в новой этнополитической структуре советского государства [Slezkine, 2006], они подвергались двойным репрессиям в рамках расказачивания и раскулачивания, эмигранты подвергали смертельной опасности свои семьи, оставшиеся в СССР. В результате массового террора и потери статуса значительная часть казаков уходит в Монголию и Китай. Забайкальские казаки начинают переселяться в Монголию с 1918 г., после начала

¹ В этом есть определенная ирония, так как репрезентация его преступлений после его смерти станет важным инструментом этого процесса.

антиказацких репрессий. Для активной и политизированной части забайкальских казаков Монголия становится транзитной страной на юго-запад или на восток. Одновременно основная часть казаков уходит в район Трехречья в Северном Китае [Аргудяева, 2006; Зенкова, 2007], который становится местом массовой, в основном организованной миграции казаков [Мамонов, 1994]. После разгрома Квантунской армии начинается постепенное перемещение трехреченских казаков в СССР, сначала в форме принудительного вывоза в советские лагеря [Аблажей, 2007], а после смерти Сталина – полупринудительной репатриации с ограничением поселения до Северного Казахстана и Урала. Только в 1994 г. 15 семей вернулось в Забайкалье в поселок Сенькина Падь рядом с Приаргунском [Peshkov, 2014]. Следует заметить, что существовало еще одно направление эмиграции. Опасаясь репрессий, значительная часть казаков эмигрировала в США, Японию, Канаду, Австралию и на Филиппины, создавая собственные поселения и занимаясь сельским хозяйством.

В этой перспективе судьба Семенова репрезентативна для эмиграционной части сообщества – балансируя между противоречиями российско-китайского фронта, он одновременно участвовал в процессе эмансипации монголов и сохранял сильную связь с русской культурой. Можно предположить, что именно укорененность атамана в местной политической культуре давала ему многолетнюю поддержку монгольского населения, но и делала его абсолютно некоммуникативным как для белых, так и для красных. Обеими сторонами гражданского противостояния Семенов представляется не просто как мятежный атаман, но как опасный сепаратист [Курас, 2011]. После поражения белой государственности в Забайкалье Семенов становится символом антикоммунистического сопротивления и посредником между эмиграционными казачьими станицами и Квантунской армией. Стерилизация приграничных районов Забайкалья и Монголии, смертная казнь Г.М. Семенова (1946) и массовые репрессии в Трехречье (1945–1947) стали не концом, а началом новой истории символического присутствия семеновцев в Советском Забайкалье, МНР и Китае. «Власть атамана» оказывается воплощением абсолютного зла и политического садизма, абсолютно не поддающегося рациональному объяснению. Как в научной, так и популярной литературе начинается инфляция количества жертв семеновского террора и

распространяются апокалиптические описания семеновских застенков [Романов, 2013, с. 226]. Правление Семенова становится главной официальной травмой Забайкалья, все региональные места памяти подчинены коммеморации жертв семеновского правления. Одна из моих читинских респонденток, родившаяся в середине 1930-х годов, сообщила, что, по ее воспоминаниям, «семеновский террор был страшнее и унизительнее сталинского»¹.

Гости из прошлого. Семантика фронтирной легенды

После смерти Сталина рассказы об атамане и его последователях принимают характер коллективной ретрогаллюцинации о присутствии в регионе трансграничной сети антикоммунистического сопротивления, угрожающей каждому советскому человеку. Советские специалисты в МНР, солдаты Забайкальского военного округа и советского контингента в МНР, мигранты в Забайкалье из других частей СССР и даже офицеры КГБ в Улан-Баторе настолько захвачены полуофициальной легендой присутствия семеновцев, что начинают распознавать семеновцев в маргинальных группах русских старожилов Внутренней Азии, слабо или вообще не связанных с казаками мятежного атамана [Михалев, 2016]. Так, семеновцами объявляются не только потомки забайкальских казаков в СССР и эмиграции, но и местнорусские Монголии и этнически смешанное православное население приграничных китайских территорий. Следует заметить, что это распознавание, являясь, несомненно, дискриминационной практикой, все-таки было формой символического исключения, практически не поддержанной репрессивным аппаратом советского государства.

Мифы о существовании в приграничной зоне культурно близкой, но политически далекой группы, живущей рядом с «нормальными советскими людьми», часто не имели реальных оснований и решали внутренние проблемы советского общества. В декорациях семеновской легенды общественное сознание позднего СССР концептуализировало альтернативные и менее престижные модели русской культуры вне СССР и соотношение этнической и политической солидарности. Будучи в чем-то своим (представляя

¹ Неструктурированное интервью, проведенное в октябре 2013 г.

потерянную субкультуру), мифический семеновец, выступая в роли полукриминального антикоммуниста, был абсолютно чужим. Вопросы метисации, антикоммунизма и существования островов нетронутой переменами русской жизни ставились в рамках этого дискурса в идеологическом контексте абсолютного зла [Пешков, 2010]. Реальные и вымышленные преступления семеновцев (во многом конструируемые на основе вневременной легитимности социалистических институтов) представлялись как легитимная причина «перегибов» и антиказацких фобий коммунистов. В этой перспективе мы имеем дело с проекциями застывших форм угрозы, создающих социальное и пространственное местоположение человека из прошлого, выход из которого по определению невозможен. Семеновский миф не просто объединял всех против общего врага, делая врага полуреальным существом, он создавал единство внутри региональных и институциональных конфликтов: советский специалист в Монголии и Китае, прибавит, вынужденный служить на периферии Забайкалья, зэк, оставшийся на поселении в регионе, его бывший охранник, умирающий от скуки отдаленной зоны, солдаты первого и последнего года службы объединялись по отношению к «людям из прошлого», так как неразрешимый конфликт с ними перерастал или нивелировал реальные противоречия и конфликты.

Советские солдаты и специалисты в МНР допускали существование в лояльном протекторатном государстве (МНР) семеновских станиц, с их неизменившимся со времен революции стилем жизни и агрессивным неприятием советского стиля жизни. После распада СССР эту часть коллективного «опыта» легитимируют инфраструктура памяти в Интернете и историческая публицистика. Опасность в этом контексте становится отличительным признаком не только воображенного сообщества, но и воображенной территории, скрывающей врага и неотделимой от него. Приграничные районы Забайкалья, Монголии и Хулунбуира (приграничная область Внутренней Монголии) были встроены в сложную иерархию опасных территорий, отдаленных от нормального советского человека в силу географического, культурного и политического экзотизирования. Только теряя контроль над воображаемой территорией, можно увидеть и почувствовать врага везде. Сибирские деревни, метисы и буряты, настороженность по отношению к солдатам – все это создавало предчувствие выхода на чужую тер-

риторию. Пространственные эффекты фикции дают возможность представить трансграничную зону как место вечного повторения. Кроме этого неизбежность встречи с врагом создает императив нового освоения территории: драму постоянного усилия превращения территории в безопасную зону.

В этой перспективе приграничные территории представляют систему пространство-временных промежутков (*interstice*), в которых люди из прошлого могут наслаждаться старыми моделями жизни. Валентин, бывший советский инженер в Монголии, вспоминал историю, случившуюся с его другом в середине 1980-х годов: «У нас заканчивался бензин, и мы решили заехать в ближайшую деревню, по дороге встретили русскую женщину, которая сказала ехать к монголам, так как “наши не любят советских”, и, скорее всего, нам не поздоровится. Мы навались на семеновскую деревню и, слава богу, нам удалось уехать». Очень похожий сюжет о случайном попадании в несоветскую деревню часто встречается в воспоминаниях бывших солдат Забайкальского военного округа. Один из респондентов Максим так запомнил эту встречу (вторая половина 1980-х): «Мы шли через деревню и попросили воды у стариков в казачьей форме. Один из них согласился и пошел домой. Вышел с винтовкой и сказал: “Проваливайте, красная сволочь! Поубиваю всех!”»

Главным производителем солдатской мифологии были учебные части Забайкалья, где драматизм фронтирной легенды усиливался драматизмом солдатского фольклора. Мои респонденты называли Семенова вездесущим, показывая постоянное и всеохватывающее присутствие легенды в солдатской жизни. Солдаты распознавали семеновцев даже в русских и бурятских детях из соседних деревень. Советские офицеры использовали легенды более инструментально: фронтирная опасность должна была предостеречь солдат от самовольного покидания воинской части. Алексей, служивший на границе с Китаем в конце 1970-х годов, вспоминал: «Офицеры часто говорили нам об опасности набега перешедших границу семеновских банд на нашу ракетную часть. В этих рассказах они приезжали на конях и садистически убивали советских солдат».

Несмотря на абсурдность появления антикоммунистических партизан со стороны страны, переживающей культурную революцию, или из лояльной социалистической Монголии, мои респон-

денты не помнили, чтобы эти истории воспринимались как вымышленные.

Побочным эффектом этих практик является возникновение новых сообществ, практикующих под старыми названиями фронтирные легенды как основу собственной идентичности. Фронтирная легенда, с одной стороны, нивелирует разнообразие реальной исторической ситуации, с другой – расцвечивает стерильный мир приграничных регионов новыми культурными формами. Сводя полузапрещенное прошлое фронтирных пространств к одному понятию, процесс переописания [Scott, 2009] порождает новое разнообразие. Описание под одним именем разных исторических и географических реальностей создает не только разнообразие контекста обвинительного вопроса, но и разнообразие ответа со стороны воображаемых не-сообществ. Фронтирные легенды сами формируют реальности, только частично контролируемые аппаратом политического краеведения.

Парадоксом советского периода истории региона является захват дискурсивного поля семеновской легенды стигматизируемыми сообществами и создание компенсаторного дискурса на базе советских мифологем [Пешков, 2010]. Русские в Монголии, потомки казаков в Читинской области, потомки казаков из Трехречья в разной степени приняли участие в этом процессе. Русские в Монголии частично принимают маркер (семеновцы), не до конца понимая его суть [Михалев, 2008]. Забайкальцы создают контрпамять как механизм адаптации перед травмой декаказикизации: теперь уже зверства семеновцев являются мудрой (дальновидной) попыткой атамана защитить казаков перед будущими страданиями, а сами герои легенды осмысливаются через общее происхождение (многочисленные истории о дружбе предков с семьей Семенова). Описанная Ги Дебором [Debord, 1994] потенциальная возможность захвата поля официальной идеологии и адаптации ее для собственных нужд находит здесь парадоксальное воплощение. Неизбежная советизация антисоветского (практики символических форм политической конфронтации с СССР на основе советских мифологем и советской аксиологии) приводит к прямому использованию официальной легенды, немного смещая аксиологию антикоммунистического насилия [Peshkov, 2012]. Теперь уже советские места памяти, уроки истории в школе и даже советские фильмы о Гражданской войне усиливают альтернативную версию,

представляя героическое самоубийство казачьего Забайкалья. Отсутствие пространств и мест памяти, не связанных с советским символическим полем, приводит к бесконечному кругу воспроизведения советского в антисоветском. Понимание этого способа переживания прошлого требует отказа от черно-белых противопоставлений: главным мотивом популярности Семенова была обида на рассказывание красных партизан в Забайкалье, советское воспитание облегчало присвоение советских культурных моделей памяти, а транслируемые в семье элементы казачьей культуры делали невозможной позицию жертвы. Как сообщила одна из моих старших респондентов, «красные нас очень боялись, и когда мы проиграли, стали делать страшные вещи. Но ведь в случае нашей победы мы бы поступили так же».

Наиболее близки историческим фактам воспоминания переселенцев из Трехречья: находящиеся между реальностью совместной жизни с историческими последователями Семенова и общим негативным советским стереотипом семеновца, их память концентрируется на общечеловеческой драме Гражданской войны и на «мирных» аспектах жизни родителей в Маньчжурии (экономика, религия, отношения с окружением). В сущности, наперекор советскому стереотипу, казаки из Трехречья и их потомки позиционируют себя как абсолютно мирную и политически пассивную группу, которая несправедливо страдала от советских и китайских репрессий. Много лет проживая в тени негативного политического маркера, сообщество потомков казаков из Трехречья не только исключило опасные слова и имена из своего словаря, но и видит себя как полную противоположность негативной проекции. Вместо ожидаемых жестоких антикоммунистов в регион возвращаются «хранители традиций», заинтересованные только в экономическом успехе своих фермерских хозяйств и возрождении религиозной жизни в регионе.

Постсоветский занавес приграничной мистерии: Борьба за историю в приграничном музее

Можно предположить, что в кривом зеркале семеновского мифа позднесоветское приграничное сообщество увидело само себя: свой страх перед приграничными территориями, надежду на

существование политической альтернативы, тоску по революционному романтизму, объединяющему всех против общего врага. Не менее советской была и контрпамять, больше связанная с травмой декаказизации, чем с Гражданской войной, она перенесла на Семенова советские воображения о праве на насилие, о приграничной территории как пространстве невозможного (уходящих за кордон сетей казачьего сопротивления) и о праве «нашей власти» на превентивные репрессии.

С точки зрения местных жителей, процесс постепенного исчезновения семеновцев напоминал драматический момент полночи в сказке о Золушке – могущественный враг растворялся или превращался в обычных людей, связанных с регионом, отличающихся только большей религиозностью и отношением к крестьянскому труду. Вместе с врагом растворялась и воображаемая география легенды: близость русского Китая дала возможность убедиться в виртуальном характере белогвардейского гнезда [Башаров, 2010], вывод советских войск и массовая эмиграция местнорусских из Монголии закончила «семеновскую эпопею» и в этой стране. Да и забайкальские деревни меньше всего напоминали казачью Вандею. По понятным причинам альтернативное прошлое Восточного Забайкалья не имело собственных материальных репрезентаций, являясь прежде всего отражением фронтирных мифологем. Парадоксально, но именно остановка советской культурной политики делает советизацию культурного поля региона абсолютной: фантомная угроза казачьего сопротивления не могла существовать вне своеобразной темпоральности советского приграничного режима.

Исторические дилеммы жителей забайкальской провинции иллюстрирует экспозиция в краеведческом музее Приаргунска. Материалы, связанные с первой половиной XX в., размещены в порядке конфронтации на противоположных стенах. Одна стена представляет типичный для провинциальных музеев визуальный ряд, состоящий из фотографий вождей, героев защиты границы и социалистического труда. На второй размещены экспонаты, связанные с казачьим прошлым региона, прежде всего фотографии Первой мировой войны и немного фотографий местных героев семеновского движения. Визуальной кульминацией этого дуального порядка репрезентации истории региона является размещение в бинарной оппозиции портретов Сталина и Семенова. Так две ос-

новые политические альтернативы региона персонализированы в фигурах, символизирующих абсолютную волю власти. В этом контексте провинциальный музей выпадает из традиционной модели представления жертв тоталитарного государства как незащищенных мучеников безжалостной государственной машины. Российское общество размещает советское государство и сопротивление власти в разных моральных плоскостях, и попытки их соединения вызывают большие сомнения. Как в коллективных воображениях, так и в историографии существует консенсус по отношению к негативной моральной оценке всех форм вооруженной борьбы с СССР после окончания Гражданской войны, не говоря уже о коллаборации с армиями Третьего рейха или Японии во время Второй мировой войны. В случае Приаргунска политической мифологии советского государства визуально противопоставлена политическая мифология белого Забайкалья. В массовом сознании региона как Сталин, так и Семенов символизируют волю власти и безжалостное истребление оппонентов ради высшей цели. В этом контексте описанная Кэролайн Хамфри неотделимость коммунистического субъекта от лидера и отношений доминации [Humphrey, 2001, p. 32], определяет не только советские, но и несветские образы прошлого в регионе. Трагическая история региона превращается в кабинет зеркал, отражающих общий приоритет решительного действия. Воображаемое государство в обоих случаях соотносится с чрезвычайным положением: теперь уже Семенов становится отражением Сталина – будучи в состоянии предвидеть преступления коммунистов, он дальновидно и безжалостно карает будущих преступников. Следует заметить, что радикализм противопоставления имеет скромные социальные последствия. Бои за историю в приграничном регионе показывают допустимость сосуществования разных версий прошлого, при условии сохранения модели асимметрического примирения: коммунисты совершали трагические ошибки, а антикоммунисты – преступления. Семенов может противопоставляться Сталину уровнем политической воли, но не моральным правом на политические действия. В этой перспективе страх перед реабилитацией Семенова является не отказом от присутствия разного прошлого, а только невозможностью сосуществования в одной моральной плоскости советского опыта и его фантомной альтернативы.

Заключение

Исследования исторической политики анализируют нарративы, направленные на большие сообщества, главным объектом интереса становится национальное большинство и его реакция на предложенные формы официального прошлого. В этой перспективе ситуация приграничной периферии, в которой своеобразный локальный исторический опыт сочетается с опытом приграничного режима, достаточно маргинальна вследствие как малой репрезентативности, так и отдаленности от культурных центров страны. Следует заметить, что, несмотря на удаленность и маргинальный характер полемики, забайкальские попытки разобраться в оценке Гражданской войны достаточно интересны с нескольких перспектив. Во-первых, мы имеем дело со случаем переживания мифологем Гражданской войны как важного фактора локальной идентичности, что резко отделяет Восточное Забайкалье от других регионов. Во-вторых, включенность региона в модель управления советской границей сделала его прошлое элементом ритуалов лояльности приграничного региона [Peshkov, 2012]. В-третьих, массовая миграция «новых забайкальцев» в советское время принесла в дискуссию о Гражданской войне культурные и расовые иерархии, не встречаемые в других регионах с травмой декаказизации.

Описанные в статье приграничные ретрогаллюцинации трудно рассматривать в категориях соответствия, так как их функция была намного шире рассказа о прошлом. Способность увидеть в стерильном приграничном регионе трансграничную Вандею создавала новые реальности: опасное место с нелояльным населением, с одной стороны, и замаскированное присутствие разрушенного советизацией казачьего региона – с другой. Трудное прошлое продолжает быть актуальным: само возрождением имени Атамана становится вызовом для общественного спокойствия и возвращению к конфронтации. В этой перспективе полный отказ от советского словаря и советских мифологем обозначает для Восточного Забайкалья полное согласие на травматический процесс превращения из важного элемента общесоветской системы приграничных регионов в относительно открытую периферийную и бедную местность возле китайской и монгольской границ. В этом контексте опыт Восточного Забайкалья заслуживает пристального вни-

мания как пример поиска локальной модели асимметрического примирения в условиях изменения приграничного режима.

Список литературы

- Аблажей Н.И.* С Востока на Восток. Российская эмиграция в Китае. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007. – 300 с.
- Аргуяева Ю.В.* Русское население в Трехречье // Россия и АТР. – Владивосток, 2006. – № 4. – С. 121–134.
- Базаров Б.В.* Неизвестное из истории панмонголизма. – Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2003. – 67 с.
- Баширов И.П.* Русские Внутренней Монголии: Краткая характеристика группы // Азиатская Россия: Миграция, регионы и регионализм в исторической динамике / Под. ред. Б.В. Базарова. – Иркутск: Оттиск, 2010. – С. 301–307.
- Бураева О.В.* Этнокультурное взаимодействие народов Байкальского региона в XVII – начале XX в. – Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2005. – 212 с.
- Василевский В.И.* Забайкальское казачье войско в годы революции и Гражданской войны. – Чита: Ред.-изд. центр пресс-службы Управления судебного департамента Чит. обл., 2007. – 172 с.
- Зенкова Т.М.* К вопросу о традиционной культуре Трехречья // Ученые записки «Кузнецовские чтения». – Чита: Поиск, 2007. – Вып. 1. – С. 11–13.
- Курас Л.В.* Атаман Г.М. Семенов и барон Р.Ф. Унгерн в монгольской революции 1921 г. // Вестник Бурятского Госуниверситета. – Улан-Удэ, 2011. – № 8 – С. 167–172.
- Мамонов В.Ф.* Гибель русской Вандеи: Казачество Востока России в революции и Гражданской войне. – Челябинск: Челяб. гос. ун-т: Рос. акад. наук. Урал. отделение. Ин-т истории и археологии, 1994. – 175 с.
- Михалев А.В.* «Русский квартал» Улан-батора: Коллективная память и классификационные практики // Вестник Евразии. – М., 2008. – № 2 – С. 6–28.
- Михалев А.В.* Создавая врага: Словарь семеновщины в Монгольской Народной Республике. – 2016. – [из архива автора].
- Наками Т.* Бабуджап и его блуждающая армия: Декларация независимости. Первая мировая война и гражданская война во Внутренней Азии. – 2011. – [из архива автора].
- Миллер А.И.* Империя Романовых и национализм. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 248 с.
- Пешков И.О.* Граница на замке постсоветской памяти. Мифологизация фронтирных сообществ на примере русских из Трехречья // Миграции и диаспоры в социокультурном, политическом и экономическом пространстве Сибири. Рубежи XIX–XX и XX–XXI веков / Под. ред. В. Дятлова. – Иркутск: Оттиск, 2010. – С. 601–616.

- Полуполтинных А. Клуб краеведов отказался собрать круглый стол по атаману Семенову. – Чита, 2012. – Режим доступа: <https://str-albatros.livejournal.com/130459.html>. (Дата посещения 25.04.2018.)
- Романов А.М. Особый Маньчжурский отряд атамана Семенова. – Иркутск: Оттиск, 2013. – 308 с.
- Савченко С.Н. Дальневосточный казачий сепаратизм в годы Гражданской войны (1918–1920) // Россия и АТР. – Владивосток, 2007. – № 4. – С. 25–40.
- Семенов Г.М. О себе. Воспоминания, мысли и выводы. 1904–1921. – М.: Центрполиграф, 2007. – 304 с.
- Debord G. The society of the spectacle. – N.Y.: Zone book, 1994. – 154 p.
- Holquist P. To count, to extract, and to exterminate: Population statistics and population politics in late imperial and Soviet Russia // A state of nations: Empire and nation-making in the age of Lenin and Stalin / R.G. Suny, T. Martin T. (eds). – N.Y.: Oxford univ. press, 2001. – P. 111–144.
- Humphrey C. Stalin and the Blue Elephant: Paranoia and complicity in postcommunist metahistories // Diogenes. – Paris, 2001. – N 194. – P. 26–34.
- Oushakine S.A. 013. Remembering in public: On the affective management of history // Ab imperio. – Казань, 2013. – N 1. – P. 269–302.
- Peshkov I. Politization of quasi-indigenusness on the russo-chinese frontier // Frontier encounters: Knowledge and practices at the Russian, Chinese and Mongolian border / F. Bille, G. Delaplace, C. Humphrey (eds). – Cambridge: Open book publisher, 2012. – P. 165–183.
- Peshkov I. Usable past for a Transbaikalian borderline town. «Disarmament» of memory and geographical imagination in Priargunsk // Inner Asia. – Cambridge, 2014. – N 16. – P. 95–115.
- Radu C. Beyond border-‘dwelling’: Temporalizing the border-space through events // Anthropological theory. – L., 2010. – N 10. – P. 409–433.
- Scott J. The art of not being governed: an anarchist history of upland Southeast Asia. – New Haven: Yale univ. press, 2009. – 464 p.
- Slezkine Y. The Soviet Union as a communal apartment. Or how a socialist state promoted ethnic particularism // Stalinism. New directions / Ed. by S. Fitzpatrick. – L.; N.Y.: Routledge, 2006. – P. 313–347.
- Zahra T. Imagined non-communities: national indifference as a category of analysis // Slavic review. – Urbana, 2010. – N 69. – P. 93–119.

КОНТЕКСТ

А.А. ВОРОНОВИЧ*

РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ МОЛДОВЫ И УКРАИНЫ В 2000-х ГОДАХ¹

Аннотация. Европейская интеграция стала ключевой декларируемой геополитической ориентацией Украины и Молдовы в 2000-х годах. Сближение с ЕС предполагает не только требование политических и экономических реформ, но и соответствие «европейским ценностям», к которым, среди прочего, относится и европейская политика памяти. Однако в европейской политике памяти сформировались две во многом противоречащих друг другу тенденции. Первая опирается на создание элементов общеевропейского исторического нарратива и коммеморацию Холокоста, подразумевающую ответственность всех европейцев за эту трагедию. Вторая тенденция, проявившаяся недавно, подразумевает осуждение тоталитарных режимов и фокусируется на страданиях собственного народа. В своем движении в сторону Европейского союза украинские и молдавские политики столкнулись с необходимостью соответствовать и возможностью использовать сначала только первую тенденцию, а примерно с 2009 г. – уже с сосуществованием обеих. В статье проводится сравнительный анализ роли, которую играют

*** Воронович Александр Александрович**, кандидат исторических наук, научный сотрудник, Международный центр истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (Москва, Россия), e-mail: alex.voronovici@gmail.com

Voronovici Alexandr, The International Centre for the History and Sociology of World War II and Its Consequences, National Research University Higher School of Economic (Moscow, Russia), e-mail: alex.voronovici@gmail.com

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01589) в Институте научной информации по общественным наукам РАН.

две обозначенные тенденции общеевропейской политики памяти в государственной исторической политике в Украине и Молдове. Формирование двух противоречащих друг другу направлений в европейской политике памяти создало пространство для маневра для руководства стран, которые объявили европейскую интеграцию своей геополитической целью. В целом европейская политика памяти стала одним из источников легитимации политических режимов в Украине и Молдове в глазах европейских институтов и в то же время – инструментом внутриполитической борьбы. Ритуальной коммеморацией Холокоста власти Украины и Молдовы пытались прикрыть свои неудачи в сфере политических и экономических реформ. В свою очередь, в условиях неоднозначного отношения к советскому прошлому в Украине и Молдове европейское осуждение тоталитарных режимов стало удобным инструментом для внутриполитических битв. Цели и масштабы антикоммунистических кампаний в обеих странах разные, однако в обоих случаях европейские решения служат одним из способов легитимации «войн памяти». Вместо того чтобы служить объединяющим фактором, как это изначально задумывалось, европейская политика памяти нередко становилась одним из элементов, стимулирующих внутренние конфликты в Украине и Молдове.

Ключевые слова: политика памяти; европейская интеграция; Холокост; осуждение коммунизма; легитимация режимов.

Для цитирования: Воронович А.А. Роль европейской политики памяти в государственной исторической политике Молдовы и Украины в 2000-х годах // Политическая наука. – М., 2018. – № 3. – С. 204–230. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.09

A.A. Voronovici
The role of the European politics of memory
in the state historical politics of Moldova and Ukraine in the 2000 s

Abstract. In the 2000 s European integration became a key declared geopolitical goal in Ukraine and Moldova. Rapprochement with the EU presupposes not only the implementation of political and economic reforms, but also the conformity with “European” values.” Conformity with European memory politics is among such values. Yet, there are two conflicting trends within European memory politics. The first trend focuses on the creation of the pillars of the all-European historical narrative and the Holocaust commemoration, which presupposes the responsibility of all Europeans for this tragedy. The second approach, which formed recently, entails the condemnation of totalitarian regimes, and boils down to the sufferings of one’s own people. In the process of European integration Ukrainian and Moldovan politicians encountered the possibility to exploit the first trend and roughly after 2009 both of them. The paper compares the role of these two tendencies of European memory politics in state history politics in Ukraine and Moldova. The existence of two conflicting approaches of European memory politics created wiggle room for the governments, which declared European integration their goal. In general, European memory politics became the source of legitimacy for political regimes in Ukraine and Moldova and at the same time a weapon in the internal political struggle. Ukrainian and Moldovan governments have used the ritualistic commemoration of Holocaust to cover up the failures of their political and

economic reforms. At the same time, in the context of the ambiguous perception of the Soviet past in Ukraine and Moldova the European condemnation of totalitarian regimes became a tool of internal political battles. The scope and scale of the anti-Communist campaigns were different. Yet, in both cases the European decisions serve as one of the grounds for the legitimization of “memory wars.” Instead of becoming a uniting force, as it was originally conceived, European memory politics frequently turned out to be one of the factors, stimulating internal conflict in Ukraine and Moldova.

Keywords: memory politics; European integration; Holocaust; condemnation of Communism; legitimization of regimes.

For citation: Voronovici A.A. The role of the European politics of memory in the state historical politics of Moldova and Ukraine in the 2000 s // Political science (ru). – M., 2018. – N 3. – P. 204–230. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.09

Европейская интеграция стала одним из ключевых пунктов в повестке дня государств бывшего Советского Союза в 2000-х годах, особенно на западных границах. Результаты были разными. Страны Прибалтики добились статуса полноправных членов Европейского союза. Беларусь в конечном итоге пошла по пути интеграционных процессов с Россией, хотя белорусское руководство продолжает участвовать в различных программах ЕС и не стесняется «заигрывать» с Брюсселем, когда отношения с Москвой ухудшаются. В свою очередь, в Украине и Молдове почти все правительства 2000-х годов декларировали в качестве цели европейскую интеграцию, несмотря на то что в целом среди населения этих стран не было единодушия по этому вопросу. Даже политические силы, приходившие к власти с пророссийскими лозунгами, так или иначе продолжали дрейф в европейскую сторону. В случае с Партией коммунистов Республики Молдова можно даже сказать, что она инициировала первые реальные шаги к евроинтеграции.

Евросоюз при этом всячески пытался поддерживать проевропейские устремления в Украине, Молдове и других странах на территории бывшего Советского Союза. В 2009 г. для этих целей Брюссель запустил Программу Восточного партнерства [Korosteleva, 2012], которая ставила целью более тесное сотрудничество со странами-участницами и постепенное приведение их к европейским нормам и ценностям. Шаги в сторону европейской интеграции в Украине и Молдове начались еще до запуска Восточного партнерства, однако программа должна была придать новый импульс этим процессам. Некой промежуточной кульминацией можно считать подписание в последние годы соглашений об ассоциации ЕС с Украиной, Мол-

довой и Грузией, а также введение безвизового режима с этими странами. Тем не менее остается вопрос о том, в какой мере эти решения Брюсселя обусловлены реальными успехами этих государств в реформах, а в какой – обострившимся геополитическим противостоянием с Россией. Достижения Украины и Молдовы в процессах демократизации, развития свободного рынка, социальных программ и инфраструктуры вызывают серьезную критику. Евроинтеграция Украины и Молдовы не сводилась к реализации и, нередко, имитированию политических и экономических реформ. Одним из негласных требований Брюсселя к этим странам было принятие норм европейской политики памяти. Именно это стало одним из столпов «европейских ценностей» и входным билетом в «европейскую семью».

Холокост – основополагающий элемент европейской политики памяти [Ассман, 2014, с. 279–280; Radonić, 2017, p. 269–270]. Этот подход основывается на уникальности Холокоста как основной европейской трагедии XX в., а также на коллективной вине и ответственности всех народов Европы за него. Коллективная ответственность всех европейцев опиралась на понимание того, что в Холокост были вовлечены не только нацистская Германия и ее союзники, но также местное население и политические группы на всех оккупированных территориях. Холокост оказался нитью, связывающей общеевропейский исторический нарратив в XX в. Ключевая роль Холокоста в политике памяти Европы и в целом Запада институционализировалась в таких структурах, как Международный альянс памяти Холокоста, Всемирный форум памяти Холокоста и т.д. Хотя Холокост постепенно становился ключевым элементом европейской политики памяти с 1970–1980-х годов, с начала 2000-х он прочно закрепился в основе общеевропейских коммеморативных практик. Одним из опорных пунктов стала Стокгольмская декларация 2000 г., которая легла в основу Международного альянса памяти Холокоста [Stockholm Declaration, 2000].

Закрепление за Холокостом центральной роли в европейской политике памяти совпало с расширением Европейского союза на восток, с постепенным вступлением в ЕС многих бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы. Коммеморация Холокоста стала одним из требований к новым странам, признаком принадлежности к «европейской семье». Такая политика памяти часто была неудобна для элит стран Центральной и Вос-

точной Европы. Это связано с тем, что нередко местные акторы, участвовавшие в Холокосте, в послевоенное время сформировали ядро антисоветского сопротивления и прославляются как национальные герои. Особенно это относится к странам Балтии. В результате, став полноправными членами ЕС, эти страны только поверхностно приняли повестку европейской политики памяти, заостренную на Холокосте. Одновременно они начали постепенно продвигать на европейской арене свою политику памяти, опирающуюся на собственный двойной статус жертвы коммунизма и в меньшей мере – нацизма. В целом страны Центральной и Восточной Европы значительно преуспели в этом направлении. Декларации Европейского парламента [European Parliament resolution... 2009] и Парламентской ассамблеи ОБСЕ [Vilnius Declaration... 2009, р. 48–49] 2009 г. можно даже интерпретировать как победу политики памяти, основанной на страдании собственного народа и криминальном характере тоталитарных режимов, над политикой памяти, опиравшейся в рамках общеевропейского нарратива на Холокост и коллективную вину за него [Миллер, 2016, с. 117]. Обе резолюции упоминали уникальность Холокоста и не уравнивали напрямую коммунизм и нацизм. Тем не менее общая смена акцентов была очевидна.

Важно подчеркнуть, что новое направление европейской политики памяти находится в конфликте со старым, который не всегда замечают (подробнее о противоречиях см.: [Миллер, 2016]). Старая тенденция опиралась на признание ответственности каждого народа за Холокост. В то же время новая тенденция возлагает ответственность за исторические страдания каждого народа на внешние «тоталитарные» силы. Таким образом, в 2000-х годах можно схематично выделить два основных периода в европейской политике памяти. До 2009 г. основной упор был на попытке построения некоего объединяющего транснационального исторического нарратива, в котором коллективная ответственность всех европейцев за Холокост играла фундаментальную роль. После 2009 г., особенно на фоне экономических и политических кризисов в ЕС, укрепилось также другое направление. Оно позволило правительствам государств Центральной и Восточной Европы сфокусироваться в большей степени на собственном статусе жертвы коммунизма и нацизма. Для удобства первую тенденцию в ев-

ропейской политике памяти можно назвать тенденцией к общеевропейской ответственности, а вторую – тенденцией к самовиктимизации.

Несмотря на противоречащие послы с разным пониманием основных жертв и параметров исторической ответственности, оба описанных направления европейской политики памяти продолжают сосуществовать. Руководства Украины и Молдовы в своих евроинтеграционных устремлениях столкнулись с необходимостью базового соблюдения общих правил европейской политики памяти. В то же время у них появилась возможность использовать европейскую политику памяти в своих целях. Постепенное формирование двух противоречащих друг другу тенденций создало возможности для маневра местных политических сил. В этой статье в сравнительном ключе рассматривается роль общеевропейской политики памяти в государственной политике памяти в Украине и Молдове. Основной фокус сделан на коммеморацию Холокоста и попытки вписать национальный нарратив в общеевропейский и осуждение тоталитарных режимов, прежде всего коммунизма. Европейская политика памяти играет важную роль в Украине и Молдове и на других уровнях, например, в академических и общественных дискуссиях и проектах. Однако в этой статье рассматривается только уровень руководства двух восточноевропейских государств.

Методологически исследование опирается на ситуативный подход к изучению исторической политики. Таким образом, в статье анализируется поведение акторов в сфере исторической политики в контексте изменяющейся внутренней и международной конъюнктуры. В центре внимания автора – переплетение и взаимосвязь международного (европейского) и внутреннего контекстов политики памяти. Решение внутри- и внешнеполитических задач украинского и молдавского руководства рассматривается в условиях изменений в европейской политике памяти. В целом европейская политика памяти стала одним из источников легитимации политических режимов в Украине и Молдове в глазах европейских институтов и в то же время – инструментом внутривнутриполитической борьбы. Различные политические силы, оказавшись у власти, маневрировали и пытались использовать ключевые мотивы европейской политики памяти в борьбе со своими политическими оппонентами. Именно двойственность европейской политики памяти создала пространство для таких маневров.

В этом контексте необходимо учитывать, что Украина и Молдова – разделенные государства в отношении геополитических предпочтений и по вопросам идентичности. В Молдове по всем опросам до сих пор население примерно равно разделено в своих геополитических предпочтениях между ЕС и Россией. В Украине только после событий 2014 г. европейская опция стала уверенно преобладать в опросах, хотя результаты далеко не всегда однозначны и имеют определенное региональное измерение¹.

В Молдове с точки зрения политики памяти основной водораздел проходит между румынистами и молдовенистами, что также отражает два различных взгляда на идентичность местного титульного населения (подробнее см.: [Cusco, Voronovici, 2016]). Румынисты считают местное население румынским, говорящим на румынском языке. Золотым веком считается период нахождения Бессарабии в составе «Великой Румынии» (1918–1940). Значительная часть румынистов также положительно воспринимают режим Антонеску. В результате румынисты часто замалчивают участие Румынии в Холокосте или же перекалывают всю ответственность на нацистскую Германию. Оппоненты румынистов, молдовенисты, напротив, подчеркивают участие режима Антонеску в Холокосте. Молдовенисты считают, что молдаване – отдельная от румынской нация. Молдовенистский исторический нарратив преимущественно опирается на попытки проследить историческую преемственность молдавской государственности. Они негативно воспринимают румынское влияние в Молдове, а периоды румынской власти расценивают как оккупацию. При этом молдовенисты более позитивно воспринимают российский имперский и советский периоды. Румынисты оценивают эти периоды негативно, считая их годами оккупации. Таким образом, в сфере исторической политики наблюдается борьба между двумя вариантами национального исторического нарратива с во многом противоположными оценками ключевых исторических элементов².

¹ Например, в феврале 2015 г. только 12,3% (за два года до этого показатель составлял 37,5%) опрошенных высказались за вступление в Таможенный союз с Россией, в то время как за вступление в ЕС – 47,2% (в феврале 2013 г. – 36,6%). Однако в 2015 г. также 27,3% высказались за невступление ни в один из союзов [Геополитические ориентации граждан Украины... 2015].

² Необходимо отметить, что речь идет об идеальных типах. В рамках этих групп в Украине и Молдове есть активисты, которые не в полной мере придержи-

В Украине также существуют два основных противоборствующих исторических нарратива, которые конкурируют на государственном уровне, хотя оба опираются на логику «национальной истории» (подробнее о «национализации истории» и «войнах памяти» в Украине см.: [Касьянов 2012]). Один можно назвать националистическим, он прослеживает телеологическое движение украинского народа к собственной государственности и основан на героизации исторических борцов за ее независимость и развитие. Националистический нарратив также подчеркивает статус украинского народа как жертвы перед лицом внешних сил, особенно России (Советского Союза). Соответственно, в рамках этого нарратива негативно воспринимается советский период Украины и особо восхваляются борцы с ним, особая героическая роль достается ОУН-УПА как антисоветским борцам за украинское государство. Вовлеченность этих групп в Холокост и антипольские акции преимущественно замалчиваются или даже отрицаются. Необходимо отметить, что такой нарратив активно поддерживается в Украине и на международной арене влиятельными группами украинской диаспоры, роль которой в украинской исторической политике велика [Rudling, 2011, p. 24–26]. В Молдове, в свою очередь, не приходится говорить о каком-либо влиянии диаспоры, хотя радикальные румыны нередко пользуются поддержкой определенных сил в Румынии. Оппоненты националистического нарратива в Украине также придерживаются многих элементов национального нарратива, особенно в отношении истории до XX в, но они оценивают советский период не в столь негативных красках. Например, Голодомор также занимает важное место в этом нарративе, однако он не подается исключительно как геноцид украинского народа. Негативно воспринимается радикальный украинский национализм, особенно ОУН-УПА. В целом представители этого нарратива в политике используют советско-ностальгические чувства части населения Украины. В какой-то мере различия в культурах памяти в Украине имеют и региональное измерение, которое сохранилось даже после 2014 г. [Shevel, 2016 a, p. 259–260]. При этом вместо

живаются всех обозначенных позиций и имеют более гибкие представления. Также есть группа специалистов и активистов, пытающихся выстроить в той или иной мере нарратив, отличный от обозначенных двух, однако их влияние на государственном уровне достаточно ограничено.

простого разделения на Запад и Восток по некоторым вопросам уместно рассматривать чуть более сложную картину [Osipian, 2012].

Общеввропейская ответственность в европейской политике памяти и государственная историческая политика в Молдове и Украине в первое десятилетие 2000-х годов

Обе страны примерно в одно время встали на путь европейской интеграции, хотя в различных контекстах¹. В Украине это произошло после «оранжевой революции» и с приходом к власти Виктора Ющенко. В Молдове интеграция стала стабильным и приоритетным курсом во время правления Партии коммунистов Республики Молдова. Коммунисты пришли к власти в 2001 г. как сторонники близких отношений с Россией и защитники прав меньшинств в Молдове, но вскоре они совершили поворот в сторону Европы. Исследователи нередко связывают такое резкое изменение геополитической ориентации с провалом подписания Меморандума Козака в 2003 г. и последовавшим похолоданием в российско-молдавских отношениях [Crowther, 2007]. Помимо этого есть признаки, что у части коммунистического руководства постепенное движение в сторону европейской интеграции началось раньше. Тем не менее в последующие годы европейский курс Молдовы был закреплён на следующих парламентских выборах 2005 г., в декларациях парламента, подписанием плана действий Молдова – ЕС и в других актах.

И молдавские коммунисты, и В. Ющенко имели четкую линию в исторической политике. Молдавские коммунисты придерживались преимущественно молдовенистской линии. В частности, это предполагало вытеснение румынистских тенденций в образовании. В Украине Виктор Ющенко, находясь под влиянием украинской диаспоры, проводил историческую политику, опирающуюся

¹ Так или иначе и Украина, и Молдова участвовали в различных европейских структурах – таких как Совет Европы. Примерно к началу 2000-х годов политические силы начали воспринимать в качестве программной практической задачи устойчивое сближение с ЕС с надеждой в долгосрочной перспективе на вступление в него. В какой-то мере это совпало со все большей вовлеченностью самого ЕС в этом регионе.

на украинские националистические представления. Ключевыми элементами исторической политики Ющенко стали восхваление и героизация ОУН-УПА и упор на жертвенный нарратив украинской истории в советские годы, с основным фокусом на Голодомор как геноцид украинского народа. Европейская политика памяти, на тот момент опирающаяся на тенденцию общеевропейской ответственности, была удобна молдавскому руководству, при этом создавала трудности Ющенко.

Ссылаясь на общеевропейский опыт и ценности и консультируясь с европейскими структурами, молдавские коммунисты вытесняли из школьной программы предмет «История румын». «История румын» преподавалась в школах на протяжении всех 1990-х и в начале 2000-х годов (о преподавании истории в школах в Республике Молдова см.: [Musteață, 2010]). Авторы учебников опирались на румынский националистический нарратив. Первым делом коммунистические руководители попытались ввести вместо курса «История румын» курс «История Молдовы», но эта попытка (и некоторые другие решения, такие как введение обязательного изучения в школах русского языка) столкнулась с жесткой оппозицией активной части академических кругов, в которых большую часть составляли румынисты, и прорумынски настроенных политических сил, организовавших серию массовых протестов. В итоге коммунистическое правительство (в какой-то мере также под давлением европейских структур) отступило и начало разработку альтернативной программы преподавания истории, которая маргинализировала и постепенно исключала «Историю румын» из школьной программы. Взамен двух курсов – «Истории румын» и «Всеобщей истории» – в школьной программе коммунисты предложили единый курс «История», основанный на концепции «интегрированной истории». В рамках этого курса коммунистическое правительство пыталось вписать преподавание истории Молдовы в общеевропейский и общемировой контекст¹. Благодаря такому

¹ В какой-то мере предложенная концепция стала результатом активности сил в партии коммунистов, которым было «тесно» в рамках узкого молдовенистского нарратива. Идея «интегрированной истории», видимо, исходила от других групп в партии и ближайшего ее окружения. Показательно, что некоторые сторонники преподавания «Истории Молдовы» выступили с критикой «интегрированной истории», хотя и те и другие стремились переориентировать преподавание истории с «Истории румын» на историю Молдовы.

маневру преподавание истории в школе теряло свой румынский фокус и нарратив, характерный для неудобной коммунистам «Истории румын».

Коммунистическое руководство Молдовы умело использовало европейские структуры (Совет Европы, ПАСЕ), а также некоторые неправительственные общеевропейские организации (ЕВРОКЛИО), для легитимации предложенного курса истории. В разработке нового курса правительство призывало опираться на рекомендации ПАСЕ в сфере «региональной истории» [Hotărârea Guvernului... 2002]. Европейские специалисты и структуры были активно вовлечены в разработку новой стратегии преподавания истории. Кроме того, в оправдание нового курса, который находился под градом критики внутри страны, при его разработке первые лица молдавского руководства, от президента В. Воронина до вице-министра образования постоянно ссылались на поддержку Европы и «европейские ценности» [Президент Республики Молдова... 2003; Президент Республики Молдова Владимир Воронин и Генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер... 2003]. Привлечением европейских специалистов и постоянными отсылками к европейскому контексту пытались преодолеть сопротивление нововведениям в историческом образовании в политической и интеллектуальной среде. Решая собственные задачи в сфере преподавания истории, коммунисты легитимизировали свою позицию отсылками к европейским тенденциям и институтам. Так как их многие воспринимали, а политические оппоненты подавали как пророссийскую силу, эффект такого дискурса был особенно силен. Европейская легитимация нового школьного курса стала попыткой выбить из рук его оппонентов геополитический аргумент и подать новую стратегию исторического образования как своего рода «европейский компромисс». Правда, стоит отметить, что в итоге учебники для нового единого курса «Истории» были далеки от заявленных стандартов и целей, в частности, из-за спешки и неподготовленности авторов.

Коммунисты активно занялись и коммеморацией истории евреев в Молдове. Это вполне вписывалось в их курс поддержки национальных меньшинств, а также их взглядов в сфере исторической политики. Несомненно, это также совпадало с тенденциями в европейской политике памяти. Например, в 2003 г. в Молдове были организованы памятные мероприятия по случаю столетней годов-

щины Кишиневского погрома, а президент В. Воронин передал в Музей Холокоста в Вашингтоне документы из архива Службы информации и безопасности о Холокосте на территории Бессарабии. Тем не менее, хотя Холокост занял более заметное место в исторической политике в период правления партии коммунистов, это не предполагало обязательное признание ответственности собственного народа за Холокост. Скорее, помимо общих взглядов на историю Второй мировой войны, коммеморация Холокоста была также удобна для коммунистов с утилитарной точки зрения. В частности, в новых учебниках ответственность за Холокост в Бессарабии и Приднестровье ложилась на Румынию и режим Антонеску. Таким образом поднятие ранее замалчиваемой темы Холокоста наносило удар по оппонентам коммунистов, прорумынским партиям и румынистам.

В Украине в период президентства В. Ющенко сложилась другая ситуация в отношении проводимой исторической политики и ее соответствия европейским ожиданиям. В отличие от коммунистов в Молдове, Ющенко и поддерживавшая его коалиция пришли к власти как прозападная альтернатива воспринимавшемуся как пророссийский Виктору Януковичу. Ющенко ставил целью сближение с Европой, в том числе и в сфере политики памяти, что было заметно в его попытках отмечать окончание Второй мировой войны, вписывая Украину в общеевропейский контекст и традиции коммеморации (подробнее см.: [Klymenko, 2015, p. 394–396])¹. Однако подход Ющенко в отношении героизации ОУН-УПА и широкомасштабной национальной и международной кампании признания Голодомора геноцидом с числом жертв, превышавшим Холокост, вызвал значительный международный резонанс [Касьянов, 2010, с. 102–105]. Оба этих направления в исторической политике противоречили европейской тенденции общеевропейской ответственности, которая в те годы еще доминировала. Попытки признания Голодомора геноцидом с числом жертв, превышающим Холокост, ставили под сомнение уникальность последнего для европейской истории и памяти (о попытках многих восточноевро-

¹ Впрочем, подход В. Ющенко к коммеморации окончания Второй мировой войны служил и другой цели – попытке вытеснить нарратив Великой Отечественной войны, который во многом противоречил проводимой Ющенко политике памяти.

пейских государств найти свой «геноцид» см.: [Финкель, 2012]). В свою очередь, героизация ОУН-УПА, известных на Западе участием в Холокосте и антипольских акциях, отрицала ответственность местного населения за трагедию. Чтобы преодолеть противоречия между героизацией ОУН-УПА, их антисемитизмом и негативным восприятием среди западных партнеров, близкие группы Ющенко продвигали концепцию ОУН-УПА как плюралистской силы, которая спасала евреев [Rudling, 2011, p. 28–30]. Парадоксальным образом основные элементы исторической политики прозападного президента Ющенко шли вразрез с основными тенденциями европейской политики памяти [Rudling, 2016, p. 30]; в то же время эти противоречия стимулировали разносторонние академические и общественные дискуссии по вопросам истории и памяти [Himka, 2011; Narvselius, 2012]. Это вызывало недовольство, а иногда и протесты на общеевропейском уровне и в рамках отдельных европейских стран.

Необходимо отметить, что Ющенко не игнорировал Холокост в своей исторической политике – скорее он активно использовал его для продвижения собственной политики. Так, он достаточно активно участвовал в коммеморации Холокоста. В 2006 г., в 65-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру, где нацисты и их местные коллаборанты расстреляли более 30 тысяч евреев, в Киеве прошел Международный форум памяти Холокоста. В своей речи на Форуме президент подчеркивал важность Бабьего Яра как места не только еврейской, но общей трагедии различных этнических групп Украины. Он также опустил вопрос участия украинцев в Холокосте, подчеркнув при этом роль украинцев, спасавших евреев [International forum... 2006]. Такой подход был замечен и при дальнейших коммеморациях Холокоста в Украине, в которых участвовал Ющенко. В следующую годовщину он возложил цветы возле мемориала расстрелянным членам ОУН, участие которых в антиеврейском насилии он не раз отрицал. Кроме того, Ющенко неоднократно пытался представить Голодомор как «украинский Холокост». В декларациях и нормативных актах о Голодоморе и пояснительных записках к ним эти две трагедии нередко шли в паре. Холокост служил примером и аргументом к признанию за Голодомором статуса геноцида, криминальной ответственности за непризнание этого статуса и так далее [Касьянов, 2010, с. 62–68]. Ющенко использовал коммеморацию Холокоста как для усиления

своего аргумента о «геноцидном» характере Голодомора, так и, очевидно, для задабривания западных партнеров, возмущенных некоторыми его решениями в сфере исторической политики. В целом его политика укладывалась в распространенную в Восточной Европе концепцию приравнивания жертв двух тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма – и исключения ответственности собственной нации за эти преступления. Только к последнему году президентства Ющенко тенденция самовиктимизации закрепились в политике памяти на общеевропейском уровне. Впрочем, даже несмотря на это, Европарламент раскритиковал решение Ющенко присвоить Степану Бандере звание Героя Украины и выразил надежду, что будущее украинское руководство пересмотрит это решение и «сохранит приверженность европейским ценностям» [European Parliament resolution... 2010].

Тенденция самовиктимизации в европейской политике памяти и антикоммунистические мотивы в государственной исторической политике Молдовы и Украины после 2010 года

Изменения в политике памяти на общеевропейском уровне с выходом на тенденции самовиктимизации совпали с переменами в политическом руководстве Молдовы и Украины. В Молдове после массовых беспорядков, разгрома здания парламента и перевыборов коммунисты потеряли власть, и к руководству пришел «проевропейский» альянс, объявивший курс на европейскую интеграцию своим приоритетом, хотя в значительной степени то же относилось и к предыдущим правительствам. В Украине в 2010 г. Виктор Янукович победил на президентских выборах. Многие это воспринимали как победу пророссийских взглядов. В целом новое украинское руководство действительно было намного более открыто к сотрудничеству с Россией, в том числе и в сфере исторической политики. Тем не менее дрейф Украины в западном, европейском направлении продолжился вплоть до ноября 2013 г., когда во многом неожиданно было принято решение приостановить подписание соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, что привело к началу Евромайдана.

По сравнению с националистическим курсом Ющенко в исторической политике новая украинская власть опиралась на куль-

туру памяти, предполагавшую более положительный взгляд на советский период и российский фактор и негативное отношение к радикальному украинскому национализму XX в. Тем не менее это не отменяло общей приверженности концепции национальной истории в политике и образовании. Будучи преимущественно технократом, Виктор Янукович не имел выраженной линии исторической политики, которая во многом свелась к откату по некоторым позициям его предшественника, в частности, к отмене решений по героизации Шухевича и Бандеры.

Важным моментом этого периода стало введение в 2011 г. Дня памяти жертв Холокоста. Это решение стало одним из пунктов постановления Верховной рады о 70-лети трагедии в Бабьем Яру. При этом в качестве Дня памяти жертв Холокоста было предложено 27 января, т.е. Международный день памяти Холокоста и дата, не привязанная непосредственно к событиям в Бабьем Яру [Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру... 2011]. В то же время в объяснительной записке к проекту постановления никак не объясняется и даже не упоминается дата 27 января, хотя очевидно, что за таким выбором стоит именно международный контекст. Другим интересным фактом является то, что проект был предложен депутатом Коммунистической партии Украины. Достаточно очевидно, что это также была попытка политических сил, выступающих против курса на реабилитацию ОУН-УПА, создать коммеморативный день, который они могли использовать против своих идеологических противников.

В Молдове приход новых сил на смену правившей восемь лет партии коммунистов также привел к изменениям в исторической политике. Одной из основных политических задач правящего проевропейского альянса стало снижение популярности партии коммунистов. Последняя по различным опросам пользовалась поддержкой у населения, приблизительно сопоставимой со всеми правящими партиями вместе взятыми. Антикоммунистическую кампанию в сфере исторической политики возглавил исполняющий обязанности президента в 2009–2010 гг. спикер парламента Михай Гимпу, лидер самой популярной прорумынской партии в Молдове. Гимпу создал Комиссию по изучению и оценке коммунистического тоталитарного режима в Республике Молдова. Основываясь на результатах ее деятельности, он объявил 28 июня Днем советской оккупации и памяти жертв тоталитарного коммунисти-

ческого режима. Очевидно, что при создании Комиссии и проведении антикоммунистической политики Гимпу и его окружение опирались на прибалтийский и восточноевропейский опыт схожих комиссий. Однако это не было отражено в президентских декретах, хотя комиссия привлекала участников схожих институтов в Восточной Европе для изучения их опыта (это можно проследить в сборнике текстов к конференции, организованной частью комиссии, см.: [Fără termen de prescripție, 2011]).

Результаты работы Комиссии, в частности предложения по запрету коммунистической символики, не были использованы в полной мере. Проевропейская коалиция в несколько видоизмененном составе вернулась к предложениям Комиссии в 2012 г. В значительной степени эти результаты оставались актуальными, так как рейтинги Партии коммунистов оставались высокими и даже росли. В то же время члены правящей коалиции теряли популярность из-за слабых темпов реформ и коррупционных скандалов. У правящего альянса были опасения, что на следующих выборах коммунисты могут одержать победу. Они попытались лишить коммунистов их узнаваемого символа в бюллетенях для голосования. В июле 2012 г. правящая коалиция запретила использование символики «коммунистического тоталитарного режима». В этот раз была представлена вся родословная принятого решения. Закон ссылался на резолюции и декларации ПАСЕ, ОБСЕ и, что немаловажно, на упомянутое решение Европейского парламента 2009 г. [Парламент Республики Молдова... 2012]. Таким образом, правящая проевропейская коалиция использовала новую тенденцию самовиктимизации в европейской политике памяти для обоснования и легитимации своего резонансного решения. Примерно через год Конституционный суд признал этот закон неконституционным, помимо прочего опираясь на рекомендации Венецианской комиссии [Конституционный суд... 2013]. Однако это решение вскоре начало терять свою актуальность ввиду того, что Партия коммунистов постепенно растрачивала свой политический капитал.

В Украине схожие антикоммунистические мотивы политики памяти стали актуальны позднее и в другом контексте. После Евромайдана, последовавшей смены власти и событий в Крыму и на Донбассе новое руководство считало выгодным реформировать символическое пространство Украины и фактически перевести в еще более горячую фазу идущую в стране «войну памяти».

Пакет из четырех законов, в спешке принятых в апреле 2015 г., дал старт официальной «декоммунизации» украинского публичного пространства. Пакет «декоммунизации» состоял из законов «об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов», «об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне», «о правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке» и «о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима». Некоторые сторонники объяснили принятие этих законов целями национальной безопасности, особенно в условиях, когда пророссийские сепаратисты использовали символы и мифы Великой Отечественной войны¹ (подробнее об этом см.: [Shevel, 2016 b, p. 34–35; Yurchuk, 2016, p. 127]). Несомненно, эти законы отражают возросшее влияние националистических идей в украинских правящих кругах после Евромайдана. Здесь также необходимо подчеркнуть ключевую роль Украинского института национальной памяти в разработке этих законов. Институт, созданный по примеру комиссий и институтов других стран с социалистическим прошлым, в последние годы стал источником множества резонансных решений и деклараций. В плане конфликтного характера деятельности украинский институт стоит в первых рядах даже среди своих ближайших аналогов [Касьянов, 2016].

Первый закон полностью соответствовал тенденции самовиктимизации. Как и молдавский закон о запрете коммунистической символики, украинский вариант начинался с преамбулы, которая устанавливала связи с шестью решениями Совета Европы, ОБСЕ и Европейского парламента [Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного... 2015]. Таким образом, авторы легитимизировали новый закон как часть общеевропейской тенденции. Однако, в отличие от молдавского закона, который фактически ограничивался запретом коммунистической символики, решение Верховной рады имеет более широкие амбиции. Спектр предусмотренных мер значительно шире: от собственно запрета «тоталитарной символики» до ликвидации памятников советским лиде-

¹ Стоит отметить, что украинская сторона также прибегала к элементам нарратива Великой Отечественной войны в своих мобилизационных кампаниях и информационных войнах с Россией и пророссийскими силами в Украине.

рам и изменения топографии посредством переименования населенных пунктов. Также бросается в глаза наличие в украинском законе упоминаний нацистского режима, которые отсутствуют в молдавском случае. Впрочем, заметно, что в украинском законе нацизм в значительной степени является только удобным фоном и посредством тоталитарного уравнивания – дополнительным аргументом для криминализации коммунизма. Такая разница может быть обусловлена различными целями двух законов. В молдавском случае задача была преимущественно ситуативная: ослабить и создать проблемы главной оппозиционной силе – партии коммунистов. В украинском случае мы сталкиваемся с более фундаментальным и широким подходом, где принятые законы являются попыткой подавить альтернативную культуру памяти. Европейские тенденции последних лет в политике памяти оказались удобны для обоснования такого решения внутривнутриполитических задач. Кроме того, резкое ухудшение российско-европейских отношений после событий 2014 г. значительно расширило возможности для маневра в исторической политике для стран Восточной Европы. Хотя не все украинские инициативы в сфере политики памяти вызывают одобрение в Европе¹, тем не менее она преимущественно смотрит сквозь пальцы на кампании и решения, которые раньше воспринимались как подрывающие отношения с Россией.

Необходимо отметить, что другой элемент европейской политики памяти, сфокусированный на Холокосте, также оказывает влияние на местную историческую политику. Несмотря на то что его влияние после формирования и принятия противоречащего ему нового нарратива ослабло, так или иначе коммеморация Холокоста остается частью репертуара, который европейские структуры ожидают от членов «европейской семьи». Это позволяет восточно-европейским режимам использовать коммеморацию Холокоста в качестве «дешевого» (по сравнению со структурными реформами) способа легитимации и поднятия своего имиджа в глазах западных партнеров. Коммеморация Холокоста становится во многом ритуальным действием. Общий репертуар украинских и молдавских властей сводится к публичным декларациям, мероприятиям, связанным с Днем памяти жертв Холокоста 27 января (в Молдове – с

¹ В некоторых случаях, как в Польше, принимаемые в Украине решения вызывают резкую негативную реакцию и ответные меры.

2016 г.), открытию памятников и музеев. Однако все эти действия преимущественно не предусматривают признания ответственности собственного народа за эту трагедию, что было изначальным фундаментальным элементом тенденции общеевропейской ответственности в политике памяти. В Украине закон «о правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке» [Про правовий статус та вшанування пам'яті борців... 2015] фактически исключил из обсуждения возможных участников антиеврейского насилия многих местных акторов. В свою очередь, в Молдове даже декларация 2016 г. о принятии финального рапорта комиссии Эли Визеля, которая изучала ответственность румынских властей за Холокост в середине 2000-х годов, не подразумевала признания ответственности собственного народа. Молдавский парламент ограничился тактичным упоминанием «нацистов и их коллаборантов». Таким образом, хотя в последние годы коммеморация Холокоста активно эксплуатируется украинскими и молдавскими властями, прежде всего для внешнеполитических целей, на внутренней арене это не приносит им каких-либо значительных политических потерь, которые могли принести вопросы ответственности местных акторов. Ответственность за Холокост возлагается на внешний фактор, «нацистов» и иногда даже на Советский Союз. Еврейская трагедия в таком нарративе нередко растворяется в общей трагедии населения территории конкретного государства, которое становится жертвой внешних «тоталитарных» сил. В немалой степени это последствие закрепления на общеевропейском уровне тенденции самовиктимизации.

Заключение

Формирование двух противоречащих друг другу направлений в европейской политике памяти создало пространство для маневра для руководства стран, которые объявили европейскую интеграцию своей геополитической целью. В целом элементы общеевропейской политики памяти умело используются местным руководством в качестве дополнительного аргумента для легитимизации собственной исторической политики. Форма наполняется содержанием, необходимым для достижения собственных внутриполитических и внешнеполитических целей. Вместо того чтобы слу-

жить объединяющим фактором, как это изначально задумывалось, европейская политика памяти нередко становилась одним из элементов, провоцирующих внутренний конфликт в Украине и Молдове. Коммеморация Холокоста на государственном уровне в обеих странах в значительной степени стала ритуальным поверхностным действием, не предусматривающим признания ответственности собственного народа. Соответствием, пусть поверхностным и ритуальным, европейским нормам памяти, пытаются нередко скрыть несоответствие им с точки зрения политических и экономических реформ.

В свою очередь, в условиях неоднозначного отношения к советскому прошлому в Украине и Молдове осуждение тоталитарных режимов стало удобным инструментом для внутривнутриполитической борьбы. В Молдове пик использования этого аргумента пришелся на первую половину 2010-х годов, когда Партия коммунистов была основной оппозицией правящему режиму. В Украине это стало особенно актуальным после Евромайдана и последовавших событий, когда осуждение тоталитарных и, прежде всего, коммунистического режима стало одним из ключевых элементов государственной борьбы с культурой памяти, которая идеологически или повседневно в той или иной мере связана с советским прошлым. В обоих случаях, хоть и в разных конфигурациях и пропорциях, сохраняется раскол в геополитических предпочтениях и культурах памяти. Отказ европейских структур от жесткой позиции по продвижению тенденции общеевропейской ответственности и релятивизация этого посыла в рамках тренда самовиктимизации создают противоречивые ориентиры. В какой мере такая эволюция политики ЕС углубляет расколы в культурах памяти на европейском и околоевропейском пространстве, предстоит узнать в будущем. На данный момент приходится говорить скорее о достаточно успешном утилитарном использовании местными акторами европейской политики памяти в собственных целях, чем о торжестве «европейских ценностей».

Список литературы

Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.

- Геополитические ориентации граждан Украины: Устойчивое и изменчивое последних лет (февраль 2012 – февраль 2015). – 2015. – Режим доступа: <http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=507&page=1> (Дата посещения: 28.03.2018.)
- Касьянов Г. «Национализация» истории в Украине // Историческая политика в XXI веке / Под ред. А. Миллера, М. Липмана. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 217–255.
- Касьянов Г. Danse macabre: Голод 1932–1933 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті – початок 2000-х). – Київ: Наш час, 2010. – 271 с.
- Касьянов Г. К десятилетию Украинского института национальной памяти (2006–2016). – 2016. – Режим доступа: <http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/1755-georgij-kas-yanov-k-desyatiletiju-ukrainskogo-institutu-natsional-noj-pamyati-2006-2016> (Дата посещения: 24.03.2018.)
- Конституционный суд. Постановление № 12 от 04.06.2013 о контроле конституционности некоторых положений, касающихся запрещения коммунистической символики и пропаганды тоталитарных идеологий (Обращение № 33 а/2012). – Режим доступа: <http://lex.justice.md/ru/349032/> (Дата посещения: 28.03.2018.)
- Конституционный суд. Постановление № 17 от 12.07.2010 о контроле конституционности Указа № 376-V от 24 июня 2010 года об объявлении дня 28 июня 1940 года Днем советской оккупации. – Режим доступа: <http://lex.justice.md/ru/335354/> (Дата посещения: 28.03.2018.)
- Миллер А.И. Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти // Полития. – М., 2016. – № 1. – С. 111–121.
- Парламент Республики Молдова. Постановление № 191 от 12.08.2012 об исторической и политико-правовой оценке тоталитарного коммунистического режима в Молдавской Советской Социалистической Республике. – Режим доступа: <http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=344634&lang=2> (Дата посещения: 28.03.2018.)
- Президент Республики Молдова Владимир Воронин встретился с г-жой Элисон Карделл – руководителем группы экспертов Совета Европы, работающих над разработкой и внедрением курса всеобщей истории Молдовы. – 2003. – 18 февраля. – Режим доступа: <http://89.32.231.202:8080/press.php?p=1&s=902&lang=rus> (Дата посещения: 28.03.2018.)
- Президент Республики Молдова Владимир Воронин и Генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер приняли участие в торжественном открытии Центра образовательных инноваций, созданного при поддержке СЕ. – 2003. – 5 ноября. – Режим доступа: <http://89.32.231.202:8080/press.php?p=1&s=1409&lang=rus> (Дата посещения: 28.03.2018.)
- Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру. Постанова Верховної Рада України 05.07.2011. – Режим доступа: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3560-17> (Дата посещения: 28.03.2018.)
- Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Закон України. – 2015. – 09.04. – Режим доступа: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/317-19> (Дата посещения: 28.03.2018.)

- Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті Закон України. – 2015. – 09.04. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/314-19> (Дата посещения: 28.03.2018.)
- Финкель Е. В поисках «потерянных геноцидов»: Историческая политика и международная политика в Восточной Европе после 1989 г. // Историческая политика в ХХІ веке / Под ред. А. Миллера, М. Липмана (ред.). – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 292–327.
- Crowther W. Moldova, Transnistria and the PCRM's turn to the West // East European quarterly. – Boulder, Colorado, 2007. – Vol. 41, N 3. – P. 273–304.
- Cusco A., Voronovici A. The «politics of memory» and «historical policy» in Post-Soviet Moldova and Transnistria: Competing narratives and uses of an uncertain past // ІСТОРІЯ, ПАМ'ЯТЬ, ПОЛІТИКА: Збірник статей / Г. Касьянов, О. Гайдай. (ред.). – Київ: Інститут історії України НАН, 2016. – С. 155–198.
- European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism. – 2009. – Mode of access: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0213+0+DOC+XML+V0//EN> (Accessed: 25.03.2018.)
- European Parliament resolution of 25 February 2010 on the situation in Ukraine. – 2010. – Mode of access: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0035+0+DOC+XML+V0//EN> (Accessed: 25.03.2018.)
- Fără termen de prescripție. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa / Coord. Sergiu Musteașă, Igor Cașu. – Chișinău: Cartier, 2011. – 792 p.
- Himka J-P. Debates in Ukraine over nationalist involvement in the Holocaust, 2004–2008 // Nationalities papers. – Levittown, PA, 2011. – Vol. 39, N 3. – P. 353–370.
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova (nr. 217) «Cu privire la unele măsuri de îmbunătățire a studierii istoriei», 22.02.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – Chișinău, 2002. – 16 martie, N 39. – art. 346.
- International forum «Let my people live!», 27 September 2006. Viktor Yushchenko's Address. – 2006. – Mode of access: http://www.worldholocaustforum.org/eng/past_events/2/speech/Yushchenko.php (Accessed: 25.03.2018.)
- Klymenko L. World War II or Great Patriotic War remembrance? Crafting the nation in commemorative speeches of Ukrainian presidents // National identities. – Abingdon, 2015. – Vol. 17, N 4. – P. 387–403.
- Korosteleva E. The European Union and its Eastern neighbors: Towards a more ambitious partnership? – L.: Routledge, 2012. – 188 p.
- Musteașă S. Educația istorică între discursul politic și identitar în Republica Moldova. – Chișinău: Pontos, 2010. – 354 p.
- Narvselius E. The «Bandera Debate»: The Contentious legacy of World War ii and liberalization of collective memory in Western Ukraine // Canadian Slavonic papers. – Toronto, 2012. – Vol. 54, N 3/4. – P. 61–83.
- Osipian A.L., Osipian A.L. Regional diversity and divided memories in Ukraine: Contested past as electoral resource, 2004–2010 // East European politics and societies. – Berkeley, 2012. – Vol. 26, N 3. – P. 616–642.

- Radonić L.* Post-Communist invocation of Europe: Memorial museums' narratives and the europeanization of memory // *National identities*. – Abingdon, 2017. – Vol. 19, N 2. – P. 269–288.
- Rudling P.A.* The cult of Roman Shukhevych in Ukraine: Myth making with complications // *Fascism*. – Leiden, 2016. – Vol. 5, N 1. – P. 26–65.
- Rudling P.A.* The OUN, the UPA and the Holocaust: A study in the manufacturing of historical myths. – Pittsburgh: Center for Russian and East European Studies: Univ. of Pittsburgh, 2011. – 72 p. – (The Carl Beck papers in Russian & East European Studies; N 2107.)
- Shevel O.* No way out? Post-Soviet Ukraine's memory wars in comparative perspective // *Beyond the Euromaidan: Comparative perspectives on Advancing reform in Ukraine* / H.E. Hale, R.W. Orttung (eds). – Stanford, Calif.: Stanford univ. press, 2016 b. – P. 21–40.
- Shevel O.* The battle for historical memory in postrevolutionary Ukraine // *Current history: A journal of contemporary world affairs*. – Philadelphia, 2016 a. – P. 258–263.
- Stockholm Declaration. – 2000. – Mode of access: <https://www.holocaustremembrance.com/stockholm-declaration> (Accessed: 25.03.2018.)
- Vilnius Declaration of the OSCE Parliamentary Assembly and Resolutions Adopted at the Eighteenth Annual Session 2009. – 2009. – 70 p. – Mode of access: <https://www.oscepa.org/documents/all-documents/annual-sessions/2009-vilnius/declaration-6/261-2009-vilnius-declaration-eng/file> (Accessed: 25.03.2018.)
- Yurchuk Y.* Reclaiming the past, confronting the past: OUN–UPA memory politics and nation-building in Ukraine (1991–2016) // *War and memory in Russia, Ukraine and Belarus* / J. Fedor et al. (eds). – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2017. – P. 107–137.

А.А. ПЛЕХАНОВ*

РАЗРУШЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА СОВЕТСКОГО СИМВОЛИЧЕСКОГО ГОСПОДСТВА В ПОСТСОВЕТСКОЙ УКРАИНЕ¹

Аннотация. Статья посвящена анализу процесса декоммунизации в постсоветской Украине. Автором рассматриваются основные этапы декоммунизации, отношение к данному процессу государства и общества. Отдельно исследуются основные типы изменения названий, по которым «декоммунизировались» имена населенных пунктов. Важную роль в данном процессе сыграл Украинский институт национальной памяти, ставший инициатором так называемых мемориальных законов и куратором их последующей реализации. Сосуществование в публичных пространствах населенных пунктов советского символического наследия и символов независимой Украины закончилось наполнением советских символов новым значением. Советское наследие было маркировано как форма присутствия России в роли врага внутри страны. Таким образом, после 2013 г. советское прошлое оказалось под угрозой уничтожения, символической национализации либо коммеморации в качестве «тоталитарного искусства».

Ключевые слова: Украина; декоммунизация; историческая политика; «мемориальные законы»; советское наследие; Евромайдан; памятники; Ленин.

Для цитирования: Плеханов А.А. Разрушение пространства советского символического господства в постсоветской Украине // Политическая наука. – М., 2018. – № 3. – С. 231–263. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.10

*** Плеханов Артемий Александрович**, младший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия), e-mail: plekhanov.art.alex@gmail.com

Plekhanov Artemiy, Institute of Ethnology and Anthropology, RAS (Moscow, Russia) e-mail: plekhanov.art.alex@gmail.com

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01589) в Институте научной информации по общественным наукам РАН.

© Плеханов А.А.

DOI: 10.31249/poln/2018.03.10

A.A. Plekhanov
Decommunization process in post-Soviet Ukraine

Abstract. The article is devoted to the analysis of the decommunization process in post-Soviet Ukraine. The author explores the main stages decommunisation, attitude to this process authorities and society. In this study, several basic models were identified according to which the names were changed. An important role in this process was played by the Ukrainian Institute of National Memory, which became the initiator of so-called «memorial laws» and their subsequent implementation. The coexistence in the public spaces of the Soviet symbolic heritage and the symbols of independent Ukraine ended in the overflowing of Soviet symbols with a new meaning. Soviet symbols were labeled as a form of Russia's presence as an enemy within the country. Thus, after 2013 the Soviet past was threatened with destruction, symbolic nationalization, or commemoration as a «totalitarian art».

Keywords: Ukraine; decommunization; historical policy; memorial laws; soviet legacy; Evroimaydan; Monuments; Lenin.

For citation: Plekhanov A.A. Decommunization process in post-Soviet Ukraine // Political science (RU). – M., 2018. – N 3. – P. 231–263. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.10

Для национального и государственного строительства прошлое, история, «народная память» обладают важным, зачастую сакральным значением. Политики, философы и поэты рассказывают о великом прошлом своего народа, используя эти образы для формирования чувства единства и направления энергии масс на достижение представляющихся им важными целей. При этом историческая память символически опосредована, т.е. она отделяется от живых носителей и представляется в виде символов, артефактов, медиаторов, практик и институций [Ассман, 2014, с. 32–34]. Контролировать ее и властвовать над ней пытаются различные политические силы, главная из которых – государство, стремящееся к реализации монополии на символическое насилие через систему образования, финансирование науки, музеев и архивов, через контроль над календарем, систему распространения информации и иные формы влияния и контроля над репрезентацией коллективной памяти [Бурдые, 2007, с. 92–93].

В данной статье мы обращаемся к политическим практикам, направленным на конструирование и утилитарное использование исторической памяти и других форм коллективных представлений о прошлом и его воспроизводстве, реализуемых в контексте интересов политических игроков разных уровней, культурных индуст-

рий, а также профессиональной историографии [Касьянов, 2016 а]. Таким образом, история выступает как политика или, можно сказать, историческая политика [Тишков, 2011, с. 9]. Проблема выработки понятийного аппарата для описания действий политических акторов в отношении таких объектов, как история и память, обсуждается и зарубежными, и отечественными учеными. Как отмечает О.Ю. Малинова, подобная инструментализация в качестве объекта изучения в разных исследованиях получает разные наименования: «историческая политика», «политика прошлого», «политика памяти», «история памяти», «политическое использование истории», «режимы памяти», «культура памяти», «игры памяти», «символическая политика» [Малинова, 2015, с. 17]. В данной работе под инструментализацией истории и исторической политикой будет пониматься особая конфигурация практикуемых политическими элитами методов, которые объединяет «использование государственных административных и финансовых ресурсов в сфере истории и политики памяти в интересах правящей элиты» [Миллер, 2012, с. 18–19]. Подобным процессом, тесно сцепленным с исторической политикой, стала декоммунизация и – шире – разрушение советской культурно-знаковой гегемонии и ее замещение национальными символами.

Разрушение гегемонии советской версии рассказа о прошлом начинается еще в период перестройки. Общий контекст данного периода характеризуется большим вниманием к прошлому, актуализацией общественного внимания по поводу так называемых белых пятен и начинающейся десоветизации в символическом пространстве. В конце 1980-х годов ряду городов УССР, по инициативе местных властей, возвращаются старые исторические названия. С 1989 по 1993 г. прежние названия возвращены таким населенным пунктам, как: Мариуполь, Луганск, Змиёв, Алчевск, Соледар, Сартана, Радивилов и ряду других.

Вместе с этим начинается первая волна демонтажа советских памятников, которая проходит главным образом в областях Западной Украины. Первым городом Украины, где в период перестройки был демонтирован памятник Ленину, стал г. Червоноград (Львовская область, ныне г. Кристинополь). В течение 1990–1992 гг. было убрано большинство памятников Ленину во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, а также подавляющее большинство монументов в Закарпатской, Ровненской,

Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях [Кудинов, 2018]. Знаковым событием этого периода стало решение Киевской городской рады о демонтаже монумента «Великой Октябрьской социалистической революции» в сентябре 1991 г. Этому предшествовало переименование площади Октябрьской революции в площадь Независимости (Майдан Незалежності). Характерной особенностью этого периода является тот факт, что инициативы демонтажа и переименования исходили, в большинстве случаев, от местной власти, городских рад, а не от центральных властей.

В период двух президентских сроков Л.Д. Кучмы власть стремилась не обострять лишними символическими жестами ситуацию, и без того накаленную социально-экономическими и политическими кризисами переходного периода. Вместе с тем в 2000 г. из числа выходных дней были исключены дни памяти Октябрьской революции 7 и 8 ноября. Таким образом, было удалено ключевое для советского историописания и летоисчисления событие, отменен самый идеологически значимый и наполненный советской символикой праздник [Проект Закону про внесення змін до... 2000].

В период президентства В.А. Ющенко декоммунизация и демонтаж советских памятников происходили в контексте реализации программы по увековечиванию Голодомора как центрального исторического мифа. В рамках указа от 25 сентября 2008 г. «О мероприятиях в связи с Днем памяти жертв голодоморов», приуроченному к 75-й годовщине событий голода 1932–1933 гг., «с целью достойного чествования памяти жертв геноцида Украинского народа» областным государственным администрациям, помимо презентаций книги памяти жертв Голодомора, открытия мемориалов и памятных знаков, было дано указание активизировать работы по демонтажу памятников и памятных знаков лицам, причастным к организации «Голодомора 1932–1933 гг. и политических репрессий», а также по соответствующему переименованию улиц, площадей, проспектов, парков и скверов в населенных пунктах.

В 2007–2008 гг., по оценке В.А. Ющенко, было переименовано более 3 тыс. топографических объектов, демонтировано более 400 памятников советского периода «организаторам Голодомора, политических репрессий 1937–1941 годов». В 2009 г. был издан указ «О дополнительных мерах по чествованию памяти

жертв Голодомора 1932–1933 гг. в Украине», который требовал от культурных и образовательных учреждений увеличить количество мероприятий по пропаганде истории голода 1932–1933 гг. как Голодомора-геноцида, а от местных и региональных властей – обеспечить демонтаж памятников и городских объектов, посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению голодоморов и политических репрессий в Украине, что дублировало указ 2008 г.

Большинство представителей местного самоуправления и областных властей, учитывая то, что финансовые тяготы по исполнению указов были переведены на местный и региональный уровень, игнорировали и саботировали решения президента. Следует отметить, что данный указ не был отменен последующей администрацией В.Ф. Януковича и стал стартовой законодательной базой, в рамках которой было оправдано уничтожение советских памятников, начавшееся в конце 2013 г. и достигшее своего апогея в 2014 г.

Война памятников

Всего можно выделить несколько этапов, в ходе которых менялась правовая оценка действий по демонтажу советской монументальной пропаганды, названной рядом исследователей «войной памятников» [Полешук, 2008; Касьянов, Миллер, 2011, с. 45]. Несмотря на то что демонтаж и установка памятных знаков и монументов активно использовались как политический ход уже с конца 1980-х – начала 1990-х годов, особую актуальность эта политическая практика приобрела во время президентства В.А. Ющенко.

На *первом этапе*, совпадающем с президентским сроком В.А. Ющенко, избирательно демонтировались немногочисленные памятники советского периода из числа наиболее заметных. Регулярно собирались противники сноса, в том числе члены Коммунистической партии Украины (КПУ), что затрудняло процесс и давало информационный повод выступить лево-популистским политическим движениям. В 2009 г. был демонтирован памятник Власу Чубарю в Киеве, при этом памятники в г. Краматорске и с. Чубаревке (названном в его честь) на тот момент оказались нетронутыми, что ярко характеризует противоречивую ситуацию, сложившуюся в данный период. В этот период появляется новое для Украины явление – установка памятников жертвам ОУН-УПА в восточных и

южных областях Украины. Эти монументы появились в ответ на кампанию по демонтажу советских памятников и установке мемориальных знаков в память о Голодоморе, воспринимающихся не как места памяти о трагедии, а как средства политической манипуляции историей – взаимодействие с местами памяти жертв Голодомора трактовалось как политическая идентификация с проющенковскими силами. В 2008 г. в сквере имени Молодой гвардии г. Луганска был заложен, а в 2010 г. воздвигнут памятник жителям Луганщины, павшим от рук карателей-националистов из ОУН-УПА [В Луганске открыли... 2010]. В сентябре 2007 г. в АР Крым был установлен памятник «Выстрел в спину» – как гласит надпись на монументе, «в память о жертвах советского народа, павших от рук пособников фашистов – вояк ОУН-УПА и других коллаборационистов». В июне 2008 г. в г. Сватово Луганской области был открыт памятник сватовчанам, погибшим от рук воинов ОУН-УПА [Сегодня в Сватово... 2008]. В том же месяце, в родной для В.А. Ющенко Сумской области, была открыта памятная плита мирным гражданам, погибшим от рук Украинской повстанческой армии [На родине Ющенко... 2008]. Несанкционированное разрушение памятников в этот период вызывает оперативные расследования и судебные разбирательства. Так, в случае взрыва памятника Ленину в г. Рубежное Луганской области найденный преступник получил срок за хулиганство [В Луганской области... 2009].

Второй этап «войны памятников», совпадающий с периодом президентства В.Ф. Януковича, характеризуется отказом поддержкой верховной властью идеи демонтажа памятников и в целом реакционной политикой по отношению к предыдущему периоду. Происходит попытка откатить назад те изменения в отношении памятников, которые уже были сделаны. Так, в Одесской области были восстановлены шесть ранее демонтированных памятников Ленину и несколько других советских памятников, последний из них – в декабре 2013 г. [Одесситы восстановили первый... 2013]. При этом продолжают атаки на памятники Ленину и другим деятелям советской власти [Как Ильича свергают... 2013]. Подобные действия пресекаются в судебном порядке. Фигуранты уголовного дела о взрыве памятника Сталину, установленного членами местной ячейки КПУ, члены радикального националистического объединения Тризуб им. Степана Бандеры, были приговорены к двум-трем годам условного срока лишения свободы с испытательным сроком и возмещению ущерба около

110 тыс. гривен [«Тризубовцам», взорвавшим Сталина... 2011; В Запорожье восстановили... 2011]. К шести годам лишения свободы были приговорены члены ультраправой организации «Патриот Украины» по обвинению в терроризме за подготовку взрыва памятника Ленину в аэропорту Борисполя [На Украине выпустили... 2014]. Вместе с тем за год до начала массового демонтажа советской символики и советской топонимики оказалось в 20 раз больше, чем названий, связанных с постсоветской Украиной [Як позбутися радянської... 2013].

Третий этап длился с конца 2013 г. до 9 апреля 2015 г. События украинского политического кризиса 2013–2014 гг. привели к смене власти и серьезным изменениям по отношению к символам прошлого. Активное участие в этом принимали оппозиционные организации, ассоциирующие себя с Евромайданом, а также и ультраправые движения, такие как партия «Свобода», «Правый сектор» и локальные националистические сообщества, при поддержке ряда высокопоставленных лиц [Гайдай, Любарец, 2016, с. 32–35]. Это период массового сноса памятников, когда участники разрушения де-юре нарушают закон, но де-факто система юстиции не выносит судебные решения о наказании вандалов, и в целом дела на правонарушителей перестают возбуждаться (рис. 1) [Кудинов, 2018].

Рис. 1

Количество демонтированных памятников Ленину на Украине в период 2013–2016 гг. По данным мониторинга «Ленинопад» сайта «Памятники Ленину»

Четвертый этап начинается 9 апреля 2015 г., когда Верховная рада Украины принимает пакет из четырех так называемых «мемориальных» законов, выводя снос памятников в легальное поле. Основная функция этого пакета законов заключалась в вытеснении из пространства городов символов советского прошлого и уничтожении присутствия истории России на территории Украины [Касьянов, 2016, с. 34]. Ключевым из них для правового обоснования процесса декоммунизации стал закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики». Данный закон легитимировал уничтожение символов советской власти, в том числе и в городской топонимике, и законодательно закрепил уголовное преследование за демонстрацию в общественных пространствах коммунистической символики и атрибутики [Закон України Про засудження... 2015]. Этот нормативно-правовой акт был принят Верховной радой по инициативе Украинского института национальной памяти [Лист Мін'юсту від... 2016]. Этим же институтом был составлен список и выпущен сборник материалов и рекомендаций по реализации данного закона, в нем приведен перечень исторических персон и названий «коммунистического тоталитарного режима», подпадающих под действие закона, ставший планом декоммунизации [Декомунізація: що і... 2015]. Данный список включил в себя 540 исторических персон, где помимо имени и годов жизни были указаны исторические факты с описанием «преступлений упомянутых лиц».

Модели декоммунизации названий населенных пунктов

Около половины лиц списка не были причастны к истории Украины. Большая доля всех деятелей, 37% (здесь и далее от общего числа), – это исторические персоны, чья деятельность связывается с Советским Союзом или с РСФСР. Доля персон, связанных с другими республиками СССР, составляла 5%, иностранных деятелей – 4%. Говоря о личностях, причастных истории Украины, можно выделить определенный перевес доли, связанной с востоком и центром страны. 16% членов списка – с Донбассом, 10 – с Днепропетровской областью, 7 – с Харьковской, 5 – с Киевом и Киевской областью, 3% – с Черниговской областью. Другие исто-

рические персоны, связанные с иными областями Украины, вместе составили не более 8% от общего числа. Доля исторических персон, связанных в целом с УССР (без привязки к какой-либо области), составляла 4,8% (табл. 1). При составлении списка явно отразилась установка украинского этнонационализма на демонтаж мест памяти и символов, связанных с памятью русскоязычного и русского населения страны, для которых советская идентичность и положительное отношение к России гораздо сильнее, чем для других групп украинцев.

Таблица 1

**Исторические персоны, подпадающие под закон
о декоммунизации и связанные с определенной
территориальной единицей (% от общего числа)**

Регион	Число исторических персон, подпадающих под закон о декоммунизации (% от общего числа)
Деятели, связанные с РСФСР и с союзным центром в целом	39,9
Донбасс	16,8
Днепропетровская область	10,4
Харьковская область	7,7
Киев и Киевская область	5,8
Деятели Республик СССР (исключая РСФСР)	5,0
Деятели УССР, не привязанный к какой-то конкретной области	4,8
Иностранные деятели	4,6
Черниговская область	3,1
Другие области Украины	8,3

Можно выделить несколько основных групп исторических персон в соответствии со вменяемыми им обвинениями. Первая и самая многочисленная группа – это участники Октябрьской революции и Гражданской войны на стороне большевиков (50%). Исключением «красных» был переформатирован рассказ о революции и Гражданской войне. Разрушение оппозиции «красные vs белые» закрепляет ориентацию на нарратив национального освобождения, в котором деятелям Украинской народной республики, Западно-Украинской Народной Республики, Гетманской державы противостояли красные и белые оккупанты. Вторая по численно-

сти группа – деятели ВКП(б), КПСС, Советов народных депутатов и те, чьи должности были связаны с политической деятельностью (19%). На третьем месте – деятели спецслужб: ЧК, ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, а также работники судопроизводства РСФСР и СССР (18%). Работники хозяйственной сферы составили 5% и практически столько же (4%) – культуры и искусств (табл. 2).

Таблица 2

**Основания для включения исторических личностей
в список УИМП, согласно которому названия, связанные
с ними, должны быть переименованы (% от общего числа)**

Обоснование включения в список	Число исторических личностей	(% от общего числа)
Участник военных действий в период Гражданской войны на стороне красных	260	50,1
Деятель ЧК – ВЧК – ОГПУ – НКВД – КГБ / Органов суда и судопроизводства СССР	92	17,7
Причастен к реализации Голодомора и репрессий	14	2,7
Деятель хозяйственной сферы	29	5,6
Деятель культуры, прославлявший советский период	19	3,6
Политические руководители и деятели ВКП (б), КПСС, Советов народных депутатов	100	19,2
Другие	5	1

В 2015 г. УИМП назначил к переименованию 871 населенный пункт, в 2016 г. список увеличился до 988. Постановления о переименовании населенных пунктов принимались в течение всего 2016 г. Первое постановление о переименовании 173 населенных пунктов было принято Верховной радой 4 февраля 2016 г. Следующим постановлением от 17 марта 2016 г. был переименован 151 населенный пункт. В мае 2016 г. несколькими постановлениями было переименовано 579 населенных пунктов. Как отмечает директор УИМП В.М. Вятрович, к маю 2017 г. большая часть объектов, подлежащих декоммунизации, была переименована: «...987 населенных пунктов, среди них 32 города, среди них 2 областных центра. В городах переименованы почти 52 000 улиц, точнее, 51 493... Но это, в основном, более 90%, я думаю, что в этом во-

просе декоммунизация завершена. Демонтировано 2389 памятников вождям тоталитарного прошлого. Среди них 1320 – Ленину»¹.

Названия населенных пунктов изменялись по нескольким моделям. Первую можно обозначить как «изъятие советского». Ее суть заключается в удалении беспокоящего и связанного с советским прошлым символа, при этом часть советского названия может оставаться неизменной. Эта модель изменения названий позволяет обозначить, что именно маркируется как «советское». Помимо очевидных имен политических деятелей, терминов «советский» и «коммунистический» сюда могут входить вещи различных категорий – красный цвет, знамена, колхозы и др. (табл. 3).

Таблица 3

Модель декоммунизации названия – «изъятие советского»

Прежнее название	Новое название
Дніпропетровськ	Дніпро
Червона Українка	Українка
Червоний Київ	Київ
Червонозаводське	Заводське
Колгоспна Гора	Гора
Красні Окни	Окни
Зоря Комунізму	Зоря

Вторая модель, которую можно обозначить как «кардинальная смена имен», предполагает изменение названий населенных пунктов на совершенно новые. В рамках этой модели существует несколько основных тенденций.

Во-первых, это закрепление новых исторических периодов или переформатирование памяти о прежних. Так, на смену советскому мифу о революции и Гражданской войне приходит новый миф, затрагивающий период, обозначаемый в украинской историографии как Украинская революция 1917–1921 гг.: в рамках декоммунизации четыре села переименованы в честь деятелей, связанных с этим историческим периодом. Семь сел были переименованы в честь погибших участников «Антитеррористической операции» на

¹ Полевой материал экспедиции автора в г. Киев, 25.05.2017. Вятрович Владимир Михайлович – директор Украинского института национальной памяти, 1977 г. р., выступление в Дискуссионном клубе координационной рады «Реанімаційний пакет реформ».

востоке Украины, создавая тем самым миф о войне с Россией и навязывая культ ее «героев». Также среди новых популярных названий для сельских поселений – «Украинское», «Шевченковское», «Козацкое» [Декомунізація... 2018].

Во-вторых, изменение названий идет путем нейтрализации советского, через обращение к природно-географическим объектам и символам. Подобная стратегия может в каждом отдельном случае решать разные задачи. С одной стороны, это самый простой и нейтральный способ изменить название с советского на любое иное. С другой стороны, принятие этих названий было попыткой не допустить возвращения исторических названий населенных пунктов, как в случае с Днепропетровском, переименованным в Днепр (до революции Екатеринослав), Комсомольском, переименованным в Горішні Плавні (до революции Старониколаевск), Кировоградом, переименованным в Кропивницький (до революции Елизаветград) и др. Также это способ недопущения идеологически заряженных названий, связанных с героями националистического украинского исторического нарратива. Так, благодаря декоммунизации появилось 22 села Вишневых, 13 Калиновок, 10 Лесных и 27 Степных.

Третью модель декоммунизации названий определим как «возвращение к историческим названиям». Она была реализована с большими оговорками, так как изначально содержала в себе несколько потенциальных проблем (табл. 4). Как уже было отмечено, исторические названия совершенно не вписываются в современную украинскую политику, которая оставляет за скобками русских и советских исторических деятелей, действовавших на территории Украины, что обозначается представителями власти как воспроизводство колониальных социальных практик и практик говорения [Институт нацпамяти... 2015].

В пояснительной записке к законопроекту № 3368 «О внесении изменений в Закон “О географических названиях”» предлагалось запретить называть населенные пункты именами российских монархов, государственных, политических, военных деятелей в период XIV–XX вв., дабы «не допустить пропаганды империалистического порабощения Украины», так как это «может способствовать намерениям присвоить ее [Россией] территории» [Проект Закона про... 2018]. Данный законопроект был отправлен на доработку, но ввиду складывающихся тенденций его принятие ожи-

даемо. Вместе с тем обозначена тенденция возвращения к нейтральной исторической топонимике. Эта модель переименований вызывает позитивное отношение у горожан и культурных деятелей:

«Видел все улицы, которые должны быть переименованы... Мне нравится, что многие улицы в Черновцах получили названия людей, непосредственно связанных с нашим регионом. Очень положительно отношусь. Мог быть какой-нибудь маршал Жуков и везде улицы с его названием. Это неправильно. А хотелось бы не только сказать, что это был маршал, а сказать как-то более восторженно. Что вот это наш земляк, сделал то-то-то...»¹.

«Но там как бы надо избегать расколов. Называть можно Фруктовая, Радостная, Солнечная, Абрикосовая, какая угодно... В нашем с вами понимании да. Но у нас, Маркса переименовали в Иваницкого. Он много сделал для города. Кирова – в Олександра Поля. Человека, который фактически строил наш город. Это классно, что такие имена возвращаются. С одной стороны, мне это приятно. Но, с другой стороны, Маркса так бедного козлить не за что. Он попал под общую раздачу»².

Таблица 4

**Модель декоммунизации названия –
«возвращение к историческим названиям»**

Прежнее название	Новое название
Фрунзовка	Захарьевка
Днепродзержинск	Каменское
Червоноград	Кристинополь
Червоноармейск	Пулины

Следует отметить, что политика декоммунизации и конфликт на востоке страны привели к усилению дерусификации. Подобные практики изменения названий, ассоциирующихся с Россией, не являются законодательно обязательным действием, в отличие от декоммунизации. В дискурсе украинских СМИ и политиков дерусификация представляется естественной, направленной на унич-

¹ Полевой материал экспедиции автора в г. Черновцы, Украина, 8.04.2017 г. Я.А., 1996.

² Полевой материал экспедиции автора в г. Киев (Днепропетровск), 24.05.2017 Я.В., 1963 г. р.

тожение следов взаимодействия с Россией, которая маркируется как вневременной враг. Законодательное закрепление такого подхода связано со сложностями нормативного определения, но в целом, как отмечает директор УИИП, это не столь необходимо:

«N.N.: Скажите, пожалуйста, видите ли вы возможность, не то что там декоммунизации 2.0, деимпериализации. Потому что есть много не только коммунистических воздействий в Украине, но и имперских. И об этом тоже, наверное, стоит говорить очень открыто.

В.В.: Раз жители Кропивницкого поднялись. Вопрос деимпериализации очень важен для этого города. Потому что очень трудно на самом деле было бороться и отстаивать невозвращение к Елисаветграду. Потому что, я считаю, что это был бы такой один из очень мощных маркеров как раз российского имперского влияния на Украину... Но однозначно можно сказать, что процесс запущен. Что люди, которые приняли участие в декоммунизации, вошли “во вкус хозяина”. И переименовывают те темы, которые не являются... не подпадают под декоммунизацию. В Киеве уже нет ни улицы Кутузова, ни улицы Суворова. Они не подпадают под декоммунизацию. Нужно будет какое-то специальное законодательное поле. Я пока не представляю даже, как это прописать»¹.

Правительство Украины поддерживает позицию дистанцирования и забвения общей с Россией истории. Существует запрос на историческое прошлое, которое соответствовало бы нынешнему состоянию отношений с Россией. Данный запрос состоит в необходимости нахождения исторических аналогий конфликта России и Украины, чему уже посвящен ряд публицистических изданий, основная цель которых – найти войны Украины с Россией [Агресія Росії... 2016; Брехуненко и др., 2016; Середницький, 2015; Ковальчук, 2015; Гай-Нижник, 2017]. При этом дерусификация касается городских объектов, музеев, демонтажа памятников деятелям, связанным с Российской империей (табл. 5) [В Военной академии... 2015].

¹ Полевой материал экспедиции автора в г. Киев, 25.05.2017, Вятрович Владимир Михайлович, директор Украинского института национальной памяти, 1977 г. р., выступление в Дискуссионном клубе координационной рады «Реанімаційний пакет реформ».

Вместе с тем в сознании части националистически настроенных граждан дерусификация неотделима от декоммунизации:

«...Я за то, чтобы улицы носили украинские имена. Почему? Вот я останавливаюсь. Остановка на улице Ленина. И какие ассоциации? Кто такой Ленин? Для меня сейчас это никто. Переименовали в прошлом году на Соборную. Замечательно. Я за это. Потому что есть улицы, названия которых ничего не дают, а только раздражают. Волгоградское шоссе, для чего нам это? Можно Днепроградське шоссе. Или проспект Московский, для чего он нам? Лучше уж проспект Бандеры, или по крайней мере Киевский»¹.

Таблица 5

Модель декоммунизации названия «Дерусификация»

Прежнее название	Новое название
Музей русского искусства в г. Киев	Киевская национальная картинная галерея
Площ. Московская, г. Киев	площ. Демеевская
Ул. Минина и Пожарского, г. Черкассы	ул. Сосновка
Російська, с. Глибочок	ул. Успенская
В. Терешковой, с. Рудня-Городищанська	ул. Центральная
Московская, с. Гладковичі	ул. Покровская
Радищева, г. Радомишль	ул. Петра Чуйко
пер. 2-й Московский, г. Житомир	пер. Волонтерів

Четвертую модель можно назвать «символическое сопротивление декоммунизации: изменения с минимальными последствиями». Это можно описать в терминах Дж. Скотта как методы «оружия слабых» [Никулин, 2003, с. 150]. Когда социальные практики являются вынужденными, возникает симуляция изменений, языковая игра, саботаж – это особенно ярко проявилось в переименовании названий населенных пунктов. Советское символическое господство, таким образом, исчезает, и названия оказываются вышедшими из поля советской гегемонии, но при этом не подчинившимися новым требованиям современных властей Украины. Это было реализовано в ряде названий населенных пунктов (табл. 6).

¹ Полевой материал экспедиции автора в г. Киев – с. Великий Кунинець (Тернопольская область), Украина, 21.05.2017, Л.Г., 1947 г. р.

Таблица 6

**Модель декоммунизации названия «символическое
сопротивление декоммунизации: изменения
с минимальными последствиями»**

Прежнее название	«Новое название»
Петрівське	Петрівка
Володимиро-Ульяновка	Новоулянівка
Іллічівка	Ілічанка
Радсад	Радісний Сад
Червоне Знамено	Червоне
Незаможник	Заможне
Червона Зірка	Зоряне
Віленка	Вільне

Таким образом, мы видим, что среди регионов декоммунизацией оказались сильнее задеты индустриальные регионы центра и востока Украины, поддержавшие советскую власть в начале XX в. Если очертить эти области на карте, то они охватывают территорию советского образования времен Гражданской войны – Донецко-Криворожской советской республики (Донбасс, Харьковская, Днепропетровская области), а также Черниговскую область и Киев. Менее затронуты декоммунизацией области Западной Украины, где большая часть символов и артефактов советского периода демонтирована и переименована еще в начале 1990-х годов.

Восприятие декоммунизации

Как отмечает П. Бурдые, «символическая власть как власть квазимагическая, благодаря эффекту мобилизации, позволяет получить эквивалент того, что достигается силой, но лишь при условии, что эта власть признана, т.е. не воспринимается как произвол» [Бурдые, 2007, с. 95]. Данного положения добиться сложно, и периодически декоммунизация выливалась в митинги и протесты, особенно в городах, жители которых не желали навязанных сверху переименований [Жители Кировограда вышли... 2016]. Поэтому украинские власти, ввиду неспособности навязать националистический нарратив при переименовании централизованным образом всех субъектов, были вынуждены пойти на реализацию слабой апофатической программы завоевания символического простран-

ства. В ходе декоммунизации на первое место встал принцип отрицания советской концепции больше, чем навязывания своей воли. Новая повестка дня исторической политики не смогла быть полноценно осуществлена в декоммунизации топографии городов и сел ввиду ряда обстоятельств.

В общественном мнении декоммунизация вызвала негативное отношение. Так, согласно исследованию социологического агентства ФАМА, категорические противники декоммунизации – 35%, умеренно предвзятые – еще 55%, и только 10% – относительно лояльные [Українці стали менш... 2015]. В ходе полевого исследования большинство информантов высказали мнение, что сейчас не время тратить бюджетные деньги на декоммунизацию. Многие также воспринимают переименование улиц и площадей как нарушение собственного комфорта: «Не из-за памятников Украина не развивается», «Памятник Ленину не мешает воровать деньги». Подобные высказывания были зафиксированы в ходе полевой работы.

Можно выделить несколько основных позиций в оценке проведенной декоммунизации. Первая – декоммунизация проходит неудачно ввиду ошибочности формы и методов ее проведения. Информанты говорили о том, что она проходит не вовремя, без достаточной материальной базы, без последовательного плана, но они в целом с ее необходимостью согласны: «А.Т.: Опять же, если бы это все проводилось как-то по-человечески, то только – за! Но... сейчас она производится исключительно из каких-то идеологических побуждений... Казалось бы, чем вам не нравилось название улицы Красина?

А.П.: Как?

А.Т.: Красина. Красина переименовали, Фрунзе переименовали. Все попереименовывали. Россию просто вычеркнули из истории. Несмотря на ее большой вклад, как по мне. Ну, т.е. это, опять-таки, неуважение русского “комьюнити” в Украине»¹.

«В какой-то мере я отношусь к этому позитивно, потому что слишком много людей не могут отпустить коммунистический строй и перейти к демократии. Для них надо бы провести этот процесс, чтобы они оставили Советский Союз в прошлом и двигались как-то дальше, развивались. Я думаю, что процесс декоммунизации у нас устроен в принципе неправильно. Во-первых, пере-

¹ Полевой материал экспедиции автора в г. Харьков 22.06.2017, А.Т., 1996 г. р.

именовали кучу улиц, а таблички, это я уже как курьер говорю, практически нигде не поменяли, люди не знают, что улицы переименовали, они много лет живут... Улицы переименовали полгода назад, люди там живут, но они не знают новое название улицы. Вот это, я считаю, неправильно. Потому что если уже что-то переименовываєте, то сделайте это по-человечески. Название поменяли, табличку поменяли, до людей это донесли. Что еще про процесс декоммунизации могу сказать. Ну, памятники, насколько я знаю, уже давно посменяли»¹.

Другая точка зрения состоит в том, что декоммунизация проходит плохо ввиду своей недостаточности и необходимости идти дальше изменения названий улиц. Нужно «декоммунизировать сознание», но в целом декоммунизация – это благо: «Организм, который пытается оздоровиться, он, безусловно, не может в таком режиме постоянно функционировать. Нельзя быть здоровым, если у тебя в теле метастазы. Процесс выздоровления пошел, надо было, наверное, запускать раньше, но в силу разных причин мы не были готовы, не накопилось критической массы желающих внести эти изменения. Этот процесс был совершенно природный, несмотря на какие-то формы, кажущиеся части людей слишком резкими, радикальными методами. Но, возможно, что на сегодняшний [день], у нас не было другого выхода в той ситуации, которая сложилась на этой территории в связи с конфликтом на востоке. Я не уверена, что можно было сделать иначе, потому что любое проявление нерешительности в каких-то ситуациях может повлечь за собой невозможность в дальнейшем»².

«Ну, как мне кажется, она еще не завершилась. Потому что во всех городах у нас памятники еще не все изменили. Названия... Все, что происходит в сознаниях людей, да, оно как бы еще не завершено, оно еще будет идти, может быть, еще десяток лет. Но в целом все прошло нормально. Как бы в принципе переоформили, в

¹ Полевой материал экспедиции автора в г. Киев, Украина, 23.05.2017, А.Г., 1989 г. р.

² Полевой материал экспедиции автора в г. Киев 9.06.2017, Катерина Чueva, заместитель генерального директора Национального музея искусств Богдана и Варвары Ханенко, куратор коллекции искусства Древнего Египта, Греции и Рима, член правления Украинского комитета ICOM.

принципе названия уже откладываются в голове... новые. И адекватно, совершенно спокойно воспринимаются гражданами»¹.

Третья позиция состоит в том, что декоммунизация – это зло, таким путем похищается история, вымарываются неугодные личности, клеймится часть населения как неполноценные, неправильные. Фиксируется отторжение к изменению порядка вещей в населенном пункте.

«Их надо [памятники] уважать. Это – история. Я даже, честно говоря, даже не вникала, из-за чего их сносят, но меня не особо это радует. Кто-то свыше, опять-таки, там сидящие – решили так, и... [пауза и вздох]. Не знаю, зачем оно надо... Люди знают это, и будут знать. Я плохо к этому отношусь! Мне не нравится»².

Четвертая позиция состоит в том, что декоммунизация – это плохо, но даже не в силу каких-то историософских и теоретических вещей, аргументация касается недовольства материальной стороной дела:

«А.А.: Мне нравились прошлые названия. Чисто по звучанию. В смысл я как-то не вникала. Вот. И мне еще не нравится, что это в кампании. Ну, опять же, как детские забавы какие-то.

А.П.: А почему детские забавы?

А.А.: Ну, потому что это... Ну, я не знаю... Далеко не самое важное, за что стоит бороться и что нужно менять в нашей стране. А вот занимаются тем, что переименовывают улицы, и типа: “Ох, как много мы сделали!” И мне кажется это просто размусоливание какое-то... Ну, это лично мое мнение человека, который не разбирается в политике»³.

«Мне кажется, сначала нужно поднять промышленность нашей страны, науку, образование. А потом заниматься остальным»⁴.

«Н.А.: Мне, например, нравится там, где вернули какие-нибудь дореволюционные названия. Улица Молочная, вместо фамилии, которой толком никто не знает... С точки зрения удобства и функционирования города, печатания новых табличек. И название новых улиц “Небесной сотней” – столь же мимолетно, и потом кто-то опять придет и переименует... Так же, как но-

¹ Полевой материал экспедиции автора в г. Харьков 26.06.2017, А.А., 1996 г. р.

² Полевой материал экспедиции автора в г. Харьков 19.06.2017, О.О. 1994 г. р.

³ Полевой материал экспедиции автора в г. Харьков 26.06.2017, А.А., 1995 г. р.

⁴ Полевой материал экспедиции автора в г. Харьков 26.06.2017, Е.А., 1995 г. р.

вые праздники все придумывают каждый раз, точно так же все называют в честь себя улицы. И они заботятся не об улицах, и они заботятся не о праздниках, они заботятся о своем! О себе! И я не думаю, что все деньги, которые были направлены, например, на таблички, они пошли на таблички. Да и табличками занимались иногда какие-то странные ребята. Ну, в смысле, они “кривые” с точки зрения дизайна»¹.

Противоречия внутри украинской элиты и отсутствие достаточных средств для поддержки культурных индустрий приводят к тому, что политика реализуется непоследовательно, без должной финансовой поддержки. Идея парка монументальной пропаганды, который должен быть реализован в Экспоцентре Украины (бывший ВДНХ УРСР) в г. Киеве (аналоги которому есть во многих странах Восточной Европы), появилась лишь весной–летом 2017 г., притом что декоммунизация вступила в свою активную фазу еще в 2014 г. Все это показывает непоследовательное и реактивное действие властей в отношении демонтажа памятников.

Декоммунизация принимает вид радикального разрыва с советским прошлым, которое однозначно маркируется как преступное и подлежащее осуждению. В течение последних двух периодов исторической политики отношение к распаду Советского Союза характеризовалось двумя основными тенденциями. С 2010–2015 гг. число тех, кто *не* сожалел о распаде Советского Союза, выросло на 15%, достигнув своего максимума в 56% в 2015 г. и сократившись в 2016 г. на 6% (50%) (рис. 2) [Ностальгія за СРСР... 2014; Динаміка ностальгії за... 2015; Динаміка ностальгії за... 2016].

Показательна региональная динамика. С 2014 по 2016 г. наблюдается рост числа ностальгирующих – в западных областях с 8 до 18%, в центральных – с 23,5 до 39%. В то время как в областях юга, по сравнению с 2014 г., эта категория людей уменьшается на 8%, в областях востока – на 14% (рис. 3) [Ностальгія за СРСР... 2014; Динаміка ностальгії за... 2015; Динаміка ностальгії за... 2016].

¹ Полевой материал экспедиции автора в г. Харьков 26.06.2017, Н.А., 1995 г. р.

Рис. 2

Жалеете ли вы сейчас о распаде в 1991 г. Советского Союза?
(По данным исследований Социологической группы
«Рейтинг» 2010–2016 гг.)

Рис. 3

Жалеют о распаде в 1991 г. Советского Союза
(региональный разрез). (По данным исследований
Социологической группы «Рейтинг» 2014–2016 гг.)

Если ситуация 2010–2015 гг. во многом логично вписывается в реализовавшуюся историческую политику, то изменения 2016 г. связаны с тяжелым экономическим положением, ростом инфляции,

серьезным увеличением тарифов на услуги ЖКХ, а также усталостью от принудительной декоммунизации [Сенкевич, 2016].

На региональном уровне существует ряд особенностей, поскольку в центре, а особенно на западе Украины, советско-ностальгический дискурс никогда не был преобладающим. Жители этих областей не чувствуют необходимости доказывать свою «украинскость» особой «антисоветскостью», потому как национальные нарративы связывают истоки национальной культуры с традициями по преимуществу сельских центральных и западных областей Украины. Поэтому ностальгия мотивирована скорее сложным экономическим положением и вызывает среди граждан старшей и средней возрастной категорий ностальгический образ золотого века, которым выступает СССР. В то время как индустриальный юго-восток страны всегда обозначался как некий свой Другой, которому еще предстоит «нормализация» и вхождение в украинскую общность [Щербак, 2013, с. 231].

В областях юга и востока Украины следует учитывать фактор конфликта и общественно-политического дискурса вокруг него. В условиях, когда конфликт на востоке Украины подается как «отечественная война», «агрессия России», «вторжение», в СМИ происходит смысловая сцепка Российской Федерации, СССР и Российской империи как единого субъекта. Юго-восточные области, характеризующиеся в электоральном поведении традиционно консервативными, пророссийскими взглядами, оказались в сложной ситуации [Касьянов, 2016 б]. Часть жителей этих регионов, по объективным и субъективным причинам, стремятся отстраниться от своего прежнего миропонимания, которое, с одной стороны, было пересмотрено в связи с военными действиями, а с другой – маркируется в современном контексте как «бытовой сепаратизм» и может служить причиной политических репрессий [Вопросы идентичности русскоязычных... 2017, с. 16].

Заключение

Подводя итоги, можно констатировать, что разрушение и реинтерпретация советского прошлого в культурной и символической сфере, переименование городов, демонтаж памятников начались еще в период перестройки. В дальнейшем в большинстве ре-

гионов Украины, исключая западные области, процесс декоммунизации был заторможен ввиду сложного социально-экономического положения и потери советскими памятниками политически значимых свойств и семантического наполнения. При усилении политической напряженности в стране атаки на символы советского прошлого усиливались, что порождало «войну памятников», когда левые и правые политические силы при помощи спекуляции на теме памятников получали медийную известность. Но вместе с тем складывалось некое взаимное уравнивание сосуществования националистического и советско-ностальгического нарративов. События политического кризиса 2013–2014 гг. и последующий конфликт на востоке Украины обострили ситуацию, когда советские места памяти, потерявшие свое семантическое значение, получили новое символическое наполнение как формы присутствия «чужого» – России. Таким образом, советские символы маркировались как объекты, ставящие под сомнение и мешающие существовать независимому украинскому обществу и государству. Данная кампания вокруг разрушения советского символического кода была подхвачена как СМИ, так и политическим истеблишментом. Она была реализована в форме общей дегуманизации части украинского общества, для которой советская идентичность остается важной частью самосознания.

Список литературы

- Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.
- Бурдые П. Социология социального пространства. – СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
- В Военной академии Одессы снесли новодельный памятник двоюродному брату Николая II [Электронный ресурс] // Думская. net. – Одесса, 2015. – 1 декабря. – Режим доступа: <http://dumskaya.net/news/v-voennoj-akademii-odessy-snesli-novodelnyj-pamy-053100/> (Дата посещения: 01.04.18.)
- В Запорожье восстановили памятник Сталину // Телеканал новостей «24». – Киев, 2011. – 7 ноября. – Режим доступа: http://24tv.ua/ru/v_zaporozhe_vosstanovili_pamyatnik_stalinu_n155893 (Дата посещения: 01.04.18.)
- В Луганске открыли памятник жертвам ОУН-УПА // Newsland. – М., 2010. – 10 мая. – Режим доступа: <http://newsland.com/user/4296686951/content/v-luganske-otkryli-pamiatnik-zhertvam-oun-upa/4040444> (Дата посещения: 01.04.18.)
- В Луганской области хулигану, который взорвал памятник Ленину, дали три года // CXID.info. – Луганск, 2009. – 7 апреля. – Режим доступа: <http://cxid.info/v->

luganskoy-oblasti-huliganu-kotoryy-vzorval-pamyatnik-leninu-dali-tri-goda-n59152 (Дата посещения: 01.04.18.)

Вопросы идентичности русскоязычных граждан Украины в контексте вооруженного конфликта на востоке страны // International alert. – 2017. – Март. – Режим доступа: http://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_Russophonelidentity_RU_2017_1.pdf (Дата посещения: 01.04.18.)

Гайдай А.Ю., Любарец А.В. «Ленинопад»: Избавление от прошлого как способ конструирования будущего (на материалах Днепропетровска, Запорожья и Харькова) // Вестник Пермского университета. – Пермь, 2016. – Вып. 2 (33). – С. 28–41.

Жители Кировограда вышли на митинг против переименования города в Ингульск // Газета «Сегодня». – Киев, 2016. – 19 января.

Институт нацпамяти: За Елисаветград будет даже более стыдно, чем за Кировоград // Сетевое издание Голос Правды. – Киев, 2015. – 28 декабря. – Режим доступа: <https://golospravdy.com/institut-nacpamyati-za-elisavetgrad-budet-dazhe-boleestydno-chem-za-kirovograd/> (Дата посещения: 01.04.18.)

Как Ильича свергают с пьедесталов // Агентство Русской Информации. – М., 2013. – 1 июня. – Режим доступа: <https://ari.ru/ari/2013/06/01/kak-ilicha-svergayut-s-pedestalov> (Дата посещения: 01.04.18.)

Касьянов Г.В. Историческая политика и «мемориальные» законы в Украине: Начало XXI в. // Историческая экспертиза. – М., 2016 а. – № 2. – С. 28–55.

Касьянов Г.В., Миллер А.И. Россия – Украина. Как пишется история. Диалоги. Лекции. Статьи. – М.: РГГУ, 2011. – 306 с.

Касьянов Г.В. Украина: Прощай, гомо советикус // Newsland. Информационно-дискуссионный портал. – 2016 б. – 6 декабря. – Режим доступа: <https://newsland.com/user/4297789135/content/ukraina-proshchai-gomo-sovetikus/5586024> (Дата посещения: 01.04.18.)

Кудинов Д.С. Памятники Ленину, снесенные на Украине с декабря 2013 года (список, фотографии) // Памятники Ленину. – М., 2018. – 12 марта. – Режим доступа: <http://leninstatues.ru/leninopad> (Дата посещения: 01.04.18.)

Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 207 с.

Миллер А.И. Историческая политика в Восточной Европе в XXI веке // Историческая политика в XXI веке. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 7–32.

На Украине выпустили из-под стражи «васильковских террористов» // «Lenta.ru» интернет-газета. – М., 2014. – 24 февраля. – Режим доступа: <http://lenta.ru/news/2014/02/24/out/> (Дата посещения: 01.04.18.)

На родине Ющенко открыли памятник жертвам ОУН-УПА // ForPost. – Севастополь, 2008. – 23 июля. – Режим доступа: <https://sevastopol.su/news/na-rodine-yushchenko-otkryli-pamyatnik-zhertvam-oun-upa-foto> (Дата посещения: 01.04.18.)

Никулин А.М. Власть, подчинение и сопротивление в концепции «моральной экономики» Джеймса Скотта // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – М., 2003. – № 4/5. – С. 148–158.

- Одесситы восстановили первый в СССР памятник Ленину – «пауку» // КР.УА. – Киев, 2013. – 7 декабря. – Режим доступа: <http://kr.ua/politics/427925-odessyty-vosstanovyly-pervyyi-v-sssr-pamiatnyk-lenynu-pauku> (Дата посещения: 01.04.18.)
- Полещук В.В. «Война памятников» в Эстонии: Этнический аспект // Этнографическое обозрение. – М., 2008. – № 3. – С. 103–118. – Режим доступа: http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2008/Poleshuk_%202008_3.pdf (Дата посещения: 01.04.18.)
- Сегодня в Сватово открыли памятник жертвам ОУН-УПА // CXID.info. – Луганск. – 2008. – 26 июня. – Режим доступа: <http://cxid.info/segodnya-v-svatovo-otkryli-pamyatnik-jertvam-oun-upa-n50894> (Дата посещения: 01.04.18.)
- Сенкевич Г.А. Новый подход к исполнению государственных социальных обязательств в Украине в период реформ 2015–2016 годов // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – Новосибирск, 2016. – № 1 (4). – С. 79–83.
- Тишков В.А. Историческая культура и идентичность // Уральский исторический вестник. – Екатеринбург, 2011. – № 2. – С. 4–16.
- «Триzubовцям», взорвавшим Сталина в Запорожье, придется раскошелиться на нового вождя. Повезло, что дали условные сроки [Электронный ресурс] // Фраза.ua. – Киев, 2011. – 12 декабря. – Режим доступа: https://frazua/news/130679-«trizubovtsam»_vzorvavshim_stalina_v_zaporozhe_pridetsja_raskoshelitsja_na_novogo_vozhdja_povezlo_cho_dali_uslovnye_sroki (Дата посещения: 01.04.18.)
- Щербак С.И. Национализм и проблема социальной интеграции в Украине // Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики. – М.: Весь мир, 2013. – С. 219–236.
- «20 років Незалежності: Ленін все ніяк не Goodbye! (ІНФОГРАФІКА) // Інформаційний портал ТЕКСТИ. ORG.UA. – Київ, 2012. – 13 июня. – Режим доступа: <http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/37123/> (Дата посещения: 01.04.18.)
- Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник П.П. (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.) – Київ: «МП Леся», 2016. – 586 с.
- «Братня» навала. Війни Росії проти України XII–XXI ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – Київ: 2016. – 248 с.
- Гай-Нижник П.П. Росія проти України (1990–2016 pp.): Іїд політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення. – Київ: «МП Леся», 2017. – 332 с.
- Декомунізація // Український інститут національної пам'яті. – Київ, 2018. – Режим доступа: <http://www.memory.gov.ua/page/dekomunizatsiya-0> (Дата посещения: 01.04.18.)
- Декомунізація: Що і чому перейменовувати й демонтувати: Збірник матеріалів, рекомендацій і документів щодо виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» / С. Бутко, С. Горобець, І. Каретніков, Б. Короленко, М. Майоров (упоряд.); Український інститут національної пам'яті. – Київ: Український інститут національної пам'яті, 2015. – 103 с.

- Динаміка ностальгії за СРСР [Електронний ресурс] // Соціологічна група «Рейтинг». – Київ, 2015. – 8 октября. – Режим доступа: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_nostalgii_po_ssr.html (Дата посещения: 01.04.18.)
- Динаміка ностальгії за СРСР [Електронний ресурс] // Соціологічна група «Рейтинг». – Київ, 2016. – 5 октября. – Режим доступа: <http://ratinggroup.ua/research/ukraine/c910ad1d40079f7a2a28377c27494738.html> (Дата посещения: 01.04.18.)
- Ковальчук М. Битва двох революцій: Перша війна Української Народної Республіки з Радянською Росією. 1917–1918 pp. – Т. 1. – Київ: Видавничий дім «Стилос», 2015. – 608 с.
- Закон України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної ради. – Київ, 2015. – 9 апреля. – Режим доступа: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/317-viii> (Дата посещения: 01.04.18.)
- Лист Мін'юсту від 08.11.2016 р. № 38779/31702-0-33-16/8 «Щодо деяких питань, пов'язаних з застосуванням норм Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» [Електронний ресурс] // Нормативно-правова бібліотека. – Київ, 2016. – 8 ноября. – Режим доступа: <http://document.ua/shodo-dejakihi-pitan-povjazanih-z-zastosuvannjam-norm-zakonu--doc291101.html> (Дата посещения: 01.04.18.)
- Касьянов В.Г. Исторична пам'ять та історична політика: До питання про термінологію й генеалогію понять // Український історичний журнал. – Київ., 2016. – № 2. – С. 118–137.
- Ностальгія за СРСР та ставлення до окремих постатей [Електронний ресурс] // Соціологічна група «Рейтинг». – Київ, 2014. – 5 мая. – Режим доступа: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/nostalgija_po_ssr_i_otnoshenie_k_otdelnym_lichnostyam.html (Дата посещения: 01.04.18.)
- Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо встановлення географічних назв // Офіційний сайт Верховної ради. – Киев, 2018. – Режим доступа: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56887 (Дата посещения: 01.04.18.)
- Середницький Я.А. Павло Шандрук. Перша світова і три Російсько-Українські війни. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 224 с.
- Українці стали менш довірливими і терпимими // Газета «Сегодня». – Киев, 2015. – 7 октября. – Режим доступа: <http://ukr.segodnya.ua/ukraine/ukraincy-stali-menee-doverchivymi-i-terpimymi-655953.html> (Дата посещения: 01.04.18.)
- Масенко Л. Як позбутися радянської спадщини в топонімії [Електронний ресурс] // Газета «День». – Київ, 2013. – 18 июня. – Режим доступа: <https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/yak-pozbutisya-radyanskoyi-spadshchini-v-toponimiyi> (Дата посещения: 01.04.18.)

Полевые наблюдения и материалы

Полевой материал экспедиции автора в г. Киев (Днепропетровск), 24.05.2017 Я.В., 1963 г. р.

Полевой материал экспедиции автора в г. Киев – с. Великий Кунинец (Тернопольская область), Украина, 21.05.2017, Л.Г., 1947 г. р.

Полевой материал экспедиции автора в г. Черновцы, Украина, 8.04.2017 г. Я.А., 1996 г. р.

Полевой материал экспедиции автора в г. Киев, Украина, 23.05.2017, А.Г., 1989 г. р.

Полевой материал экспедиции автора в г. Киев, 25.05.2017 г. р.; Вятрович, Владимир Михайлович, Директор Украинского института национальной памяти, 1977 г. р., выступление в Дискуссионном клубе координационной рады «Реанімаційний пакет реформ».

Полевой материал экспедиции автора в г. Киев 9.06.2017, Катерина Чуева, заместитель генерального директора Национального музея искусств Богдана и Варвары Ханенко, куратор коллекции искусства Древнего Египта, Греции и Рима, член правления Украинского комитета ICOM.

Полевой материал экспедиции автора в г. Харьков 19.06.2017, О.О. 1994 г. р.

Полевой материал экспедиции автора в г. Харьков 22.06.2017, А.Т., 1996 г. р.

Полевой материал экспедиции автора в г. Харьков 26.06.2017, А.А., 1996 г. р.

Полевой материал экспедиции автора в г. Харьков 26.06.2017, А.А., 1995 г. р.

Полевой материал экспедиции автора в г. Харьков 26.06.2017, Е.А., 1995 г. р.

Полевой материал экспедиции автора в г. Харьков 26.06.2017, Н.А., 1995 г. р.

Е.Ю. МЕЛЕШКИНА*

ПАМЯТЬ О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЮГОСЛАВИИ В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЫВШИХ РЕСПУБЛИК СФРЮ¹

Аннотация. В статье выявляются общие черты и страновые различия политики памяти по отношению к Югославии и связанных с ней событий прошлого в республиках бывшего СФРЮ. Анализируются компоненты «позитивного» и «негативного югославизма», югоностальгии и титостальгии, показывается различие между использующими их политическими силами. Выявляются контуры конфигурации политики памяти по отношению к Югославии в Сербии и Боснии и Герцеговине. На этих примерах показывается, как различие в условиях их развития влияет на наполнение и распространение «позитивного» и «негативного югославизма».

Ключевые слова: политика памяти; мнемотические акторы; социалистическая Югославия; новый югославизм; югоностальгия; титостальгия.

Для цитирования: Мелешкина Е.Ю. Память о социалистической Югославии в публичном пространстве бывших республик СФРЮ // Политическая наука. – М., 2018. – № 3. – С. 265–289. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.11

* **Мелешкина Елена Юрьевна**, доктор политических наук, заведующая отделом политической науки ИНИОН РАН (Москва, Россия), профессор МГИМО (У) МИД РФ (Москва, Россия), e-mail: elenameleshkina@yandex.ru

Meleshkina Elena, Political Science Department (Moscow, Russia), INION RAN, MGIMO University, e-mail: elenameleshkina@yandex.ru

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01589) в Институте научной информации по общественным наукам РАН.

© Мелешкина Е.Ю.

DOI: 10.31249/poln/2018.03.11

Е.Ю. Meleshkina
Memory of socialist Yugoslavia in public sphere
of the former SFRY republics

Abstract. The article highlights the features and national varieties of memory politics about Yugoslavia and bounded past events in post-Yugoslav states. The traits of «positive» and «negative Yugoslavism», Yugo-nostalgia and Titostalgia are analysed as well as difference between political actors addressing to them in their rhetoric. The scopes and configurations of memory politics about Yugoslavia in Serbia and Bosnia and Herzegovina are revealed. The article shows the influence of different conditions on the content and extension of «positive» and «negative Yugoslavism».

Keywords: memory politics; mnemotic actors; socialist Yugoslavia; new Yugoslavism; Yugo-nostalgia; Titostalgia.

For citation: Meleshkina E.Yu. Memory of socialist Yugoslavia in public sphere of the former SFRY republics // Political science (RU). – М., 2018. – N 3. – P. 265–289. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.11

В ряду посткоммунистических стран особый интерес представляют те республики, которые появились в результате распада больших государственных образований: СССР и СФРЮ. Несмотря на то что новые независимые государства в значительной степени отличаются друг от друга по ряду характеристик, их объединяет нерешенность задач формирования нации, опыт существования в составе больших политий и ностальгия по тем временам части населения. Отношение к этому опыту и его использование в политике памяти является важной составляющей современной символической политики в этих странах и используется в различных проектах формирования национальной идентичности, конструирования и консолидации нации и ее границ. Данная статья посвящена общим чертам и страновым различиям политики памяти по отношению к Югославии в республиках бывшего СФРЮ. Казусы республик бывшей Югославии, переживших драматические события в процессе ее дезинтеграции, интересны не только для понимания процессов, происходящих в этих странах, но и для объяснения и понимания событий, связанных с политикой памяти на пространстве бывшего СССР.

Коллективная память и югославизм

На политику памяти в республиках постъюгославского пространства в значительной степени повлияли гражданские войны, этнические чистки, разрушения в больших городах, таких как Мостар, Вуковар, Сараево, и другие подобные события. Под их влиянием трансформировалась политика по формированию новой идентичности, в которой переосмыслению, созданию новых трактовок и образов недавних событий стало придаваться особое значение как одному из средств конструирования и консолидации нации и его границ. Как отмечает Р. Брубейкер, нацию можно рассматривать как «точку-зрения-на мир» [Брубейкер, 2012]. Соответственно соотношение возникающих и конкурирующих нарративов, официальная политика памяти во многом определяют нынешние и будущие контуры национальной идентичности и наций в целом.

Обстоятельства, связанные с дезинтеграцией Югославии, специфика новых независимых государств и нерешенность вопросов формирования нации и государств актуализировали противоречия между трактовками национальной общности, основанными на гражданских или государственных и иных, в том числе этнических, критериях или, как определяет Р. Брубейкер, между «государственно-фреймированными» и «контргосударственными» трактовками. Первый вариант членства и идентичности базируется на принадлежности к определенному государству с его территорией и институтами, второй – на иных, альтернативных ему основах.

«Контргосударственный» вариант получил широкое распространение на территориях бывшей СФРЮ. Причем в его границах развиваются не только трактовки нации, основанные на этнических критериях, но и иные подходы, которые также можно отнести к «контргосударственным», в частности создающие и использующие ностальгические образы бывшей социалистической Югославии.

Ностальгические настроения представлены практически во всех государствах бывшей Югославии [Buric, 2010; Velikonja, 2008; Volčič, 2007] и бывшего СССР¹. В частности, по данным Ин-

¹ В частности, опрос, проведенный «Левада-центром» в России в марте 2016 г. (было опрошено 1600 человек в 48 регионах), свидетельствовал, что 56%

ститута Гэллапа, в 2017 г.¹ [Many in Balkans] значительная доля жителей стран бывшей Югославии считали, что распад СФРЮ принес их стране вред, а не пользу. Этот показатель варьируется от страны к стране. Такой позиции придерживались 81% сербов, 77 – босняков и 65 – черногорцев, 61% македонцев. Противоположную позицию занимали 4% сербов, 6 – босняков, 12 – македонцев и 15% черногорцев. Иную картину можно наблюдать в Хорватии и Косово. В первой 55% населения полагали, что распад Югославии был благом для их страны и только 23% заняли противоположные позиции (для сравнения – в Словении соответствующие мнения высказали 41 и 45% респондентов соответственно). В Косово сторонников этих позиций насчитывается 75% и 10%.

Проявления ностальгии по Югославии заметны в быту и в повседневной жизни. Это и элементы дизайна, схожие в разных республиках постъюгославского пространства, и творчество рок-групп, использующих югославский контекст для своих песен [Volčič, 2007]. Это и символика футбольных команд. Например, в Сербии две основные команды продолжают использовать красную звезду как часть своей эмблемы и названия, имеющие социалистическое происхождение («Партизан» и «Красная Звезда»). Это также кинофильмы и выставки, например выставка «Хорошая жизнь» в Белграде в 2013 г.

Тематика, связанная с существованием бывшей СФРЮ, различными аспектами его возникновения, существования и распада, актуальна и для публичной повестки дня в этих странах.

Анализ публичной повестки дня и деятельности тех, кто «делает память» (memory makers; в отличие от «потребителей памяти» – memory consumers [Kansteiner, 2002, 180], или мнемонических лидеров представляется особенно важным для понимания конфигурации пространства коллективной памяти. Как отмечают исследователи, индивидуальная память быстро стирается, а воспоминания возникают тогда, когда коммуникативная активность мнемонических акторов помогает «вспомнить» [Rekšć, 2016]. Поэтому анализ деятельности мнемонических лидеров по формированию и воспроизводству позитивного или негативного воспри-

респондентов сожалеют о распаде СССР, 68% хотели бы восстановления СССР сейчас [«Левада-центр»].

¹ Были опрошены 1000 жителей бывших республик Югославии.

ятия социалистической Югославии важен для понимания различных конкурирующих проектов национальной идентичности и их конфигурации, возможных будущих контуров общего проекта.

Апелляция к позитивному или негативному опыту социалистической Югославии используется мнемоническими лидерами для решения разных общественных и политических задач. Это объясняется тем, что действия этих акторов, наполняющих исторические факты специальным символическим значением, определяются конкретными политическими интересами или идеологией, с которой они себя идентифицируют [Rekšć, 2016], и контекстом, в котором они действуют. В связи с этим адаптация фреймов памяти может сопровождаться отбором, позиционированием и замалчиванием [Jusić, 2008, p. 54–58], поэтому коллективная память в целом селективна и подвержена манипуляции.

Различая «позитивный» и «негативный югославизм», М. Великоня отмечает актуальность дискуссий между ними для формирования публичного дискурса всех стран постъюгославского пространства. «Позитивный югославизм» основан на ностальгических чувствах, «негативный» – на критике бывшего государства, неодобрительном отношении к ностальгии по нему и предложением по усилению межрегионального сотрудничества [Velikonja, 2009]. Значимость противоречий между этими формами восприятия прошлого для политической жизни стран постъюгославского пространства подтверждают дискуссии и разногласия в Боснии и Герцеговине относительно референдума в Республике Сербской по поводу ее национального праздника, споры между Косово и Черногорией по поводу границ, множественные инциденты между Загребом и Белградом, послужившие поводом для оценки отношений между этими двумя странами в ряде СМИ как «Балканская холодная война», и другие факты.

Производители позитивной памяти о Югославии и их оппоненты различаются по своим политическим ориентациям. Характеристики, выделенные И. Спасич по отношению к сербским мнемоническим лидерам, могут быть с некоторыми оговорками распространены и на другие страны постъюгославского пространства. Согласно ее выводам, позитивное восприятие Югославии характерно для большинства представителей либеральной, проевропейской и космополитической элит, а также для совсем небольшой части националистически настроенных элит [Spasić, 2013, p. 205].

Основная часть националистически настроенной элиты относится к Югославии негативно.

Позитивное восприятие и позитивные оценки социалистической Югославии и событий, связанных с ней, также не гомогенны. Исследователи отмечают, что существует не один образ Югославии, а несколько. В частности, М. Великоня определяет дискурс вокруг памяти о Югославии в странах постъюгославского пространства как «обширную, многослойную шизофреническую и конфликтную идеологию, которая родилась одновременно внутри современных границ и вне их» [Velikonja, 2012, p. 84]. Для обозначения этого явления используется термин «новый югославизм», который допускает наличие различных противоречивых мыслительных конструкций и образов, а также множество аргументов, исключающих один другой. Новым это явление исследователь называет, потому что оно характерно в том числе для людей, которые не жили в эпоху, ностальгический образ которой разделяют или создают.

Восприятие Югославии в публичном пространстве и югоностальгия

Наличие нескольких позитивных образов Югославии тем не менее позволяет выделить общие идеи, в той или иной степени нашедшие в них свое отражение.

Часть этих идей, наиболее привлекательных для рядовых граждан (особенно в сложных социально-экономических условиях), относятся к социокультурной сфере. Исследователи отмечают такие, наиболее распространенные извлеченные из контекста черты позитивного образа Югославии, как относительно бесконфликтное существование разных народов на территории Югославии, более однородная и солидарная социальная и культурная среда, отсутствие безработицы, общественный порядок, спортивные достижения и ряд других.

Яркий пример, как эти черты могут использоваться для формирования позитивного образа Югославии, – клип «Justalgia», созданный хорватским рэпером Прики (Х. Рахмановичем) совместно с режиссером и художником Ф. Филовичем. В нем представлен сценарий развития Югославии в ее прежних границах. Если

бы страна смогла обойтись без потрясений и преодолеть конфликты, то сейчас она была бы экономически развитой, политически прогрессивной и богатой в социокультурном плане. Европейский союз был бы более социально ориентированным, а НАТО – более слабой. Основным достоинством такого развития событий было бы сохранение пространства для мирной жизни на большой и разнообразной территории без стереотипов, ярлыков и границ¹.

Другая идея, лежащая в основе позитивного образа социалистической Югославии, заключается в том, что большие государства имеют больше ресурсов, возможностей и влияния на международной арене. Э. Кустурица, например, так объясняет свои югоностальгические ориентации: «Югославия, созданная в 1945 году маршалом Тито, была большим государством. Это была современная и мощная страна. Именно та Югославия сделала Балканы впервые за многие века стабильными. Самое большое сожаление о той Югославии. Она не была ни Востоком, ни Западом. Я тоскую по той стране, с ее распадом, с ее разрывом на мелкие части мы получили нестабильные Балканы, которые всегда были под присмотром разных спецслужб» [Качалин].

Эта составляющая часть позитивного отношения к Югославии и югоностальгии в некоторой степени опирается на идеи панславизма, общности малых славянских народов. Позитивный образ Югославии нередко совмещается с положительным отношением к европейской интеграции и участию в Европейском союзе [Rekšć, 2016].

Мнемонические лидеры, придерживающиеся антиюгославских и националистических взглядов, часто связывают идеи интеграции с коммунистической системой. Для характеристики югославского государства они иногда используют термин «тюрьма народов» [Husanović, 2010, p. 101–103]. С момента распада федерации этноцентрически ориентированные лидеры выбирают стратегию отрицания всего югославского, характеризуя его как антинациональное и непатриотическое [Petrović, 2012, p. 127].

Негативное отношение к Югославии часто совмещается с критикой европейской интеграции. Эта связь, например, отчетливо проявилась в Хорватии накануне референдума о вступлении в Европейский союз. Тогда некоторые политики и общественные дея-

¹Priki – Yustalgija (Official video). – Mode of access: <https://www.youtube.com/watch?v=G5rnIlyhM&feature=youtu.be> (Accessed: 20.12.2017.)

тели выступали с идеей, что ЕС – это новая форма Югославии. Они утверждали, что Загреб освободился от Белграда не для того, чтобы попасть в зависимость от Брюсселя [Rekšć, 2016].

Транслируемый рядом политиков и общественных деятелей позитивный образ югославского прошлого отличается сходными чертами, свойственными ностальгическим образам прошлого в целом.

Одна из важных характеристик ностальгии – ее селективность, предполагающая обращение лишь к отдельным положительным фрагментам действительности. С помощью их объединения в одну картинку создается «позитивная, прекрасная история о прошлом (“память минус боль”), которого никогда в таком виде не существовало» [Velikonja, 2009]. Иными словами, основными чертами ностальгического дискурса являются комплиментарность и эпизодичность создаваемого образа прошлого [Velikonja, 2008, p. 28]. Такие особенности ностальгического образа прошлого вполне объяснимы тем, что контуры коллективной памяти определяются деятельностью «лидеров» памяти, которые используют созданные на основе фрагментарного восприятия действительности образы для обеспечения общественной поддержки. Данные фрагменты извлекаются из контекста и соединяются между собой в позитивный образ без учета этого контекста. Отсюда и другие особенности ностальгии – вневременность и экстерриториальность [ibid.]. Поскольку ностальгические образы формируют конкретные «лидеры памяти» со своими порой конфликтными интересами, действующие в конкретных условиях, ностальгия по прошлому отличается также многозначностью и наличием конфликтных нарративов [ibid.].

Как отмечалось выше, позитивный образ Югославии и ностальгические настроения существуют и используются на разных уровнях. При этом довольно сложно провести грань между политическим и иным их использованием, поскольку неполитические формы влияют на повестку дня и могут использоваться и часто используются «лидерами памяти» в политических целях. При этом важно отметить, что в публичном пространстве югоностальгия возникла и преимущественно развивается в виде «ревизионистской ностальгии» [Volčič, 2007], т.е. как тип коммеморации и мобилизации образа прошлого в ответ на запрос о ревизии официальной интерпретации прошлого и возрождение разделяемого восприятия принадлежности. Связано это в первую очередь с ис-

торией дезинтеграции Югославии, военными конфликтами и мобилизацией этничности на разных уровнях общественно-политической жизни.

История публичной демонстрации югоностальгических настроений показывает не только ее ревизионистский характер, но и расплывчатость границ между ее политическим и неполитическим использованием. Одна из первых публичных инициатив в этом направлении относится к 1989 г., когда еще официально существовала СФРЮ. Группа интеллектуалов, среди которых были Д. Угрешич, Д. Кршич и И. Молек, провозгласила себя «югославами», тем самым выступив за сохранение общего наследия сообщества, переживающего дезинтеграцию [Pauker, 2006, p. 73–74]. Позже была опубликована книга с этими идеями («Лексикон Ю. мифологии») и в 2011 г. соответствующий сюжет нашел воплощение в театральной пьесе. В конце 1980-х годов югоностальгия воспринималась как маргинальное явление, распространенное преимущественно среди интеллектуалов, придерживающихся левых взглядов в противоположность правым националистическим лидерам памяти, желающим сформировать новую идентичность. Однако количество позитивно оценивающих югославский опыт постепенно увеличивалось не только среди интеллектуалов, но и среди политиков, а позитивный образ прошлого стал использоваться в публичных дискуссиях и акциях.

Позитивное использование образа Югославии и проявление югоностальгии в публичном пространстве обнаруживаются в различных формах [Volčič, 2007; Mazzucchelli, 2012]. В данной статье мы остановимся на одной из них – титостальгии, которой присущи основные черты ностальгического отношения к прошлому. В частности, Н. Великоня показывает, что одной из основных черт титоностальгии является деконтекстуализация образа И.Б. Тито. В публичном пространстве используется не образ реального человека, а собирательный образ, «новый утопический нарратив» [Velikonja, 2008, p. 130].

Как и социалистическая Югославия, фигура ее лидера И.Б. Тито вызывает неоднозначную реакцию на постъюгославском пространстве. В начале и середине 1990-х годов на уровне официальной политики доминировало стремление вычеркнуть И. Тито из коллективной памяти. Например, в Сербии были переименованы улицы и населенные пункты. В частности, одна из центральных улиц Белграда, носившая имя Тито, и город Титово Ужице (ныне

Ужице). Известный памятник И. Тито, находившийся в этом городе, в 1991 г. был демонтирован и перемещен в местный музей. В Хорватии переименован город Титова Кореница (ныне Кореница). В родном городе И. Тито Кумровце в Хорватии памятник югославскому лидеру был взорван в 2004 г.

Однако эти акции носили ограниченный характер. Так, в Белграде имя Тито сохранили ряд улиц на окраине города. Площадь Маршала Тито в центре Загреба до сих пор так называется. Часть улицы в центре Сараево носит имя Тито, в этом городе сохранилось много символов, напоминающих о нем. Сохранился и памятник Тито в нынешнем университетском городке Боснии, на территории бывших казарм. Д. Карачич показывает, что уничтожение памяти Тито в Боснии и Герцеговине происходило только на территориях, которые во время войны находились под контролем хорватских военных [Karačić, 2012].

Самый большой из имевшихся памятников И. Тито сохранился по сей день в Словении, он стоит на центральной площади города Веленье. В сербском городе Ужице поклонники Тито выступают за восстановление его памятника на главной площади – Площади партизан. Организация, представляющая бывших партизан SUBNOR, обратилась к президенту Сербии с просьбой вернуть ее на прежнее место. Памятник в Кумровце во время взрыва получил незначительные повреждения и был восстановлен.

Каждый год сотни людей собираются у мемориального комплекса в Белграде, мавзолея и музея И. Тито. Сербское правительство ежегодно тратит на этот комплекс около 52 495 000 динаров (477 227 евро). Памятные мероприятия, собирающие значительное количество людей, проходят и в Кумровце. В частности, там широко отмечается День молодежи – символический день рождения И. Тито.

Объектом почитания является и построенный в 1946 г. и отделанный ценными породами дерева «голубой поезд» И. Тито, на котором он путешествовал по стране. Иногда этот поезд совершает ностальгические туристические поездки по столицам бывших союзных республик.

В бывших республиках СФРЮ созданы мемориальные общества И. Тито. Первое было открыто в Хорватии в 1996 г., деятельность его охватывала Загреб и Истрию, где преобладали левые политические настроения. В 2000 г. с их участием был проведен

первый праздник в Кумровце. Впоследствии такие общества были созданы в Боснии, Сербии, Македонии, Словении и Черногории. В организации праздников и иных мероприятий, связанных с памятью о Югославии и Тито, им помогают ветеранские и партизанские организации.

Эти организации фактически превратились в признаваемых политических акторов. Они образуют гражданские ассоциации и вступают в формальные или неформальные союзы с политическими силами, преимущественно левой направленности. Они участвуют в обсуждении событий Второй мировой войны, югославских войн, национальных интересов и обид, политики националистических и антинационалистических партий и многих других вопросов. Участвуя в создании альтернативного образа прошлого, эти организации действуют не в целях реставрации этого прошлого, а для того, чтобы образ прошлого можно было использовать как аргумент для политического будущего [Kurtović, 2011].

Память о Югославии в различных контекстах: Пример Сербии, Боснии и Герцеговины

В постъюгославских странах в зависимости от контекста тематика, связанная с восприятием СФРЮ (в том числе идеи югостальгии) приобретают ту или иную степень политической актуальности и важности в политике памяти. Связано это прежде всего со следующими факторами. Во-первых, это особенность этнических и религиозных размежеваний в постъюгославских странах. Во-вторых, роль бывшей союзной республики в составе СФРЮ, довоенной Югославии и других государственных образованиях и история получения независимости и последующего развития. В-третьих, экономическое положение стран постъюгославского пространства. В-четвертых, значимые политические события, такие как выборы, вступление в Европейский союз и другие.

Выбранные нами казусы отличаются по этим параметрам, но есть между ними и определенное сходство. Оно заключается в нерешенных «учредительных» вопросах относительно национальных границ и членства в нации, наличии неудачных или удачных попыток сецессии.

В Сербии период существования самостоятельного средневекового государственного образования сменился турецким завоеванием, однако в 1878 г. Сербия получила независимость и была провозглашена королевством. После Первой мировой войны она стала ядром Королевства сербов, хорватов и словенцев (впоследствии Королевства Югославии). С 1945 г. Сербия в качестве республики входила в состав Федеративной народной республики Югославии (впоследствии СФРЮ), в которой сербы, составлявшие 45% населения, занимали доминирующее положение в управлении страной: вместе с черногорцами им принадлежало около 84% должностей в государственном аппарате Югославии и около 70% военных постов в Народной армии [История... 1963]. Основные сложности в Сербии с точки зрения консолидации населения были связаны с существованием в ее составе Воеводины со значительным венгерским населением и особенно Косова и Метохии с албанским населением. Еще в период существования СФРЮ в Косово происходили выступления против центральной власти, где звучали лозунги объединения с Албанией. Власти были вынуждены расширить автономию двух краев и снизить вмешательство в дела Косова, включая усилившееся давление на сербское население. В результате в 1961–1981 гг. из Косова уехало 42% проживавших там сербов и 63% черногорцев [Никифоров, 2012, р. 81].

После распада Югославии Югославская армия участвовала в войне в Хорватии на стороне хорватских сербов. Сербия также поддерживала сербов в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в результате чего против Сербии были введены экономические санкции ООН. Обострение ситуации в Косово, военный конфликт, бомбардировка Белграда и других сербских городов подразделениями НАТО вынудили Сербию согласиться на ввод в Косово международных сил безопасности. В 2008 г. парламент Косова объявил о независимости республики. В 2006 г. распался Государственный союз Сербии и Черногории. С этого времени Сербия существует в нынешних фактических границах.

В результате событий, связанных с распадом Югославии, изменилась этническая конфигурация населения Сербии. Перепись населения 1991 г. с учетом Косово показывала, что сербы составляют 66% населения республики, в то время как албанцы – 17%. В 2011 г. перепись проводилась уже без учета Косова. Согласно ее результатам, доля сербов в населении значительно выросла и со-

ставила 86,6%. Следующая по численности этническая группа – венгры, их доля в населении невелика – 3,67% [Попис, 2014].

История развития государственности Боснии и Герцеговины иная. Период существования средневекового государственного образования также закончился подчинением Османской империи в результате завоевания. Босния и Герцеговина существовала в качестве административной единицы в составе других государственных образований, самостоятельным государством она стала лишь в 1992 г.

В отличие от других республик СФРЮ, в Боснии и Герцеговине не было одной доминирующей национальной группы, а было и есть три основных: босняки («мусульмане» в период социалистической Югославии), сербы и хорваты. Босняки как народ сложился в результате политики исламизации, проводимой в Османской империи. Доля сербов, которые доминировали в населении Боснии и Герцеговины, сократилась во время Второй мировой войны в результате усташского террора, массового уничтожения сербов и переселения хорватов и мусульман из других областей в послевоенный период. Переписи, проведенные после получения независимости и боснийской войны, показали не очень большие изменения в составе населения. В основном они касались людей, идентифицировавших себя как югославы. По данным переписи 1991 г., 43,5% населения Боснии и Герцеговины идентифицировали себя как «мусульмане», 31,2 – сербы, 17,4 – хорваты и 5,6% – югославы. В 2013 г. 50,11% считали себя босняками, 30,78 – сербами и 15,43% хорватами; по религиозной принадлежности 50,7% – мусульманами, 30,7 – православными, 15,2% – католиками [Popis, 2013].

Сложная историческая судьба государства, мультиэтничность и мультиконфессиональность населения определяют тот факт, что до сих пор довольно остро стоит вопрос исторической легитимности государства. Образование современной Боснии и Герцеговины сопровождалось войной 1992–1995 гг. с многочисленными жертвами, которая укрепила разногласия и раскол между этническими группами. В результате войны были заключены Дейтонские соглашения, которые являются основополагающими для организации и функционирования государства Боснии и Герцеговины с элементами консоциации. Критическое отношение к Дейтонским соглашениям со стороны некоторых представителей

этнических элит, слабость центрального правительства и сосредоточение большинства властных полномочий в руках двух энтитетов, Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, узаконенная роль международного сообщества в управлении страной осложняют процесс преодоления разногласий по «устанавливающим» государство и нацию вопросам.

Важным фактором, обуславливающим разногласия по поводу интерпретации прошлого, в том числе и отношение к социалистической Югославии, является очень сложное экономическое положение страны. Инфраструктура и экономика сильно пострадали в период Боснийской войны. В рейтинге конкурентоспособности ВЭФ за 2015–2016 гг. Босния и Герцеговина оказалась лишь на 111-м месте [Competitiveness Rankings]. В стране крайне высокий уровень безработицы и огромный государственный долг.

Отмеченные особенности политического, национального и экономического развития этих республик во многом обусловили подъем националистических настроений в период распада Югославии и становления новых независимых государств. В Сербии это произошло еще в период правления С. Милошевича, что не могло не сказаться на политике памяти и ее основном дискурсе, которые претерпели серьезные изменения. Идеологическая ориентация на «братство и единство» народов постепенно сменялась националистической риторикой, стал создаваться образ Великой Сербии. В публичных дискуссиях и официальных выступлениях появилась тема виктимизации сербов. Исторический ревизионизм стал играть важную роль в ее обосновании: сербы стали изображаться жертвами исторических обстоятельств.

Деятельность ряда ученых из Сербской академии наук, писателей и средств массовой информации способствовала усилению роли темы этнических конфликтов в повестке дня и созданию националистического дискурса, благоприятного для оправдания и легитимации военных операций периода Хорватской и Боснийской войн и Косовского конфликта. В том числе переосмысливались моменты истории, имевшие основополагающее значение для возникновения социалистической Югославии. Этому служили ревизионистские интерпретации событий Второй мировой войны сквозь призму национализма, антикоммунизма и традиционализма, внимание к преступлениям, совершенным партизанами, создание нового образа четников и обсуждение авторитарного характера

режима И. Тито. В 1989 г. видный сербский националист В. Шешель посетил США, где один из лидеров сербских четников М. Джутч присвоил ему звание воеводы.

После падения режима Милошевича новая политическая элита не пересмотрела националистическую программу, имеющую конфликтный потенциал. Публичный дискурс длительное время во многом контролировался государством. Под контролем были многие сектора экономики и Сербский Телеком. Публикация учебников истории контролировалась Советом по изданию учебников, тесно связанным с членами правящей партии. Свободные СМИ занимали маргинальное положение.

Сформированный националистический дискурс, в котором присутствовали антиевропейские настроения и неприятие решений Международного трибунала по бывшей Югославии, продолжал успешно существовать и зачастую определял повестку дня. Особенно показательны в этом отношении заявления В. Коштуницы и других представителей правой Демократической партии Сербии про необходимость объединения сербов на антикоммунистической и националистской основе. Популярная после падения режима Милошевича и вплоть до раскола в 2008 г. Сербская радикальная партия резко осуждала «югославизм» как «историческую болезнь» и считала образование югославянского государства ошибкой.

По-прежнему замалчивались традиции антифашизма и участие сербов в партизанском движении периода Второй мировой войны. В начале 2000-х годов был отменен праздник по случаю восстания против фашистов. Были приняты законодательные меры, уравнивающие в правах партизан и четников. Официально было признано их равноправное участие в сопротивлении фашизму [Govedarica, 2012].

Постепенно стали получать распространение оппозиционные дискурсы как реакция на гомогенизацию идентичности, среди которых югоностальгия, допускающая мультикультурные модели, развитие и распространение которых было осложнено во время дезинтеграции Югославии и в последующий период. В публичном пространстве активнее обсуждались темы, связанные с возникновением социалистической Югославии, восстанавливались места памяти, связанные с периодом Второй мировой войны и борьбой с фашизмом, например кладбища освободителей Белграда. В 2014 г. в Белграде прошел военный парад в честь 70-летия освобождения

города от фашистов. Некоторым улицам Белграда были возвращены имена советских полководцев, правда, не в центре города, а на его окраинах [Govedarica, 2012].

Однако в целом в Сербии югоностальгия получает распространение в первую очередь на бытовом и культурном уровне. Один из самых посещаемых музеев Белграда – Музей истории Югославии. Есть несколько кафе с югославской и коммунистической символикой, например кафе «Красная банда» в центре сербской столицы. В 2013 г. в Белграде прошла выставка «Хорошая жизнь», посвященная Югославии, о некоторых других проявлениях югоностальгии упоминалось выше.

Что касается политической сцены, то здесь идеи юго-ностальгии менее популярны. Это связано с трагическими событиями, сопровождавшими распад Югославии, распространением и популярностью националистических идей и рационалистическим представлением подавляющего большинства политиков и населения страны о том, что восстановление Югославии в настоящее время невозможно. Прямое использование югославской темы в политической риторике – не частое явление. В нынешнем политическом контексте Сербии оно не приносит больших дивидендов. Так, в 2009–2010 гг. внук маршала Тито И.Б. Тито объединил разные коммунистические организации в рамках Коммунистической партии Сербии. Эта партия использует позитивный образ Югославии и югославскую тематику в своей риторике. На выборах 2012 г. она не прошла в парламент, а на выборах 2014 и 2016 гг. получила только одно место.

Использование позитивного образа Югославии и ностальгических настроений в Боснии и Герцеговине более заметно в публичной сфере. В этой стране используется большое разнообразие трактовок прошлого, связанного с возникновением и существованием СФРЮ. Особенности политики памяти Боснии и Герцеговины объясняются в первую очередь существующими этническими размежеваниями между сербами, босняками и хорватами. События прошлого трактуются с учетом интересов той или иной этнической группы. Существующие официальные и неофициальные интерпретации прошлого, сфокусированные на истории той или иной этнической группы, отличаются разнообразием и во многих отношениях противоречат друг другу.

В Республике Сербской доминируют представления о прошлом, ориентированные на интересы сербского населения и окрашенные в националистические тона. На официальном уровне существование этого энтитета в рамках Боснии и Герцеговины подвергается сомнению. В публичном пространстве раздаются голоса в защиту идеи независимости и развития сербов в рамках единой сербской нации [Correia, 2013].

Подкреплению этих идей служит деятельность институтов памяти. Так, в 2007 г. в Республике Сербской была создана Комиссия по воспитанию традиций освободительных войн. Она выделила 20 важных исторических дат, половина из которых относится к периоду до 1992 г. Согласно ее выводам, история Республики Сербской – история борьбы за свободу сербов против дискриминации со стороны мусульман и хорватов. В такой логике образование Республики Сербской в 1992 г. представляется обоснованным, как и получение независимости в будущем.

На территории Республики Сербской не разрушались места памяти партизан. Здесь находится не только парк Козара, но и другие памятные места, связанные с деятельностью И. Тито и событиями Второй мировой войны. В частности, решающей была битва с фашистскими силами в 1943 г. в долине реки Сутьеска. Позднее в Национальном парке Сутьеска был открыт мемориальный комплекс Долина героев, который в период существования социалистической Югославии ежегодно посещали около 30 000 человек. Широко отмечались и круглые даты. С 2000 г. на Тьентиште снова начали отмечать годовщину битвы между партизанами и фашистами. В 2011 г. комплекс был взят под охрану ЮНЕСКО.

В отличие от преобладающего нарратива в политике памяти Республики Сербской, в кантонах Федерации Боснии и Герцеговины с доминирующим хорватским населением и среди хорватских политиков право Боснии и Герцеговины на существование не подвергается сомнению. В трактовках прошлого присутствуют идеи о важной исторической роли хорватов в жизни Боснии и Герцеговины, их давнего присутствия на этой территории и необходимости формирования собственной административно-политической единицы.

Территория Боснии и Герцеговины, находившаяся под контролем военизированной организации «Хорватский совет обороны», подверглась наиболее активному уничтожению памятников и других символов, связанных с деятельностью партизан в период

Второй мировой войны и И. Тито. В частности, изменились названия всех улиц, напоминавших об их деятельности [Karačić, 2012]. В настоящее время в публичном пространстве позитивный образ Югославии здесь не используется.

Обращение к югославской тематике в большей степени характерно для боснийского публичного дискурса. Особенно это заметно в риторике боснийских политических партий и связанных с ними общественных организаций. Популярность этой тематики и распространение югоностальгических настроений связаны в первую очередь со сложным экономическим положением в стране, высоким уровнем безработицы и нерешенными внутренними межэтническими противоречиями. Кроме того, именно на территории Боснии и Герцеговины во время Второй мировой войны происходили крупные сражения против фашистских сил под руководством И.Б. Тито. В городе Яйце в годовщину Второго конгресса Антифашистского совета Национального освобождения Югославии, который прошел в ноябре 1943 г., отмечалось рождение Титовской Югославии.

Одно из проявлений ностальгических настроений по бывшей социалистической Югославии – югоностальгические общества, в том числе общества памяти И.Б. Тито. В Боснии и Герцеговине югоностальгические общества связаны с левыми партиями, в частности Лигу обществ Иосипа Броз Тито поддерживает Социал-демократическая партия (СДП), наследница Коммунистической партии Боснии и Герцеговины. Эта партия имеет наибольшую поддержку в Федерации Боснии и Герцеговины. Руководитель отделения Лиги в Сараево Горан Бехмен – член СДП и сын бывшего премьер-министра Федерации Боснии и Герцеговины и мэра города до 2013 г., одного из известных деятелей этой партии. Многие молодые члены отделения Лиги входят в муниципальный Молодежный форум СДП или вступили в эту партию. Социал-демократическая партия поддерживает ностальгические настроения в обществе, обеспечивая тем самым себе поддержку избирателей [Kurtović, 2011]. В своей риторике она обращается к позитивным и наиболее успешным аспектам югославского прошлого, игнорируя менее яркие моменты и проявления несправедливости. Другие социалистические и социал-демократические партии страны также демонстрируют поддержку деятельности обществ, посещают памятные социалистические места.

В отличие от хороших связей отделения Лиги в Сараево с социал-демократами, отношения соответствующей организации с социал-демократическими партиями в Республике Сербской складываются не очень гладко. Причина этому в том числе в том, что последние путем обращения к темам памяти о прошлом, связанным с социалистической Югославией, пытаются решать задачи продвижения националистической риторики [Correia, 2013]. Так, например, наиболее популярный среди этих партий Союз независимых социал-демократов, возглавляемый лидером боснийских сербов М. Додиком, взял на себя организацию ежегодного коммеморативного мероприятия в Национальном парке Козара – месте крупной битвы 1942 г., фактически лишив такой возможности местное отделение Лиги. Несмотря на то что это место – символ многонационального партизанского сопротивления, партия использовала это мероприятие для распространения националистической риторики. В частности, в одном из выступлений в 2010 г. ее лидер связал партизанскую борьбу против фашизма и современную борьбу боснийских сербов за признание независимости от иностранного вмешательства международного сообщества [Kurtović, 2011], а одна из выставок в Музее памяти партизан в Козаре называлась «Геноцид сербов в XX веке: 1914–1918, 1941–1945, 1991–?» [Correia, 2013].

Иное использование югостальгической тематики в политической жизни Республики Сербской успеха не имеет. Так, в 2008 г. в Банье Луке члены Общества памяти И. Тито образовали свою партию с символическим названием «Лига коммунистов Боснии и Герцеговины», однако партия не имела успеха на выборах.

Заключение

В целом анализ опыта восприятия и использования образа СФРЮ в публичном пространстве в республиках бывшей Югославии показывает следующее. Популярность этой тематики на бытовом уровне, связанная в первую очередь с драматическими событиями периода распада Югославии, нынешним сложным социально-экономическим положением и существующими этническими противоречиями, не всегда имеет такой же широкий отклик в политической риторике. Среди «контргосударственных» трактовок про-

шлого и национальной идентичности более популярны в целом те, которые основаны на интересах определенной этнической группы. Вместе с тем распространенность «нового югославизма» в публичном дискурсе разных республик постъюгославского пространства и их составных частей, его использование и трактовки неодинаковы и зависят от контекста, как и роль соответствующих общественных и политических сил. Этому способствуют фрагментарность и многозначность позитивного и негативного образов социалистической Югославии и связанных с ней событий.

Список литературы

- Брубейкер Р.* Этничность без групп. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. – 408 с.
- История Югославии. – М.: АН СССР, 1963. – Т. 2. – 430 с.
- Качалин К.* Эмир Кустурица – философские размышления о XX веке и не только // *Международная жизнь*. – М., 2013. – Режим доступа: <https://interaffairs.ru/news/show/9869> (Дата посещения: 12.02.2018.)
- «Левада-центр»: 68% россиян хотели бы возвращения к социализму и СССР // *Ведомости*. – М., 2016. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/04/19/638242-68-rossiyan-sotsializmu> (Дата посещения: 22.02.2018.)
- Никифоров К.В.* Сербия на Балканах. XX век. – М.: Индрик, 2012. – 176 с.
- Попис становништва, домаћинства и станова 2011. у Републици Србији. Етно-конфесионални и језички мозаик Србије / Др Ђурић В., Проф др Танасковић Д., Проф др Вукмировић Д., Лађевић П. – Београд: Републички завод за статистику, 2014. – 207 р.
- Buric F.* Dwelling on the ruins of socialist Yugoslavia: Being Bosnian by remembering Tit // *Postcommunist nostalgia* / М. Todorova, G. Zsuzsa (eds). – N.Y.; Oxford: Berghahn Books, 2010. – P. 227–243.
- Competitiveness rankings / World economic forum. – Mode of access: <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/> competitiveness-rankings/ (Accessed: 15.01.2018.)
- Correia S.* The politics of memory in Bosnia's Republika Srpska // *Bosnia-Herzegovina since Dayton: civic and uncivic values*. – Ravena: Longo, 2013. – P. 329–350.
- Govedarica N.* Zemlја nesigurne prošlosti: Politike sećanja u Srbiji u periodu 1991–2011. Godina // *Re:vizija prošlosti. Politike sjećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 1990. godine*. – Sarajevo: Asociјacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS), 2012. – P. 163–234.
- Husanović J.* Između traume, imaginacije i nade. Kritički ogledi o kulturnoj produkciji i emancipativnoj politici. – Београд: Фабрика књига, 2010. – 210 р.
- Jusić T.* Medijski diskurs i politika etničkog sukoba. Jugoslovenski slučaj // *Intima javnosti. Okviri predstavljanja, narativni obrasci, strategije i stereotipi konstruisanja*

- Drugosti u upečatljivim događajima tokom razgradnje bivše Jugoslavije: štampa, TV, fim / Ed. by Đerić G. – Beograd: Fabrika knjiga, 2008. – P. 40–63.
- Kansteiner W.* Finding meaning in memory: A methodological critique of collective memory studies // *History and theory*. – 2002. – N 2. – P. 179–197.
- Karačić D.* Od promoviranja zajedništva do kreiranja podjela Politike sjećanja na partizansku borbu u Bosni i Hercegovini nakon 1990. godine // *Re:vizija prošlosti*. Politike sjećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 1990. godine. – Sarajevo: Asocijacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS), 2012. – P. 17–90.
- Kurtović L.* Yugonostalgia on wheels: Commemorating Marshal Tito across Post-Yugoslav border // *Newsletter of the Institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies*. – Berkeley, 2011. – N 2. – P. 2–13, 22, 23.
- Mazzucchelli F.* What remains of Yugoslavia? From the geopolitical space of Yugoslavia to the virtual space of the Web Yugosphere // *Social science information*. – N.Y., 2012. – Vol. 51. – P. 631–648.
- Many in Balkans still see more harm from Yugoslavia breakup / GALLUP. – Mode of access: http://news.gallup.com/poll/210866/balkans-harm-yugoslavia-breakup.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication (Accessed: 10.02.2018.)
- Pauker I.* Reconciliation and popular culture: A promising development in former Yugoslavia? // *Local-Global: Identity, security, community*. – Melbourne, 2006. – N 2. – P. 72–82.
- Petrović T.* Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima. – Beograd: Fabrika knjiga, 2012. – 211 p.
- Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini. 2013. Rezultati popisa. – Mode of access: <http://www.popis2013.ba/popis2013/doc/Popis2013prvolzdanje.pdf> (Accessed: 2.09.2017.)
- Rekšć M.* Post-Yugoslav collective memory between national and transnational myths // *Polish political science yearbook*. – Warsaw, 2016. – Vol. 45. – P. 73–84.
- Spasić I.* Kultura na delu. Društvena transformacija Srbije iz burdijeovske perspective. – Beograd: Fabrika knjiga, 2013. – 318 p.
- Velikonja M.* Lost in transition // *East European politics and societies*. – L., 2009. – Vol. 23, N 4. – P. 535–551.
- Velikonja M.* ROCK'N'RETRO. Novi jugoslavizam u savremenoj slovenačkoj popularnoj muzici // *Nebeska Jugoslavija. Interakcije političkih mitologija i pop-kulture* / Ed. by Perica V., Velikonja M. – Beograd: Biblioteka XX vek, 2012. – P. 67–171.
- Velikonja M.* Titostalgia: A study of nostalgia for Josip Broz. – Ljubljana: Peace Institute, 2008. – 146 p.
- Volčič Z.* Yugo-nostalgia: Cultural memory and media in the former Yugoslavia // *Critical studies in media communication*. – L.: Routledge, 2007. – Vol. 24, N 1. – P. 21–38.

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ

К.А. ПАХАЛЮК*

ОБРАЩЕНИЕ К ПРОШЛОМУ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОГО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (ПО МАТЕРИАЛАМ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ)

Аннотация. Рассматривая историческую память как дискурсивный феномен, автор изучает место «исторического аргумента» в том семиотическом пространстве, которое формируется вокруг деятельности Министерства иностранных дел России. Основной тезис заключается в том, что обращение к прошлому призвано придать моральное обоснование проводимой внешней политике, однако ввиду доминирования этики добродетели, а не универсальных принципов активность сосредоточена на подчеркивании роли России и ее достижений. Основное внимание уделяется борьбе против нацизма в годы Второй мировой войны, меньшее – роли спасителя (например, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. за освобождение болгарского народа) или ответственного члена военных союзов в другие периоды (Наполеоновские войны, Первая мировая).

Ключевые слова: внешняя политика; политика памяти; дискурс; публичная дипломатия; постструктурализм; исследования памяти.

Для цитирования: Пахалюк К.А. Обращение к прошлому в контексте российского внешнеполитического дискурса (по материалам Министерства иностранных дел) // Политическая наука. – М., 2018. – № 3. – С. 291–314. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.12

* **Пахалюк Константин Александрович**, аспирант кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России (Москва, Россия), e-mail: kap1914@yandex.ru

Pakhalyuk Konstantin, MGIMO University (Moscow, Russia), e-mail: kap1914@yandex.ru

© Пахалюк К.А.

DOI: 10.31249/poln/2018.03.12

K.A. Pakhalyuk

Historical memory in the foreign policy discourse of the modern Russia

Abstract. Considering historical memory as a discursive phenomenon, the author studies the place of the «historical argument» in that semiotic space that is formed around the activities of the Russian Ministry of Foreign Affairs. The main thesis is that the referring to the past provides a moral justification for the foreign policy pursued, but because of domination of the ethics of virtue, not of universal principles, activities in the field are focused on emphasizing the role of Russia and its achievements. The main attention is paid to the struggle against Nazism during the WWII, less afford are oriented on creating the image of savior (for example, the Russian-Turkish war of 1877–78 for the liberation of Bulgarian people) or the responsible member of military alliances in different historical periods (Napoleonic wars, World War I).

Keywords: foreign policy; politics of memory; discourse; public diplomacy; poststructuralism; memory studies.

For citation: Pakhalyuk K.A. Historical memory in the foreign policy discourse of the modern Russia // *Politica; science (RU)*. – M., 2018. – N 3. – P. 291–314. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.12

О нарастающей значимости исторической проблематики говорит даже самый беглый тематический поиск по официальному сайту Министерства иностранных дел (<http://www.mid.ru>): в 2012 г. по запросу «истор*» находятся 492 новости, в 2013 г. – 493, в 2014 г. – 779, в 2015 г. – 715, в 2016 г. – 678, за 2017 г. – 747 новостей. Рубежным стал 2014 год, а именно события «русской весны», которые привели к некоторой идеологизации внешнеполитической риторики и усилению акцентов на применении «мягкой силы». Однако можно говорить и о влиянии внутривнутриполитических тенденций, а именно «консервативного поворота» [Бызов, 2015, с. 26–30], когда проблемам исторической памяти стало придаваться повышенное значение. Возрастающий общественный интерес к прошлому наблюдается не только в России: о «мемориальном буме» в странах Европы и Америки говорят с конца 1980-х годов. Он рассматривается как следствие трансформации институтов позднего модерна, когда утрата телеологической перспективы (крушение «больших нарративов», по Ф. Лиотару) восполняется повышенным вниманием к собственной истории [Ассман, 2017; Нора, 2005].

В России середины 2010-х годов историческое прошлое стало превращаться в одно из оснований макрополитической иден-

точности, в своеобразную квазитрансценденцию (в той логике, которая развита в: [Каспэ, 2012]), позволяющую выработать язык разговора об общих ценностях и легитимировать современное политическое устройство, на что одним из первых обратил внимание Л. Бляхер [Бляхер, 2014, с. 74–76]. Например, в Стратегии национальной безопасности 2015 г. отмечалось: «Основой общероссийской идентичности народов Российской Федерации является исторически сложившаяся система единых духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей». В число таких ценностей входят «историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины» [Стратегия национальной безопасности, 2015]. Характерно, что центральное место в выступлениях президента В.В. Путина на историческую тематику занял тезис о непрерывной тысячелетней истории России, который в свою очередь отсылает к государствоцентричному нарративу [Малинова, 2015].

Подобное усиление значимости исторической памяти не могло не повлиять на формирование российского внешнеполитического дискурса, под которым мы понимаем совокупность речевых актов тех, кто облечен правом представлять Россию и выступать от ее имени. Тем самым производится автономное семиотическое пространство, обладающее внутренней связанностью и воспроизводящее определенную социальную онтологию. Именно здесь происходит саморепрезентация российской внешней политики как перед внутренней, так и перед внешней аудиторией, кристаллизуется желаемый образ страны, обосновывается проводимая стратегия, а также формируется коммуникативное пространство сотрудничества.

Цель статьи – рассмотреть, какое место занимает обращение к прошлому в рамках этого дискурса. Исходным является утверждение об эстетической (в духе Т. Иглтона, Ф. Анкерсмита и Г.И. Мусихина) роли обращения к прошлому, когда история задает дополнительное, ценностное, измерение внешнеполитическим событиям, оттесняя узкую прагматичность и позволяя дискурсивно и перформативно установить связь с возвышенным [Eagleton, 2007; Мусихин, 2013, с. 14–44]. Хронологические рамки исследования – 2012–2017 гг., т.е. почти весь третий срок президентства В.В. Путина. Источниковую базу составили концептуальные внешнеполитические документы и различного рода материалы, публикуемые на сайте Министерства иностранных дел России. Поскольку именно

его сотрудники уделяют особое внимание формам репрезентации, мы полагаем возможным ограничиться этим кругом источников, отчетливо осознавая, что полномочиями в области международной деятельности обладают и иные федеральные и региональные органы исполнительной и законодательной власти.

Место исторической проблематики во внешнеполитическом дискурсе

Исследование мы полагаем необходимым начать с определения того, как именно тематизируется обращение к исторической памяти в основополагающих внешнеполитических документах. В соответствующей части Стратегии национальной безопасности история упоминается в контексте информационного противоборства на глобальной арене, озабоченность вызывают попытки «манипулирования общественным сознанием и фальсификации истории» [Стратегия национальной безопасности... 2015]. В Концепции внешней политики 2013 г. историческая проблематика представлена в разделе «международное гуманитарное сотрудничество и права человека», причем она увязана с двумя направлениями: соотечественники (история как то, что связывает их с Родиной) и противодействие экстремизму. «Попытки переписать историю и использовать ее в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике» следуют сразу за такими явлениями, как «экстремизм», «неонацизм», «агрессивный национализм». В региональных приоритетах общее историческое наследие упомянуто в параграфе про СНГ, а «исторические корни» связывают Россию со странами Евро-Атлантического региона (п. 54) [Концепция внешней политики... 2013]. В Концепции внешней политики 2016 г. место «истории» фактически не изменилось [Концепция внешней политики... 2016].

Весьма скромное место историческая проблематика занимает в ежегодных документах об основных внешнеполитических событиях за год и внешнеполитических итогах. Так, из 21 основного внешнеполитического события в 2012 и 2013 гг. история фигурирует в двадцатом по счету, посвященном продвижению культуры. В 2014 г. история не упоминается, однако в «Основных итогах деятельности МИД РФ в 2014 году» в качестве достижения отмечено

внесение в ГА ООН проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма. В разделе II один параграф посвящен исторической тематике, а именно обустройству воинских захоронений за рубежом. В 2015 г. в «Основных внешнеполитических событиях» исторической тематике не нашлось места, а в 2016 г. она локализовалась в самом конце, в разделе про соотечественников. В 2017 г. из 12 пунктов история обнаруживается на предпоследнем месте, а именно в виде инициативы С.В. Лаврова на 72-й Генассамблее ООН «об обеспечении международно-правовых рамок против разрушения мемориального наследия» [Основные... 2018].

Разрыв между положением исторической тематики в основополагающих документах и выступлениях, с одной стороны, и увеличением частотности обращения к ней – с другой, требует объяснения. Оно, на наш взгляд, заключается в том, что историческая память лишь в отдельных случаях порождает собственные виды деятельности, в то время как обращение к ней происходит в рамках других мероприятий, добавляя им эстетическое – и вместе с ним ценностное – измерение. В конечном счете российская внешняя политика остается сугубо прагматичной, структурированной духом *realpolitik* не только по содержанию, но и по форме. Отсюда неготовность воспринимать ценности и «символические игры» всерьез и низведение их до уровня «мягкой силы», т.е. подчинение прагматическим задачам.

Сквозной анализ материалов с сайта МИД (по запросам «истор*» и «памят*») подтверждает, что историческая проблематика преимущественно входит в две категории: «информационные войны» и «гуманитарное сотрудничество». Тематически основная деятельность может быть сведена в следующие группы: военномемориальное сотрудничество, противодействие фальсификациям истории Второй мировой войны, коммеморативные мероприятия, привязанные к памятным датам, укрепление «русского мира» (развитие отношений с соотечественниками, включая казаков).

Анализ материалов сайта Министерства иностранных дел позволяет выделить общую структуру включения истории во внешнеполитическую повестку дня. Существуют даты, задающие регулярность обращения к истории. Наиболее значимы (в хронологическом порядке) День памяти жертв Холокоста (27 января), Сталинградская битва (2 февраля), День дипломатического работника (10 февраля), День защитника Отечества (23 февраля), День

космонавтики (12 апреля), День Победы (9 мая), День народного единства (4 ноября). Регулярными датами, когда памятные мероприятия проводят отдельные посольства, являются 3 марта (День независимости Болгарии), 4 апреля (День освобождения Братиславы), 1 августа и 11 ноября (годовщина начала и окончания Первой мировой войны).

Очевидно, что «исторический внешнеполитический календарь» структурирован национальными и ведомственными датами, преимущественно связанными с военной тематикой. Отметим также определенный европоцентризм историко-мемориальной деятельности, который лишний раз подчеркивает, что, несмотря на все конфликты, Россия продолжает позиционировать себя как часть европейской цивилизации. В определенной степени этому способствовали юбилеи трех крупных общеевропейских войн (Отечественная война 1812 г. и Заграничные походы, Первая и Вторая мировые войны), причем в каждом случае это позволяло говорить о роли России в спасении Европы.

Сравнительно меньшее внимание уделяется мемориализации представителей русской культуры и достижений в освоении космоса. Здесь выделяются фигуры А.С. Пушкина и Ю.А. Гагарина: практически каждый год в рассмотренный период им устанавливались памятники.

Мемориальная деятельность в основном сосредоточена на создании памятников военной славы и обустройстве военных захоронений. Кроме того, День памяти латышских легионеров (16 марта) и день подписания пакта «Молотова – Риббентропа» (23 августа) вызывают ответную реакцию российского МИД на заявления европейских политиков, которые признаются антироссийскими. Из всего перечисленного только 27 января и 11 ноября являются международными памятными датами, причем характерно, что в последние годы внимание к ним возрастает. Стоит отметить, что после 2014 г., когда активно проводились мероприятия к 100-летию Первой мировой войны, эта тема не выпала из поля деятельности государственных структур: российские представительства во Франции и в Латвии регулярно проводят те или иные памятные мероприятия.

Обращение к прошлому как артикуляция внешнеполитической идентичности России

Рассматривая внешнеполитический дискурс, формируемый различными публичными высказываниями представителей МИД, мы исходим из того, что именно в этом пространстве формулируется и (ре)артикулируется внешнеполитическая идентичность России. Основываясь на материалах 1990–2000-х годов, В.Е. Морозов [Морозов, 2009] выделил ключевые особенности, которые, как мы можем судить на основе нашей выборки, сохраняют актуальность и сегодня.

Ключевой структурой дискурса внешнеполитической идентичности является романтический реализм, который «как артикуляционная практика направлен на устранение дислокации¹ и конституирование политического сообщества как замкнутой, непротиворечивой структуры» [Морозов, 2009, с. 358]. Государство предстает как центральный субъект международных отношений, причем оно неотделимо от нации (понятой в примордиалистском духе) с естественными интересами и идентичностью [Морозов, 2009, с. 328–344]. Весьма показательно, что во всем отобранном нами материале с сайта российского МИД отдельные события, личности или действия, о которых говорят или которые увековечиваются, неизменно атрибутируются как представляющие современную Россию и составляющие ее символический капитал. И если, например, в отношениях с постсоветскими странами еще подчеркивается, что победа во Второй мировой войне была итогом совместных усилий, то во всех остальных случаях этот аспект опускается. Тем более подобная рефлексия не затрагивает другие периоды истории (например, Первую мировую, Русско-турецкую 1877–1878 гг. или Наполеоновские войны). Только в 2017 г. наметилась тенденция задействовать ресурс общей памяти для организации международного давления. Так, в конце декабря находящиеся в Праге послы России, Азербайджана, Армении, Беларуси и Казахстана направили коллективное письмо, в котором выразили про-

¹ В постструктуралистской теории дислокация подразумевает подвижность означающих структур, а устранение дислокации трактуется как стремление зафиксировать единственно верное значение.

тест против идеи переделать надпись на памятнике И.С. Коневу и упомянуть о его участии в «оккупации Чехословакии».

В меньшинстве и даже в определенной оппозиции к сложившейся гегемонистской артикуляции оказываются те, кто пытается поставить под сомнение тезис преемственности. Например, сенатор В.П. Лукин, который отмечал: «Экзальтация советской матрицы ощущается все сильнее и ведет зачастую к серьезным (которых вполне можно было бы избежать, а потому излишним) внешнеполитическим проблемам, когда Россия берет сама на себя ответственность за темные деяния советских времен, которые совершенно не касаются и не должны касаться современной России» [Лукин, 2017, с. 47–48]. Впрочем, даже в этом утверждении призыв дистанцироваться от определенных событий прошлого вовсе не связан с готовностью признать ответственность за него. Это отличает Россию от современной Германии, которая не просто сделала осуждение нацистского прошлого одним из элементов формирования позитивного образа за рубежом, но и превратила его в основу общеевропейской культуры памяти [Ассман, 2016, с. 169; Kucia, 2016; Levy, Sznaider, 2002]. Поскольку романтический реализм во многом определяет рассматриваемый дискурс, а Великая Отечественная война занимает в нем центральное место, то становится проблематичным отмежевание от некоторых сторон советского прошлого, которое в ряде стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии оценивается далеко не всегда положительно. Соответственно, формируется логика эквивалентности, когда антикоммунистические высказывания и жесты воспринимаются официальными структурами как антироссийские, а потому в случае ухудшения политических отношений (как с Украиной и Польшей в 2014–2017 гг.) их и воспроизводят для того, чтобы продемонстрировать неприятие российского внешнеполитического курса.

Другая особенность гегемонистского дискурса внешнеполитической идентичности – «дуализм» причинности, когда признаются «либо только прозрачные для самосознания акты, либо только вещи, «детерминированные извне», чаще всего экономически, любые явления и события, не вписывающиеся в рационалистическую парадигму, могут быть “укрощены” либо путем реификации культурных особенностей, либо благодаря классификации “отклонений” как проявления коррупции» [Морозов, 2009, с. 343]. В этом

контексте наделяются непрозрачной значимостью эти самые «культурные особенности»: официальные лица нередко пеняют «историческому Западу» на непонимание «исторических особенностей» стран Ближнего Востока (особенно Сирии), которое привело к столь тяжелой ситуации в регионе.

Точно так же история превращается в причину, объясняющую поведение государства на международной арене, а знание истории становится требованием для дипломатического работника. Показателен следующий пример: на замечание иностранного журналиста о том, что зарубежному наблюдателю сложно понять планы и перспективы России в глобальном масштабе, С.В. Лавров заявил: «Если кого-то волнуют те вопросы, которые вы сейчас озвучили, я советую почитать историю России. Тогда многое становится понятно» [Выступление и ответы на вопросы... 2016]. Естественно, это уход от ответа на вопрос, однако значение имеет сама форма ухода, а именно апелляция к тому, что действия России определяются (фундированы) самой историей, а ее знание позиционируется как политический ресурс.

Другая составляющая описываемого В.Е. Морозовым дискурса – секьюритизация идентичности (что в нашем случае проявляется в призыве защитить историю от фальсификаций), которая неотделима от проведения четкой границы между «своими» и «другими». Это наиболее заметно в попытках представить историю как поле «информационной войны»: в рамках этой концептуальной метафоры занимаемые позиции требуют отстаивания, в то время как попытка найти общий язык может быть воспринята как уступка и поражение. Логика «свой – чужой» в значительной степени структурирует отношение к исторической проблематике, делая проблематичным, например, доминирующее в Западной Европе отношение к мировым войнам как к трагедии. Любое упоминание о трагедии невозможно без указания на параллельный героизм русских (советских) солдат или же на «виновных».

Как писал В.Е. Морозов, враждебным Другим в рамках российского дискурса идентичности оказывается Запад, в то время как Европа разделяется на Европу «истинную» и «ложную». Так, впервые данная артикуляционная практика была применена к прибалтийским государствам в середине 2000-х годов, когда факты реабилитации нацистских коллаборационистов стали основанием для изобличения новых членов ЕС как «ложной Европы», в то

время как Россия позиционировала себя защитницей «европейских антифашистских ценностей». В дальнейшем в категорию «неправильной» Европы попала Польша. Та же дискурсивная практика с 2014 г. активно применяется и по отношению к Украине. Значимость событий Второй мировой войны для всей Европы является основанием используемого Россией символического ресурса, дающего возможность легитимно осуждать проявления экстремизма в странах Восточной Европы.

Обозначенные особенности дискурса структурируют внешнеполитическую идентичность России и, соответственно, то, каким образом происходит обращение к прошлому. С точки зрения выражения отношения к текущим событиям история обладает метафорическим значением, позволяя активировать игру эквивалентностей, морально обосновывающую проводимую политику или высказываемые оценки. Удивительно, но в отличие, например, от государственных телеканалов и изданий, представители внешнеполитического ведомства сравнительно редко используют историю в этой символической игре. Как правило, она ведется в рамках трех дискурсивных практик (помимо противопоставления «ложной» и «истинной» Европы).

Во-первых, упомянутая выше связка между знанием истории и проведением правильной политики позволяет актуализировать связку «знание – власть» и установить отношения эквивалентности между Россией и ее знанием истории, а также оппонентами и их незнанием, что укрепляет тезис об ошибочности их политики.

Во-вторых, активно заимствуются метафорические образы, касающиеся Второй мировой войны, которая предстает как борьба между абсолютным добром (СССР и союзники) и абсолютным злом (нацистская Германия и фашистский блок). Соответственно, героизация в Прибалтике и на Украине тех, кто служил в вооруженных формированиях Третьего рейха или воевал против Красной армии, рассматривается как проявление неонацизма.

В-третьих, устанавливается эквивалентность между забвением прошлого (борьбой против исторической памяти) и политической конъюнктурностью, сопряженной с негативными политическими последствиями. Наибольшую популярность приобрел тезис о росте правого популизма в Восточной Европе как результате «борьбы с коммунизмом». Впрочем, выстраивание подобной эквивалентности вряд ли может быть убедительным в глазах тех, кто не при-

держивается тезиса о конъюнктурном отношении к истории в странах Европы.

Подобные риторические тактики могут порождать различные символические пространства внутри России, служить укреплению представления об истории как общем фундаменте российской политики, однако в контексте внешнеполитического дискурса они вторичны. На наш взгляд, важнее определить, в рамках какой модальности происходит обращение к истории: это не просто один из видов деятельности, вокруг которой разворачивается сотрудничество, а то пространство возвышенного (эстетического, квазитрансцендентного), обращение к которому служит восполнению ценностного дефицита внешнеполитической риторики. Однако если, например, в контексте общеевропейской политики памяти апелляция к теме Холокоста служит обоснованию общеевропейских ценностей, а уже они лежат в основе общеевропейского политического проекта, то в случае с Россией это постоянное среднее звено фактически отсутствует. Историческое прошлое здесь самодостаточно, а обращение к нему призвано подчеркнуть роль России как глобального игрока. Однако за пределами остается рефлексия на тему того, убедительны ли исторические аргументы для внешней аудитории, имеющей собственные критерии морального суждения. Отсюда недостаток саморепрезентации, которая сводит обращение к прошлому к обоснованию «роли» и «вклада», а не использует его для моральных выводов или для демонстрации служения некоей трансценденции. В конечном счете здесь мы видим прямое влияние сложившегося еще в советское время доминирования этики добродетелей, а не этики принципов, когда вместо следования универсальным принципам мы имеем дело с «моралью уместного поведения», вдохновляемой примерами достойного действия (героизма) [Хархордин, 2011, с. 269–277].

Попытки придать российской внешней политике особое моральное измерение через обращение к прошлому мы разделяем на три вида. Во-первых, это перформативные действия, которые указывают на то, что мировая культура немыслима без России и ее исторического наследия. Это выражается в сотрудничестве с ЮНЕСКО, направленном на придание тем или иным географическим и историко-культурным объектам статуса «всемирного наследия». Например, в 2014 г. в этот список был внесен Болгарский историко-культурный заповедник (Татарстан). Другое направле-

ние связано с проявлением заботы по отношению к мировому культурному наследию. После землетрясения в итальянской Аквиле в 2009–2012 гг. Россия выделила средства на восстановление Дворца Ардингелли и церкви Святого Георгия [Брифинг... 2013]. В 2012 г. Россия выразила озабоченность тем, что в период гражданской войны в Мали исламистские организации взорвали часть объектов в древнем Тимбукту. Во время войны в Сирии Россия также неоднократно высказывала озабоченность состоянием руин древней Пальмиры. После ее освобождения в начале 2016 г. здесь был дан концерт Симфонического оркестра под управлением всемирно известного дирижера В.А. Гергиева, а в дальнейшем начались работы по реставрации. Этот символический жест привнес эстетическое, ценностное измерение в участие России в сирийской операции.

Во-вторых, в последнее время наметились попытки вписаться в формируемую общеевропейскую культуру памяти, в основе которой лежит память о Холокосте. Так, в 2014 г. Россия перевела 1 млн долларов в Фонд Аушвиц-Биркенау; тогда же Россия согласилась присоединиться к международному проекту по обновлению мемориального комплекса в Собиборе, лагере смерти, где в октябре 1943 г. советский лейтенант А.А. Печерский поднял успешное восстание. Однако Польша фактически заблокировала участие России в данном проекте, что вызвало объяснимую негативную реакцию. Однако если в Западной Европе доминирует трагический нарратив о Холокосте (акцент на страданиях и скорбь по жертвам, а также постановка проблемы своей ответственности за преступления прошлого), то в Восточной Европе он вытесняется трагическим нарративом о жертвах собственных наций (при этом вопрос ответственности за собственные преступления практически не ставится [см.: Миллер, 2016]), а Россия вписывает тему Холокоста в контекст героического нарратива с акцентом на борьбе против нацизма (и здесь Печерский предстает как ее символ) и роли Красной армии в спасении еврейства. При этом из дискурса исключается то, что практически половина (2,8 млн человек) убитых евреев были советскими гражданами, хотя это дает основания считать Холокост трагедией и российского народа.

В-третьих, указание на роль России в мире происходит через отсылку к военным победам, что направлено на формирование образа спасительницы европейской цивилизации, а также ответст-

венного члена международного сообщества, всегда выступавшего за укрепление военно-политической безопасности. Разгром международного агрессора Наполеона, спасение болгарского народа из-под османского ига, следование союзническим обязательствам Первой мировой и последовательное противодействие нацистской угрозе – все эти исторические сюжеты призваны убедить в том, что российская внешняя политика всегда следовала определенным «международным добродетелям». Так, в концептуальной статье министра С.В. Лаврова «Историческая перспектива внешней политики России» (март 2016 г.) уже в третьем абзаце дается краткий итог «четырех военных юбилеев» 2012–2015 гг. (победа над поляками в 1612 г., Отечественная война 1812 г., 100-летие Первой мировой войны и 70-летие Победы): «Если вдуматься, эти вехи недвусмысленно свидетельствуют об особой роли России в европейской и мировой истории» [Лавров, 2016]. Хотя подобные акценты зарубежным слушателем воспринимаются как проявление милитаризма, мы не можем сделать подобный однозначный вывод.

Этот дискурс структурировал и мемориальную политику 2012–2017 гг. по созданию новых «мест памяти», связанных с Россией. Если активизация процессов декоммунизации в странах Восточной Европы в виде сноса памятников воспринимается как попытка принизить роль России в мире [см.: Брифинг... 2017 а], то становится логичным закрепить ее посредством «монументальной пропаганды» за рубежом. Так, к 100-летию Первой мировой войны в Сербии был установлен памятник Николаю II (напротив президентского дворца в Белграде) как правителю, который вступил в войну, защищая Сербию; во Франции особое внимание было уделено «посланному на спасение» Русскому экспедиционному корпусу (в честь его солдат в общей сложности были установлены пять памятников и одна мемориальная доска). В рамках двусторонних отношений наибольшей интенсивностью отличаются те направления, где Россия может также заявить о себе как о спасительнице: в Чехии, Словакии, Польше, Сербии, Хорватии – освобождение от нацистской оккупации в 1945 г.; в Болгарии – освобождение болгарского народа во время войны с Турцией в 1877–1878 гг. Список примеров можно расширять и далее, что могло бы стать темой отдельного исследования, однако принципиально то, что в каждом случае речь идет не только о сыгранной роли, но и об определенных «внешнеполитических добродетелях»

(борьба против международного агрессора, защита «слабых», выполнение союзнических обязательств).

«Локусы» актуализации исторической тематики

Выше мы описали общие особенности обращения к прошлому в контексте внешнеполитического дискурса, однако сам он не разворачивается вне конкретного социально-политического контекста. Обилие высказываний не позволяет уделять внимание обстоятельствам появления каждого, однако прослеживается определенная регулярность обстоятельств обращения к прошлому. Эти обстоятельства мы называем «локусами» актуализации исторической памяти, в частности: юбилеи двусторонних отношений, комментарии, международные мероприятия.

Особенность юбилейного локуса заключается в том, что история превращается в некий благоприятный фон, демонстрируемый внешнему наблюдателю и направленный на формирование представления о «долгой традиции устойчивых отношений». Традиционно проводятся мероприятия (встречи, визиты, выставки и конференции) и публикуются материалы, связанные с юбилеем установления Россией дипломатических отношений с той или иной страной.

Локус комментария представляет особую дискурсивную практику, когда посредством официальных заявлений, озвученных сотрудниками Центрального аппарата МИД, происходит включение тех или иных событий, связанных с историей, в актуальный политической контекст. Тем самым осуществляется их политизация: они наделяются дополнительной символической значимостью, а заявленные интерпретации приобретают официальный статус. Сам жанр комментария предполагает краткость, отточенность формулировок при минимальной фактологии, а потому собственно история изгоняется из таких заявлений, уступая место перформативному утверждению отношения к ней. Например, в апреле 2012 г. посольство США в Эстонии опубликовало на сайте сообщение к «годовщине» рейда советских бомбардировщиков против нацистов, оккупировавших Таллин, в результате налета погибли мирные жители, что осуждалось в заявлении. Ответный комментарий назывался характерно: «Комментарий МИД России в связи с заявлением Посольства США в Эстонии, грубо искажающим историю

Второй мировой войны» [Комментарий... 2012]. Вопрос здесь не просто в разнице интерпретации, а именно в моральной оценке данного события.

В практике российского МИД большинство подобных заявлений касается проблематики демонтажа или осквернения советских памятников на постсоветском пространстве (чаще в Прибалтике, на Украине, в Польше, реже – в Грузии, Австрии, Болгарии, Греции) или же неоднозначных заявлений зарубежных политиков. В 2012 г. мы насчитали восемь таких заявлений (разделы официальных заявлений, комментариев и брифингов), в 2013 г. – шесть, в 2014 – 19, в 2015 – 20, в 2016 – 22, в 2017 г. – 65. Эта динамика отражает усиление политизации истории во внешнеполитическом дискурсе после событий 2014 г. на Украине, причина этого видится не столько в попытках официальных властей намеренно придать политическую значимость проблемам совместного прошлого, сколько в нарастании антироссийских настроений в странах Восточной Европы. Отсюда и участвовавшие случаи сноса памятников советского времени, а также увеличение количества актов вандализма. И если в Польше и на Украине проводится целенаправленная государственная политика по уничтожению тех памятных знаков, которые ассоциируются с советским прошлым, то в остальных случаях мы чаще имеем дело с деятельностью отдельных граждан или радикальных группировок. Причем стоит понимать, что производимые ими акты осквернения получают дополнительную символическую и политическую значимость, если становятся предметом специальных комментариев и заявлений МИД.

Третий локус использования прошлого связан с активностью России в рамках международных организаций, которые превращаются в площадки символической борьбы. Обращение к истории здесь двояко. Первая стратегия предполагает апелляцию к истории для обоснования собственной позиции, тем самым она становится частью символической игры. Например, на площадке ОБСЕ тематика осквернения советских памятников, фальсификации истории и проведения памятных мероприятий в прибалтийских странах (с 2014 г. и на Украине) используется для того, чтобы обосновать рост неонацистских настроений в ЕС, тем самым указав на то, что проблемы с правами человека существуют не только в России.

Другая стратегия направлена на принятие коллективных заявлений, которые бы отражали (пусть даже частично) официаль-

ную позицию относительно событий Второй мировой войны. Так, ежегодно в декабре на заседании Генассамблеи ООН по инициативе России принимается резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В 2012 г. 41 государство выступило соавтором резолюции, 131 проголосовало «за», три (США, Канада и Палау) «против» и 53 воздержались. Уже в 2016 г. цифры были иными – 55 соавторов, поддержали 136 государств, против выступили две делегации (США и Украина) и 49 стран воздержались. В 2017 г. – 57 соавторов, 133 подписали, две против, воздержались 49. Как мы видим, в символическом плане России за последние годы удалось несколько укрепить свою поддержку.

70-летний юбилей Победы стал ключевым поводом для активизации деятельности по принятию соответствующих резолюций, заявлений и деклараций в рамках различных исполнительных структур СНГ (октябрь 2014 г.), ОБСЕ (декабрь 2014 г.), Совета Европы (март 2015 г.), ООН, ШОС (май 2015 г.) и ОДКБ (сентябрь 2015 г.). Любопытно, что если ключевым лейтмотивом деклараций, принятых Советом министров ОБСЕ и Генеральной Ассамблеей ООН, было сохранение памяти о трагедии войны [Памятная декларация... 2014], то в заявлении конференции высокого уровня ШОС победа связывалась с созданием ООН и призывом сохранения ее ведущей роли на мировой арене [Совместное заявление... 2015]. Обращение глав – государств СНГ [Обращение глав... 2014] и заявление глав государств – членов ОДКБ [Заявление государств – членов... 2015] во многом схожи, поскольку подчеркивают роль народов подписавших стран в победе над нацизмом и формировании существующей системы международных отношений, где ООН занимает центральное место. Принятый же конгрессом местных и региональных властей Совета Европы меморандум содержал в себе осуждение возрождения неонацизма и агрессивных националистических идеологий, а также призыв беречь память о подвиге и жертвах, противостоять осквернению памятников членам антигитлеровской коалиции [Меморандум... 2015]. В последовавшем комментарии МИД отмечалось, что «в документе выражается глубокая озабоченность попытками пересмотра итогов Второй мировой войны», что является явно расширительной трактовкой [О принятии... 2015].

В заключение стоит подчеркнуть, что выделенные особенности обращения к прошлому относятся исключительно к тому дискурсивному пространству, которое создается в ходе повседневной работы МИД. Поэтому его нужно отличать как от того семиотического пространства, которое сопровождает деятельность других участников международных отношений, включая общественные организации, так и от конкретной работы в области исторической памяти (установка памятников, обустройство захоронений, проведение открытых лекций, конференций и пр.). Однако именно на уровне внешнеполитического дискурса фиксируются ключевые значения, связанные с исторической тематикой, а включение в него каких-либо событий, тем или оценок повышает их символический статус. Печальная ирония заключается в том, что значительная часть деятельности в разных странах по мемориализации событий и созданию совместных пространств памяти остается незаметной, в то время как негативным сюжетам уделяется повышенное внимание.

Здесь мы выходим на более значимую проблему. В контексте внешнеполитического дискурса обращение к прошлому зачастую направлено на то, чтобы возвещать о достижениях России и ее вкладе в формирование стабильных международных отношений. История призвана играть роль квазитрансценденции, того возвышенного, которое как бы придается прагматичной внешнеполитической деятельности. Наиболее ярко это проявляется во время официальных визитов, когда открываются памятники или возлагаются венки. Однако сами эти жесты требуют расшифровки на уровне дискурса, и здесь оказывается, что собственно вопрос объединяющих ценностей обходится стороной, поскольку ввиду доминирования у нас этики добродетелей исторические сюжеты не нуждаются в расшифровке, в то время как в европейских странах доминирует именно этика принципов.

Список литературы

- Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 232 с.
- Ассман А. Распалась связь времен? – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 272 с.
- Бляхер Л.Е. Искусство неуправляемой жизни. – М.: Издательство «Европа», 2014. – 208 с.

- Брифинг официального представителя МИД России А.К. Лукашевича / Министерство иностранных дел России. – М., 2013. – 19 апреля. – Режим доступа: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/796340 (Дата посещения: 15.02.2018.)
- Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой / Министерство иностранных дел России. – М., 2017 а. – 23 ноября. – Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/-/asset_publisher/D2wHaWMCU6Od/content/id/2979640 (Дата посещения: 15.02.2018.)
- Бызов Л.Г. Консервативный тренд в современном российском обществе – истоки, содержание и перспективы // Общественные науки и современность. – М., 2015. – № 4. – С. 25–49.
- Выступление и ответы на вопросы министра иностранных дел России С.В. Лаврова на Второй международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог», Рим, 2 декабря 2016 года / Министерство иностранных дел России. – М., 2016. – 2 декабря. – Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2544495 (Дата посещения: 15.02.2018.)
- Заявление государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Душанбе, 15 сентября 2015 года / Министерство иностранных дел России. – М., 2015. – 22 сентября. – Режим доступа: http://www.mid.ru/web/guest/integracionnye-struktury-prostranstva-sng/-/asset_publisher/r17Fzr0mbE6x/content/id/1761146 (Дата посещения: 15.02.2018.)
- Каспэ С.И. Политическая теология и nation-building: Общие положения, российский случай. – М.: РОССПЭН, 2012. – 191 с.
- Комментарий МИД России в связи с заявлением Посольства США в Эстонии, грубо искажающим историю Второй мировой войны / Министерство иностранных дел России. – М., 2012. – 16 марта. – Режим доступа: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/164794 (Дата посещения: 15.02.2018.)
- Концепция внешней политики Российской Федерации. – М., 2016. – Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (Дата посещения: 15.02.2018.)
- Концепция внешней политики Российской Федерации. – М., 2013. – 12 февраля. – Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptlCkVB6BZ29/content/id/122186 (Дата посещения: 15.02.2018.)
- Лавров С.В. Историческая перспектива внешней политики России. – М., 2016. – 3 марта. – Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2124391 (Дата посещения: 13.01.2018.)
- Лукин В.П. Внешнеполитический курс постсоветской России: В поисках идентичности // Международная жизнь. – М., 2017. – № 1. – С. 47–48.
- Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. – М.: РОССПЭН, 2015. – 207 с.
- Меморандум в связи с 70-й годовщиной Победы над фашизмом / Министерство иностранных дел России. – М., 2015. – 31 марта. – Режим доступа: http://www.mid.ru/web/guest/akkred/-/asset_publisher/D2wHaWMCU6Od/content/id/1125959 (Дата посещения: 15.02.2018.)

- Миллер А.И. Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти // *Полития*. – М., 2016. – № 1. – С. 111–121.
- Морозов В.Е. Россия и другие. Идентичность и границы политического сообщества. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 654 с.
- Мусихин Г.И. Очерки теории идеологий. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 288 с.
- Нора П. Всемирное торжество памяти // *Память о войне 60 лет спустя*. Россия, Германия, Европа / Ред.-сост. М. Габович. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – С. 391–402.
- О принятии на 28-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Меморандума в связи с 70-й годовщиной Победы над фашизмом / Министерство иностранных дел России. – М., 2015. – 31 марта. – Режим доступа: http://www.mid.ru/web/guest/k-70-letiu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne/-/asset_publisher/fTsGoCVQTjkk/content/id/1125748 (Дата посещения: 15.02.2018.)
- Обращение глав государств – участников Содружества Независимых Государств к народам государств – участников Содружества и мировой общественности в связи с 70-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов / Исполнительный Комитет СНГ. – Минск, 2014. – 10 октября. – Режим доступа: <http://www.cis.minsk.by/page.php?id=19170> (Дата посещения: 15.02.2018.)
- Основные внешнеполитические итоги 2017 года / Министерство иностранных дел России. – М., 2018. – 25 января. – Режим доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3034243 (Дата посещения: 15.02.2018.)
- Памятная декларация министров о 70-летию окончания Второй мировой войны. – Базель, 2014. – 5 декабря. – Режим доступа: <https://www.osce.org/ru/cio/132726?download=true> (Дата посещения: 15.02.2018.)
- Совместное заявление Конференции высокого уровня «Безопасность и стабильность в регионе ШОС» / Министерство иностранных дел России. – М., 2015. – 4 июня. – Режим доступа: http://www.mid.ru/web/guest/sanhajskaa-organizacia-sotrudnicestva-sos/-/asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/1386255 (Дата посещения: 15.02.2018.)
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. – М., 2015. – 31 декабря. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391/page/1> (Дата посещения: 15.02.2018.)
- Хархордин О. Основные понятия российской политики. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 328 с.
- Eagleton T. *Ideology. An introduction*. – L.; N.Y.: Verso, 2007. – 242 p.
- Feierstein D. *Genocide as social practice*. – New Brunswick: Rutgers univ. press, 2014. – 288 p.
- Kucia M. The europeanization of Holocaust memory and Eastern Europe // *East European politics and societies and cultures*. – L., 2016. – Vol. 30, N 1. – P. 97–119.
- Levy D., Sznajder N. The Holocaust and the formation of cosmopolitan memory // *European journal of social theory*. – L., 2002. – Vol. 5, N 1. – P. 86–106.

Д.Н. ТКАЧ*

ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX в. В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЕ В ПАМЯТЬ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Аннотация. Первая мировая война повлекла за собой волну формирования национальных государств и придала новый импульс процессу демократизации. Эти социальные и политические трансформации прослеживаются в мемориальной скульптуре послевоенного периода, отражающей память человечества о первой четверти XX в. Постепенный отход от традиций имперскости и использование символов национальных государств в художественном наполнении памятников передают интенсификацию нацистроительства, а обращение к тематике подвига простого человека и отсылка к героике мира отображают очередной всплеск демократизации. В статье подчеркнута значимость функции мемориальных комплексов как объектов воспроизведения коллективной памяти.

Ключевые слова: Первая мировая война; нацистроительство; демократизация; военные мемориалы; коллективная память.

Для цитирования: Ткач Д.Н. Отражение политических и социальных процессов первой четверти XX в. в монументальной скульптуре в память о Первой мировой войне // Политическая наука. – М., 2018. – № 3. – С. 315–329. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.13

* **Ткач Дмитрий Николаевич**, студент магистратуры Московского государственного института международных отношений МИД России (Москва, Россия), e-mail: mitya_tkach@mail.ru

Tkach D., Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Russia (Moscow, Russia), e-mail: mitya_tkach@mail.ru

© Ткач Д.Н.

DOI: 10.31249/poln/2018.03.13

D.N. Tkach
Reflections of political and social processes
of the first quarter of the 20 th century in First World War memorials

Abstract. The First World War created a wave of nation-state building and gave a new impulse to the democratization process. The article shows how such social and political transformations have been reflected in the memorials of the post-war period, representing people's recollections of the events of the era. From the artistic perspective, gradual diversion from the imperial tradition and more national symbols in the design of the monuments demonstrate the intensification of nation-state building, while reference to the heroism of common people and to the attributes of peace represent yet another wave of democratization. The article stresses the importance of memorials in visualizing collective memory.

Keywords: the First World War; nation-building; democratization; war memorials; collective memory.

For citation: Tkach D.N. Reflections of political and social processes of the first quarter of the 20th century in First World War memorials // Political science (RU). – M., 2018. – N 3. – P. 315–329. – DOI: 10.31249/poln/2018.03.13

Первая мировая война стала огромным потрясением для всего мира. Она повлияла на ход политических, социальных, экономических процессов, в значительной степени изменив их вектор и преобразовав содержательное наполнение. Эта война ознаменовала переход к новой фазе развития человечества, создав новую повестку дня для всего мирового сообщества. Двумя ключевыми пунктами этой повестки стали национализм и демократизация.

Идею о том, что серьезные потрясения являются катализаторами изменений политической картины мира, мы находим у американского политолога Филипа Рёдера, который выделяет четыре волны («взрыва») нациестроительства: после Венского конгресса 1815 г., в первой четверти XX в., после Второй мировой войны и после окончания холодной войны [Roeder, 2007, p. 6]. В контексте данного исследования нас интересует именно второй «взрыв», датируемый первой четвертью XX в. и в еще большей степени привязанный к Первой мировой войне в исследовании испанского ученого Жозепа Коломера. В его видении, весьма приближенном к представлениям Рёдера, вторая волна создания наций-государств пришлась на период между двумя мировыми войнами. Связан этот всплеск был в первую очередь с крахом трех империй – Австро-Венгерской, Османской и Российской, после чего к 1920 г. в Европе

образовались 10 новых независимых государств. Таким переменам также способствовало привнесенное в политический дискурс американским президентом Вудро Вильсоном понятие «принцип национальностей», которое заключалось в формировании этнически однородных государственных образований [Colomer, 2007, p. 10–11].

Понять значение послевоенного «перелома» можно через память о происходивших событиях, которая остается у современного человека. Иногда кажется, что память – это общеизвестное и всем понятное явление, которое не требует объяснений, но это далеко не так. Память может быть категорией исторической, духовной, нравственной и в то же время включать материальные объекты – культурное наследие. Она определяет человека, его принадлежность к конкретной точке развития человечества, связывает его самого с прошлым и отправляет его опыт в будущее; через память общаются поколения.

Французский философ и социолог Морис Хальбвакс обращает внимание на то, что фиксация является инструментом превращения живой памяти в историю [Хальбвакс, 2005]. Он пишет прежде всего о письменной фиксации, о литературных источниках, однако нам видится, что подобная фиксация может быть представлена и другими формами, например мемориальной скульптурой. Такие коммеморации современный французский историк Пьер Нора относит к числу мест памяти (*lieux de mémoire*) [Нора, 1999, с. 20].

Вместе с тем мемориальные комплексы Первой мировой войны запечатлели не только военную историю – многие из них отразили и новые унастроения послевоенного времени. На основе анализа ряда таких комплексов мы предпримем попытку показать, как произошедшие общественно-политические сдвиги придали новое измерение памяти об этой войне.

Все исторические понятия характеризуются пространственно-временными категориями. Мемориальная скульптура как жанр изобразительного искусства – это способ запечатления образов и воспроизведения окружающей среды, поэтому аспекты пространства и времени крайне важны при рассмотрении памятников Первой мировой войны.

Касаемо пространства необходимо выделить несколько моментов. Во-первых, война 1914–1918 гг. – это война мировая. О вовлеченности всего международного сообщества в военные действия свидетельствует расположение мемориальных комплек-

сов не только в Европе, но и в Америке и Азии. Так, в Нью-Дели была воздвигнута триумфальная арка – мемориал солдатам, павшим в сражениях с 1914 по 1921 г., позже получивший название «Ворота Индии» (начало строительства – 1921 г. [His Royal Highness... 1921, p. 67–71], открытие – 1931 г. [Metcalfe, 2014]). В Северной Америке – Национальный военный мемориал Канады (1939) [National War Memorial, 2017] и Могила Неизвестного Солдата на Арлингтонском кладбище в США, где в 1921 г. захоронили погибшего в сражениях Первой мировой солдата [Mossman, Stark, 1991, p. 3–18]. Даже в Таиланде существует мемориал добровольцам – участникам Первой мировой войны (1921) [Whyte, Whyte, 2008, p. 176].

Во-вторых, многие памятники воздвигались на местах сражений. Например, Мененские ворота в городе Ипре (1923–1927) [Ypres (Menin Gate) Memorial, 2018] или Тьепвальский мемориал без вести пропавшим в битве на Сомме (даты строительства: 1928–1932 гг.) [Thiepval Memorial, 2018]. Стоит отметить, что в современных условиях такие коммеморации используются в политических целях для формирования общей европейской идентичности [Пахалюк, 2017]. Символическая политика осуществляется для достижения задач по реализации конкретной социально-политической установки. Тьепвальский мемориал, например, был изначально возведен как символ англо-французского вклада в единое дело Победы. В июле 2016 г. по случаю 100-летней годовщины битвы на Сомме на торжественной церемонии присутствовали представители английских и французских политических кругов президент Франсуа Олланд, премьер-министр Дэвид Кэмерон, принц Уэльский Чарльз с супругой, герцог и герцогиня Кембриджские, принц Уэльский Гарри [Battle of the Somme, 2016]. Событие широко освещалось в прессе.

В-третьих, часто памятники ставили не только в крупных, но и в маленьких городах. Во многих небольших городках на монументах увековечивали имена павших смертью земляков. Особенно это было распространено во Франции, Бельгии и Англии. Более того, часто возникала проблема выбора места для будущего памятника. Одним лучшим местом для мемориала виделась удаленная от городской суеты поляна, другим казалось, что памятник в центре города будет лучше привлекать внимание жителей и побуждать их задумываться об отважных защитниках. Чаше, конечно, выбирали

второй вариант. Эта проблема созвучна с описанным в работах П. Нора противостоянием между доминирующими и доминируемыми местами памяти: первые – это места, куда приходят против воли и где мысль об увековеченных событиях навязывается, вторые – более сокровенные места, убежища для уединения и личных переживаний [Проблематика мест... 1999, с. 46].

Таким образом, в географическом плане наблюдаются две тенденции: первая – объединяющая (Первая мировая война – единое несчастье единого мира) вторая – конкретизирующая (Первая мировая война – героическая победа, в которую внес свою лепту каждый). Именно второй тренд позволяет говорить о национальном строительстве, так как в описанных примерах объективно прослеживается индивидуализация, а в более широком смысле – национализация памяти.

В категориях времени памятники Первой мировой войны становятся соединяющим звеном между прошлым и будущим. Даты на мемориальных плитах указывают на связь с конкретным моментом, однако художественные черты могут отсылать в далекое прошлое. В скульптуре и архитектуре первой половины XX в. еще очень сильно влияние классицизма: наблюдается применение таких традиционных античных форм, как обелиск, полукруглая арка. Например, памятник героям Второй Отечественной войны в Вязьме, открытый в 1916 г., представлял собой обелиск, увенчанный крестом [Комаров, 2016], а памятник Неизвестному герою в Белграде (1934–1938) воспроизводит формы гробницы-зиккурата Кира в Пасаргадах [Spomenik Neznanom Junaku, б. г.]. Параллельно с обращением к древней истории люди пытались донести до своих потомков мысль о великом подвиге, что говорит и о связи с будущим. По сути, общество стало думать о вечности в системе координат «прошлое – будущее». Одним из внешних выражений этого восприятия стал Вечный огонь. Впервые в Европе он появился на Могиле Неизвестного Солдата в Париже в 1920 г., а позже был создан в Варшаве [Юдкина, 2015]. Такое понимание еще раз подтверждает формирование коллективной памяти, для которой необходима «интенция памяти», т.е. желание сохранить определенные ценности в будущем [Нора, 1999, с. 40].

Первая мировая война стала одновременно причиной распада империй и катализатором образования национальных государств. Монументальное искусство достаточно подробно повествует об

этих процессах. Черты имперскости явственно проступают в немецких мемориалах. После войны памятники героям-воинам почти не возводились на территории Германии, так как в международном сообществе она считалась побежденной стороной, однако места массовых захоронений активно облагораживались. Самым ярким примером воспроизведения имперского духа является Танненбергский мемориал. Он был создан в 1924–1927 гг. [Walter, Wichmann, 2015] на территории Германии (Восточная Пруссия), но сейчас расположен в Польше. Во-первых, акцент при строительстве мемориала был сделан не на героическом подвиге простого народа, а на победе Германии в сражениях 1914 г. (битва при Танненберге, Мазурское сражение). Во-вторых, сама композиционная структура мемориала передавала предначертанное величие германской нации. Предполагалось, что памятник будет напоминать по своей архитектуре неолитический Стоунхендж и традиционный средневековый восьмигранник Капель-дель-Монте. Это объясняется определенным отставанием Германии послевоенного периода от общеевропейского тренда. Аграрно-промышленный тип немецкой экономики не позволял стране быстро перейти к проекту национального государства. Попытки форсированной модернизации, по сути, привели к раздутой, гипертрофированной форме национализма, а впоследствии и ко Второй мировой войне.

Германия вообще отличается своеобразными особенностями сохранения памяти Первой мировой войны, которые выражаются в переплетении имперских и националистических черт. Так, первоначально в Танненбергском мемориале была создана Могила Неизвестного Солдата, но в 1934 г. (в годы нового подъема экспансионизма) она была разрушена, а в мемориале был захоронен Пауль фон Гинденбург (1847–1934), выдающийся немецкий военный и политический деятель. В памятнике-фонтане 1930 г. в Шпайере тоже наблюдается слияние имперских и национальных представлений [Smither, 2013]. Например, одни надписи на фонтане несут мысли о товариществе и взаимной поддержке («Был у меня товарищ, лучше которого не сыскать» или «Женщины Германии, германская солидарность»), другие – об имперском величии нации («Германия должна жить, даже если мы умрем»). Более того, скульптура св. Георгия и дракона в контрасте золотого и черного может показаться символом германского могущества. В то же вре-

мя в Вормсе в 1932 г. в память о павших была поставлена мемориальная статуя, изображающая простых немецких солдат.

Конечно, влияние имперского мировосприятия можно наблюдать во многих западных памятниках Первой мировой войны, которые часто возвышенны и величественны. Но в монументальном искусстве Германии имперскость проявляется самым явным образом.

Рост национального чувства прослеживается и на примере башни на Изере (1930), посвященной фламандскому движению в Бельгии [Yzer Tower, б. г.]. Памятник стал изображением обострившегося в годы войны фламандско-валлонского напряжения, фламандского национализма. Более того, в скульптуре памятников первой половины XX в. стали появляться символы национальных государств, например, петух во Франции или национальное знамя в руках Матери Болгарии. В сознании человека того времени произошли перемены: для него очень много стала значить национальная принадлежность.

Среди типичных черт памятников Первой мировой войны можно назвать и религиозный элемент. Композиция многих западных памятников включает кресты, а некоторые из них даже выполнены в крестообразной форме. В Польше и России даже ставили церкви в память о войне. Например, один из проектов мемориала в Варшаве представлял собой часовню. Очевидно, что, как и кладбища, эти памятники становились частью поминального ритуала, однако в самом их воздвижении прослеживается связь государства, народа и веры.

Говоря о демократизации общества в годы Первой мировой войны и отражении этого процесса в мемориальных композициях, следует особо обратить внимание на понимание значимости роли народа в событиях войны. Во многих мемориалах на первый план выходят именно народные массы – не полководцы и предводители, а так называемый маленький человек. Его подвиг вершит историю. Основные элементы памятников – это фигуры рядовых солдат, часто застывших в движении, а не статичные изображения конкретных личностей. В сознании человека первой половины XX в. начинает преобладать поклонение подвигу человека, а не «царя».

Эту мысль подтверждают и пропитанные демократическим сентиментом лозунги о роли женщин и братстве на памятнике в Шпайере. Идея «освобожденной личности» передана и в новом

образе Родины-матери. Женская фигура играет роль всеобъединяющего начала – дети единой Матери приходятся братьями друг другу. Яркий пример – монументальная скульптура Мать Болгария (1935). Безусловно, здесь присутствует и идеологический фактор. Моральная установка на защиту женщины, ее прав прекрасно сочеталась в понимании людей с образом Родины.

Более прагматичная проблема – содержание массовых захоронений – также вылилась в создание нового образа народного подвига – Могила Неизвестного Солдата. Никто не должен быть забыт, каждый погибший – герой. Даже если его имя утеряно, память о нем живет в сердцах спасенного человечества. О значимости каждого свидетельствуют и мемориальные плиты с именами павших солдат (Мененские ворота, Бельгия). Стоит отметить, что личная трагедия людей также находила воплощение в монументальном искусстве. Инициаторами возведения некоторых мемориальных комплексов становились непосредственные участники военных действий, в церемониях открытия особое место отводилось родственникам погибших. Многие памятники воздвигались на средства, собранные в виде пожертвований граждан, пытавшихся внести свой вклад в увековечивание памяти близких и соотечественников.

Даже внешне памятники, с одной стороны, были монументальными, но с другой – отличались простотой и приземленностью запечатленных образов. Несомненно, памятники Второй мировой войны стали в художественном плане разнообразнее и реалистичнее, они полны бытовых сцен и близких народу сюжетных линий. В памятниках Первой мировой эта тенденция представлена еще не так широко, что позволяет говорить о сочетании имперского мировоззрения, государственного консерватизма и демократических тенденций.

Еще одной важной чертой послевоенных памятников является отсылка к миру. Война закончилась миром. Тогда она еще не называлась Первой мировой и считалась «войной всех войн». Человечеству хотелось верить в то, что эти жуткие страницы останутся в летописи истории последним темным пятном. Воззвание к миру и пониманию стало надеждой, которая ярким светом забрехала в душах людей. Это стремление также нашло воплощение в мемориальной скульптуре. Героика оружия уступила место героике мира. Так, Мать Болгария держит в руках оливковую ветвь – древ-

ний символ мира, а дружба народов послужила мотивом создания памятника Неизвестному Герою в Белграде, посвященного всем погибшим в войне югославам.

В России ситуация с памятью о подвигах Первой мировой войны оказалась своеобразной. Эффектнее всего процессы, связанные с коллективной памятью, иллюстрирует судьба Братского кладбища, заложенного в Москве в 1915 г. великой княгиней Елизаветой Федоровной. Кладбище было расположено в районе сегоднешней станции метро «Сокол», именно там хоронили многих павших в сражениях Первой мировой. Там также была расположена небольшая часовня, а позже было инициировано строительство храма. В начале 1930-х кладбище было заасфальтировано, на протяжении всего советского периода на его месте располагался парк. Сохранилась лишь могила погибшего в 1916 г. студента С.А. Шлихтера, и то благодаря усилиям его отца. Внимание на некогда сформировавшийся здесь естественным образом мемориальный комплекс власти обратили лишь перед 2004 г. в связи с 90-летием начала Первой мировой войны, при этом особое участие в сохранении некогда утраченного наследия приняла Русская православная церковь. Сейчас на месте Братского кладбища расположены несколько памятников, увековечивающих подвиг российского народа [«Оболганная война»... 2017].

Данные обстоятельства заставляют задуматься о последствиях подобного пренебрежения собственной историей для современной России. М. Хальбвакс пишет, что любая война или революция приводит к разрыву между общественными укладами до и после этих масштабных событий. При этом молодое поколение, обращаясь к довоенному прошлому, всегда стремится поддержать традицию, что позволяет сохранить преемственность и обеспечить континуитет национального развития [Хальбвакс, 2005]. В СССР же идеологический запрет новой политической элиты на обращение к традиции, выразившийся, например, в гонении на православие или в дискредитации царской России как государства, привел к разрыву в естественном формировании коллективной памяти. Идеологическая установка на то, что в прогрессивном государстве нет места ни индивидуализации, ни царизму, не позволила людям сохранить память о своих соотечественниках, память о себе самих. В значительной степени именно в этом сбое в непрерывном процессе создания коллективной, исторической памяти заключены истоки про-

блем, связанных с формированием общего восприятия советской эпохи, в частности Великой русской революции как ее отправной точки, в контексте единой национальной истории.

Стоит отметить еще одну важную деталь. Одно из главных устремлений человечества после Первой мировой войны – это создание наследия живой памяти. Трактовать это понятие можно по-разному. Прежде всего живая память – вечная, та, которую нельзя разрушить, переделать или вычеркнуть из истории. П. Нора называет это явление ритуальным повторением событий, которое поддерживает сакральность истории и «оживляет» ее [Нора, 1999, с. 25]. Источники живой памяти включают в себе и отдельные элементы памятников Первой мировой войны. Например, у Мененских ворот в Ипре каждый день начиная с 1927 г. ровно в 20:00 трубач из местной пожарной части исполняет сигнал отбоя. Подобные традиции, равно как и Вечный огонь и почетный караул на могилах Неизвестного Солдата, поддерживают связь современного человека с событиями, участниками которых были его предки.

Можно сделать вывод о том, что Первая мировая война качественно изменила сознание человека. Всплеск патриотизма, выраженный в более сильном ощущении принадлежности к определенной нации, и постепенное отдаление имперского восприятия привели к интенсификации процессов нациестроительства, а переосмысление значимости собственной роли человека в мировом сообществе, стремление к возрождению мира и международного взаимопонимания дали новый импульс тенденции к демократизации. Таким образом, мы видим, как сливаются социальные, духовные и политические процессы. Потрясения Первой мировой войны закрепили эти трансформации в сознании, в ментальности человека послевоенного периода, выразившись во многих мемориальных объектах.

Список литературы

- Комаров Д.Е. Первый монумент героям Первой мировой... // Военно-исторический журнал. – М.: Издание Министерства обороны РФ, 2016. – № 6. – С. 56–57. – Режим доступа: <http://history.milportal.ru/2016/07/pervyj-monument-geroiam-pervoj-mirovoj/> (Дата посещения: 24.02.2018.)
- «Оболганная война»: России нужен музей героев Первой мировой // РИА «Новости». – 2017. – 7 апреля. – Режим доступа: <https://ria.ru/religion/20170407/1491788223.html> (Дата посещения: 24.02.2018.)

- Пахалюк К. Память о Первой мировой и «мягкая сила» современной России // РСМД. – 2017. – 28 июля. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pamyat-o-pervoy-mirovoy-i-myagkaya-sila-sovremennoy-rossii/?sphrase_id=1950619 (Дата посещения: 24.02.2018.)
- Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пьюмеж, М. Винок. – СПб.: Изд-во С.-Петербурга, 1999. – С. 17–50.
- Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3. – С. 8–27.
- Юдкина А.Б. «Памятник без памяти»: Первый Вечный огонь в СССР // Неприкосновенный запас. – М., 2015. – № 101. – Режим доступа: <http://www.nlobooks.ru/node/6371> (Дата посещения: 24.02.2018.)
- Battle of the Somme: Royals at Somme centenary commemoration // BBC News. – 2016. – July 1. – Mode of access: <http://www.bbc.com/news/uk-36674451> (Accessed: 24.02.2018.)
- Colomer J.M. Great empires, Small nations: The uncertain future of the sovereign State. – L.; N.Y.: Routledge, 2007. – 128 p. – Mode of access: <http://bookre.org/reader?file=1053121&pg=1> (Accessed: 24.02.2018.)
- His Royal Highness The Duke of Connaught in India 1921 / Superintendent Government Printing. – Calcutta, 1921. – 100 p.
- Metcalf Th.R. Dulce Et Decorum Est. India Gate, our WW-I cenotaph, now stands for an abstracted ideal // Outlook India. – New Delhi, 2014. – March 31. – Mode of access: <https://www.outlookindia.com/magazine/story/dulce-et-decorum-est/289882> (Accessed: 24.02.2018.)
- Mossman B.C., Stark M.W. The last salute: Civil and military funerals / Department of the Army. – Washington, D.C., 1991. – 383 p.
- National War Memorial / Veterans Affairs Canada. Government of Canada. – 2017. – Mode of access: <http://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canada/national> (Accessed: 24.02.2018.)
- Roeder Ph.G. Where nation-states come from: Institutional change in the age of nationalism. – Princeton: Princeton univ. press, 2007. – 417 p.
- Smither R. Apologising for a war memorial? // War memorials archive blog. – 2013. – July 18. – Mode of access: <https://ukniwm.wordpress.com/2013/07/18/apologising-for-a-war-memorial/> (Accessed: 24.02.2018.)
- Spomenik Neznamom Junaku na Avali (Памятник Неизвестному Герою на Авале, с сербск.) // Cultural monuments in Serbia. National center for digitization. – Mode of access: <http://spomenickikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=620> (Accessed: 24.02.2018.)
- Thiepval Memorial. History / Commonwealth War Graves Commission. – 2018. – Mode of access: <https://www.cwgc.org/find/find-cemeteries-and-memorials/80800/thiepval-memorial> (Accessed: 24.02.2018.)
- Walter L., Wichmann M. Tannenberg Denkmal (Танненбергский памятник, с нем.) // Deutsches Historisches Museum. – Berlin, 2015. – Mai 2. – Mode of access: <https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/innenpolitik/denkmal/> (Accessed: 24.02.2018.)

- Whyte Br., Whyte Sh.* The inscriptions on the First World War volunteers memorial, Bangkok // Journal of the Siam society. – Bangkok, 2008. – Vol. 96. – P. 175–192. – Mode of access: http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/2001/JSS_096_of_Whyte_InscriptionOnWW1VolunteersMemorialBangkok.pdf (Accessed: 24.02.2018.)
- Ypres (Menin Gate) Memorial. History / Commonwealth War Graves Commission. – 2018. – Mode of access: <https://www.cwgc.org/find/find-cemeteries-and-memorials/91800/ypres-memorial> (Accessed: 24.02.2018.)
- Yzer Tower // Chemins de memoir. – Mode of access: <http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/en/yser-tower> (Accessed: 24.02.2018.)

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЖУРНАЛ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПЕРВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «FOREIGN AFFAIRS» ЗА 2018 г. – «THE UNDEAD PAST. HOW NATIONS CONFRONT THE EVILS OF HISTORY»¹

В настоящий обзор вошли статьи из тематической подборки первого номера американского издания «*Foreign Affairs*» за 2018 г., посвященной политическим практикам преодоления темного прошлого, применяемым в разных странах².

В эссе «Первородный грех Америки. Рабство и наследие белого доминирования» профессор Гарвардского университета Аннет Гордон-Рид размышляет об избирательности исторической памяти и глубинных истоках современного бытового расизма.

Она обращает внимание читателя на то, что два лежащих в основе государственности США документа – Декларация независимости и Конституция – репрезентируют проблему, с которой американцы имеют дело с момента официального разрыва с метрополией: «...как совместить ценности, выраженные в этих текстах с первородным грехом рабства, пороком, омрачившим начало становления страны, исказившим ее надежды и в конечном итоге погрузившим ее в пучину гражданской войны» [Gordon-Reed, 2018, p. 2].

Декларация независимости является ключевым элементом «гражданской религии» современной Америки. Вводные тезисы ее преамбулы поместили понятия свободы и равенства в самое сердце

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01589) в Институте научной информации по общественным наукам РАН.

² Foreign affairs. – N.Y., 2018. – Vol. 97, N 1. – P. 2–41.

© Понамарева А.М.

«американского эксперимента». При этом один из авторов Декларации Томас Джефферсон был крупным плантатором-рабовладельцем.

Крайне неоднозначна история создания Конституции 1787 г. На тот момент перед авторами документа стояла задача выработать общие правила игры для развивающегося по капиталистическому пути промышленного Севера и сохранявшего феодальные отношения сельскохозяйственного рабовладельческого Юга. Во избежание разрушения экономики южных штатов в первоначальный текст были интегрированы такие положения, как разрешение на ввоз рабов, запрет на оказание им помощи при побеге, а также обязанность их возврата даже из тех штатов, где рабство было отменено. После того как было принято решение о том, что количество конгрессменов штата будет зависеть от его населения, Юг захотел внести в списки учета рабов, а Север воспротивился этой идее. Достигнутый сторонами компромисс поражает цинизмом: при определении численности населения каждого штата учитывалось только три пятых от общего количества проживающих в нем рабов. Все вышесказанное дает основания автору утверждать, что Конституция 1787 г. «напрямую защищала рабство» [Gordon-Reed, 2018, p. 2].

Соответственно, «любой порыв отпраздновать зарождение государства неминуемо наталкивается на трагические моменты былого. Желаящие без стеснения и с гордостью за свою страну наслаждаться празднованием ощущают неуместность своих чувств из-за тех, кто клеймит позором гнет и насилие, составлявшие суть времени отцов-основателей... Прийти к обеспечению правильного баланса в памяти о прошлом оказалось одной из наиболее сложных проблем американского общества» [ibid., p. 3].

Ссылаясь на американского историка Эдмунда Моргана, автор пишет, что именно рабство, основанное на расовых признаках, подарило WASP-м¹ свободу. Система, где низшие ступени социальной лестницы были безальтернативно закреплены за чернокожими, нивелировала классовые противоречия белого населения. Тринадцатая поправка к Конституции США (1865), официально обозначившая отмену рабства, не могла в одночасье разрушить эту столь длительно выстраивавшуюся систему «белого доминирования» [ibid., p. 4].

¹ Белые англосаксонские протестанты (англ. White Anglo-Saxon Protestant, WASP).

Нынешнее поколение, сетует А. Гордон-Рид, подпавшее под обаяние «легенды Юга», отказывается признавать очевидное. «Черное рабство» рассматривалось конфедератами в качестве одного из краеугольных камней государства, которое они планировали создать после победы в Гражданской войне.

Автор признает, что со второй половины XX в. афроамериканцы смогли улучшить свое социально-экономическое положение и стать полноценными субъектами политического поля [Gordon-Reed, 2018, p. 6]. Тем не менее все еще сохраняющиеся полицейская жесткость и расилизация в деятельности правоохранительных органов доказывают, что Четвертая поправка к Конституции США на практике распространяется не на всех. А полицейские расправы над чернокожими, носящими с собой оружие, в штатах, где такое ношение разрешено, ставят под вопрос право «цветных» пользоваться Второй поправкой к Конституции. Однако для того чтобы разобраться с этой проблемой, мало изучить рабство само по себе, нужно проанализировать его прочное и порочное наследие – превосходство белой расы, подчеркивает в заключение автор [ibid., p. 7].

В статье «От нацизма к “никогда больше”. Как Германия смогла примириться со своим прошлым» британский исследователь Ричард Эванс анализирует специфику формирования немецкого исторического самосознания, а также трансформацию подходов к освещению темы «коллективной вины» после Второй мировой войны.

1945 год многими немцами был расценен как «нулевой час» – время начать все заново. Заново, но не с чистого листа: забыть о годах Третьего рейха населению послевоенной Германии никто бы не позволил.

Отсутствие среди стран-победительниц единого мнения относительно послевоенного устройства государства привело к разделению Германии на западноориентированную, капиталистическую ФРГ и советскообразную, социалистическую ГДР. С образованием двух немецких государств работа коллективной памяти многократно усложнилась.

Западные немцы «страдали от общей исторической и моральной амнезии в послевоенные годы: в редких случаях они упоминали нацистскую диктатуру, обычно все сводилось к утверждению того, что они ничего не знали о соответствующих злодеяниях, и жалобам на несправедливые виктимизацию и унижение, сле-

дующие из программ денацификации и “правосудия победителей” при рассмотрении военных преступлений» [Evans, 2018, p. 10]. В контексте рассуждений о Второй мировой войне многие с негодованием вспоминали ковровые бомбардировки германских городов союзниками, а также последовавшую за капитуляцией Германии депортацию около 11 млн немцев из Венгрии, Румынии, Польши и других восточноевропейских стран. Опрос общественного мнения, проведенный в Западной Германии в 1949 г., показал, что около 50% населения оценивали нацизм как «хорошую, но плохо реализованную идею».

В свою очередь, лидеры Восточной Германии стремились к выстраиванию общественной солидарности на базе памяти о немецком движении коммунистического сопротивления нацизму, масштабы которого намеренно преувеличивались. Результатом такой политики стало отстранение жителей ГДР от разделения ответственности за преступления гитлеровского режима.

Тем не менее автор признает, что современная, объединенная с окончанием холодной войны Германия является страной «коллективного принятия моральной ответственности за чудовищные преступления своего недавнего прошлого» [ibid., p. 9]. Материальным выражением этого «принятия» стали сохранение вещественных доказательств деятельности нацистов и установка новых памятников жертвам Третьего рейха.

Ситуация в области политики памяти стала меняться в 1960-е годы. «Экономическое чудо ФРГ» позволило первому послевоенному поколению немцев полнее ощутить свою принадлежность к западному демократическому лагерю и с этой позиции морального превосходства потребовать правды о периоде Третьего рейха от своих подчинившихся антидемократическому режиму отцов и дедов. К осмыслению нацистского прошлого активно приступил Институт новейшей истории Мюнхена. Ознаменованием поворота к критической оценке позиций немцев в эпоху Третьего рейха стал процесс по делу охранников концлагеря Освенцим во Франкфурте-на-Майне в 1963–1965 гг. Внимание всего мира привлекал к себе суд над бывшим начальником отдела гестапо IV-B-4, «архитектором Холокоста» Адольфом Эйхманом, прошедший в Иерусалиме в 1961 г. «Студенческое восстание» 1968 г. и приход к власти Социал-демократической партии (СДПГ) во главе с Вилли

Брандтом создали условия для еще более открытой борьбы с призраком нацизма.

С переменами на внутривнутриполитическом фронте вопрос адекватного и морально приемлемого использования «реликтов» Третьего рейха вновь встал ребром. Р. Эванс детально описывает этапы общественной дискуссии, развернувшейся вокруг проблемы использования территории съездов Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) в Нюрнберге, которая в конце первого десятилетия XXI в. все же была превращена в музей под открытым небом.

Под давлением инициативных групп, сформированных бывшими узниками концлагерей, власти ФРГ согласились открыть мемориальные комплексы в Дахау (1955), Берген-Бельзене (1966) и Нойенгамме (1981). Однако музейные экспозиции в пространстве бывших концлагерей соответствовали духу холодной войны и отражали западное представление об истинных ценностях: осуждались все тоталитарные режимы и затемнялся тот факт, что многие узники стали таковыми за то, что были коммунистами.

Обратная картина наблюдалась в Восточной Германии. Там аналогичные мемориальные комплексы акцентировали внимание экскурсантов на сопротивлении заключенных коммунистов, с которыми, как предполагалось, и должны были отождествить себя посетители.

Очередная трансформация в политике памяти оказалась сопряжена с падением Берлинской стены, на протяжении 28 лет бывшей зримым воплощением «железного занавеса», и объединением двух Германий в 1989–1990-х годах. Мемориальному буму способствовала смена поколений: достигнув пенсионного возраста, удалились от дел те специалисты, которые противились интенсивным «раскопкам» прошлого в силу того что начинали свои карьеры в период Третьего рейха.

Новая волна мемориальной активности охватила Германию. В 1992 г. берлинский художник Гюнтер Демниг начал работу над проектом «Камни преткновения» – мемориалом, призванным напоминать людям о судьбах жертв нацизма. При формировании экспозиций в мемориальных комплексах на месте бывших концентрационных лагерей стал использоваться более объективный, в сравнении с периодом блокового противостояния времен холодной войны, подход. В 2005 г. в центре Берлина между Бранден-

бургскими воротами и элементами бункера бывшего руководства нацистской Германии открылся памятник жертвам Холокоста.

Понимание непомерной цены войны пронизывает всю современную политическую культуру Германии. «С 1945 г. ни одна европейская страна не демонстрировала большего пацифизма или большего неприятия вооруженных интервенций за пределы государства. Ни одна страна не придавала большего веса стабильности и преемственности – предпочтение, наиболее четко выраженное в знаменитом выборном слогане Аденауэра 1950-х годов. – “Никаких экспериментов!” И никакая другая европейская страна не была столь благосклонна к иммигрантам и лицам, ищущим убежища...», – утверждает автор [Evans, 2018, p. 14].

В сегодняшних условиях миграционного бума, спровоцированного событиями на Ближнем Востоке, эти столь дорого обошедшиеся Германии ценности подвергаются крайне жесткой проверке. Выражением кризисных тенденций в немецком обществе стали появление на общественно-политической арене правопопулистского движения «Европейцы-патриоты против исламизации Старого Света» (ПЕГИДА), а также недавний успех консервативной и евроскептической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), оказавшейся по итогам выборов 2017 г. третьей по численности партией в бундестаге. Тем не менее ни ПЕГИДА, ни АдГ не разрушили национального консенсуса относительно нацистского прошлого.

«Очевидно, что угроза правого популизма в Германии значительно слабее, чем в ряде других европейских стран», – заключает Р. Эванс. Попытки заигрывания с темой нацизма раскалывают даже праворадикальные партии. «Когда дело касается признания грехов прошлого, у Германии в конечном итоге нет альтернативы», – резюмирует автор [ibid., p. 15].

О цензурировании научных исследований и воспоминаний участников и очевидцев неоднозначных в моральном плане событий общенационального масштаба в своей статье «Китайская дымовая завеса. Когда коммунисты переписывают историю» рассказывает Орвилл Хикок Шелл III – гражданский активист, писатель, директор центра американо-китайских отношений в «Обществе Азии» в Нью-Йорке.

1 октября 1949 г. в Пекине, на площади Тяньаньмэнь Мао Цзэдун провозгласил «Новый Китай». Четыре десятилетия спустя это поистине священное для китайской государственности место в

сознании международного сообщества оказалось накрепко связано с жестоким подавлением студенческих протестов армией «народной республики».

В инициированной Коммунистической партией Китая (КПК) охоте на «внутренних врагов» от преследования сторонников побежденного Гоминьдана власти достаточно быстро перешли к разоблачению «предателей» внутри самой компартии. Кампания «Большой скачок», заключавшаяся в проведении индустриализации городов за счет крестьянства, обернулась ужасающим голодом, который в официальной китайской историографии осторожно именуется «тремя горькими годами». Мао вернулся к реальной власти только несколько лет спустя, устроив «Великую пролетарскую культурную революцию», целью которой было провозглашено тотальное избавление от «четырёх пережитков»: отживших традиций, культуры, порядков, идей. На практике это привело к серьезным социально-экономическим потрясениям, вылившись в масштабный террор, зримым символом которого стали физические истязания «контрреволюционеров» во время публичных самосудов. Точное число жертв «культурной революции» до сих пор неизвестно.

Сегодня Китай наслаждается периодом относительной стабильности. КПК пропагандирует идею «гармоничного общества», а не классовой борьбы, и прославляет благополучие, достигнутое через насилие [Schell, 2018, p. 22]. КПК так и не выпустила ни одного официального заявления с признанием своей вины, не говоря уже о том, чтобы допустить мемориализацию своих жертв [ibid., p. 23]. При нынешнем председателе КНР Си Цзиньпине впервые со времен Дэн Сяопина стала невозможна критика Мао Цзэдуна. Лидер китайской нации утверждает, что нападки на тоталитарный Китай Мао контрпродуктивны, ведь без этого периода не были бы возможны реформы открытости.

Жесткая цензура со стороны Отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая в отношении СМИ и сети учреждений культуры оборачивается устранением из пространства публичного обсуждения наиболее противоречивых и драматических эпизодов недавнего прошлого страны [ibid., p. 23].

Масштабы ведущейся КПК работы по переписыванию прошлого высветило недавнее исследование специалиста по Китаю из Университета Мичигана Гленна Тифферта. Он выяснил, что два цифровых архива – Китайская национальная инфраструктура знаний

(The China National Knowledge Infrastructure, CNKI), связанная с Университетом Цинхуа, и Национальная база данных по социальным наукам, финансируемая китайским правительством, – «потеряли» один и тот же блок из 63 статей, опубликованных в период с 1956 по 1958 г. двумя китайскоязычными научными журналами. Пострадали преимущественно статьи, авторы которых отклонились от канонической партийной линии «умолчания» в трактовке прошлого. Таким образом эти работы остались только в библиотеках отдельных зарубежных институтов, где еще хранятся подборки соответствующих журналов, однако обычному среднестатистическому гражданину КНР данные «спорные» материалы недоступны [Schell, 2018, p. 23–24].

Но действительно ли коллективное обсуждение драм национального прошлого идет на пользу обществу? Этим вопросом задается О.Х. Шелл, соотнося его с идеями, высказанными Дэвидом Риффом в книге «Хвала забвению», в которой тот утверждает, что воспоминания не всегда исцеляюще воздействуют на социум, и необходимо в каждом отдельном случае принимать решение о целесообразности или вреде памяти. Фактически пафос книги Д. Риффа сводится к утверждению независимости друг от друга таких категорий, как мир и справедливость. КПК, по мнению О.Х. Шелла, хотела бы, чтобы народ, которым она управляет, – а также остальная часть мирового сообщества – приняли эту «риффовскую» логику и сочли уклонение от встречи с жестокой правдой лучшей стратегией нациестроительства. То есть на практике КПК реализует чисто инструментальный подход к прошлому, где важную роль играет осознанное и целенаправленное сокрытие ряда эпизодов истории. При этом КПК успешно «экспортирует» свои цензурные ограничения за границу. Летом 2017 г. Пекин вынудил издательство *Cambridge University Press* удалить из своего цифрового архива англоязычного журнала *The China Quarterly* 300 статей, содержащих «политически некорректные» высказывания. В ноябре 2017 г. *Springer Nature*, публикующий такие журналы, как *Nature* и *Scientific American*, удалил с регионального сайта своих изданий в общей сложности около 100 статей. По мнению О.Х. Шелла, в основе такой политики лежит представление КПК об отсутствии так называемых универсальных ценностей, которые партийное руководство воспринимает как нечто навязанное Китаю Западом с единственной целью подорвать сложившуюся в государстве систему власти. Однако если бы универсальных и понятных каждому

ценностей действительно не существовало, у Пекина не было бы оснований опасаться честного разговора о своем прошлом, считает автор. Поскольку КПК доходит до предела в своих попытках вытравливания из коллективной памяти «черных» эпизодов собственной истории, возникает противоречие: руководство партии испытывает если не чувство вины, то, по крайней мере, ощущение стыда при мысли о возможном раскрытии содеянного ранее. Возможно, в будущем китайский режим будет вынужден встать на путь признания и даже осуждения того, что КПК осуществила в КНР. Но в среднесрочной перспективе подобное развитие событий представляется автору маловероятным.

Известная южноафриканская писательница и общественный деятель Сисонке Мсиманг в критическом эссе «Все не прощено. Южная Африка и шрамы апартеида» обращает внимание на структурные недостатки процесса национального примирения и поиска правды (truth-and-reconciliation process), последовавшего за официальным отказом руководства ЮАР от политики расовой сегрегации.

Несмотря на все усилия пришедшего к власти в 1994 г. Африканского национального конгресса (АНК) по формированию пространства открытого обсуждения нарушений прав человека, институциональные аспекты наследия апартеида все еще остаются без должного внимания.

Кратко описывая историю становления, развития и обстоятельства падения режима апартеида, провозглашенного правящей Национальной партией в 1948 г. и просуществовавшего фактически до избрания первого черного президента, лидера АНК Нельсона Манделы, автор отмечает, что в современной ЮАР «оформление справедливости всегда значило намного больше самой справедливости» [Msimang, 2018, p. 29–30].

Отдав предпочтение дипломатическим методам решения конфликта, Нельсон Мандела и его единомышленники предотвратили гражданскую войну и сумели избавить белое население страны от преследования. «Взносом» белых в эту сделку должна была стать их готовность принять на себя полную моральную ответственность за преступления, совершенные в отношении чернокожих жителей государства в годы апартеида. С целью юридического закрепления этого решения правительством была создана Комиссия правды и примирения (Truth and Reconciliation Commission), в задачи которой входили обличение преступлений апартеида, нака-

знание виновных и компенсация потерпевшим. Тем же законом, по которому создавалась Комиссия, были определены условия амнистии для замешанных в преступлениях апартеида. По словам Сисонке Мсиманг, для многих черных людей, чьи жизни на протяжении десятилетий были подчинены прихотям стоящих на вершине социальной лестницы белых, «Комиссия предложила больше, чем просто правду, она предоставила шанс восстановить свое достоинство» [Msimang, 2018, p. 31].

В работе Комиссии был ярко выражен элемент исповедальности: «грешники» приходили на слушания в поисках отпущения грехов, а их жертвы – в стремлении отпустить свою боль через прощение. «Но фетишизируя индивидуальные случаи нарушения прав человека, – уточняет Сисонке Мсиманг, – (Комиссия) отступила перед структурными последствиями апартеида» [ibid., p. 32]. Она оставила без внимания проблему постепенного обнищания чернокожего населения, которая является прямым следствием дискриминационной политики белых властей ЮАР. Вместо того чтобы изменить способы взаимодействия на всех уровнях социальной структуры через реальную трансформацию конфликта, «прощение сделали национальной мантрой, а примирение – официальной идеологией, констатирует автор. Критерием прогресса в области нациестроительства стала степень продвижения по пути “отпущения грехов”. Новые власти были так обеспокоены тем, что страна утонет в горечи, что не оставили достаточного пространства для обсуждения несправедливостей, сохраняющихся по сей день» [ibid., p. 32–33]. Сегодня, продолжает автор, белые юаровцы кажутся охваченными «коллективной амнезией». Этот растущий цинизм она связывает с «чувством, что для белых падение режима апартеида не стало сигналом конца их привилегированного положения, точно так же, как это не стало знаком прекращения страданий для большей части чернокожего населения» [ibid., p. 33]. Дисбаланс в доходах, уровне доступа к системе социального обеспечения, который определял расовые отношения периода апартеида, продолжает сохраняться.

По прошествии десятилетий стало очевидно, что не может быть никакого значимого улучшения в расовых отношениях без ликвидации закрепившейся системы экономического неравенства. И это всего лишь вопрос времени, предупреждает автор, когда накапливающееся раздражение сплетением экономического и расо-

вого неравенств, подкрепленное тяжелой исторической памятью, вырвется наружу. В силу этих причин, резюмирует С. Мсиманг, власти страны уже сейчас должны задуматься о внесении фундаментальных изменений в структуру собственности и контроля над экономикой в пользу автохтонного населения ЮАР и не ставить при этом «страхи меньшинства выше потребностей большей части населения» [Msimang, 2018, p. 34].

По прошествии более чем 20 лет со времени геноцида в Руанде Фил Кларк в статье «Восстановление Руанды. Когда воспоминание становится официальной политикой» оценивает проводимую властями страны политику памяти с точки зрения ее соответствия декларируемой задаче достижения общенационального примирения.

Сегодняшняя Руанда представляет собой удивительное пространство: три четверти тех, кто сразу после прихода к власти РПФ был арестован за участие в преступлениях геноцида, полностью реинтегрировались в национальное сообщество. Ни в одном другом государстве мира нет такого количества лиц – участников массовых зверств, которые бы проживали бок о бок со своими жертвами.

Ключевым элементом процесса социальной реконструкции страны после геноцида, а также залогом национального единства и примирения ранее враждовавших групп стало создание новой общности *руандийцев*. Активная вовлеченность государства в постконфликтное урегулирование, выражающаяся, в числе прочего, в работе с коллективной исторической памятью, обусловила относительно спокойный, в сравнении с соседними Бурунди, Конго и Угандой, переход народа к примирению. Однако, с точки зрения автора, такое агрессивное вмешательство властей в личную жизнь граждан и жесткий отбор допустимых при осмыслении произошедшей трагедии эмоций, подчас даже препятствуют искреннему принятию прошлого.

В 2000-х годах правительство Руанды разработало четырех-этапную стратегию «излечения» страны, включавшую в себя такие стадии, как коммеморация, воспитание в духе гражданственности, социоэкономическое развитие и примирение через установление справедливости. За 15 лет автор провела более 1000 интервью с обычными руандийцами, в том числе панельное обследование 20 респондентов разного этнического происхождения, которые повторно опрашивались каждые 18 месяцев, с тем чтобы выяснить, как со временем меняется отношение людей к проводимой государством политике памяти. Подавляющее большинство рес-

пондентов оценило государственную стратегию преодоления социального раскола как успешную, но при этом выявилось, что многие руандийцы чувствуют себя перегруженными шквалом правительственных постгеноцидных программ.

В 2001 г. для решения проблемы, связанной с наличием тысяч обвиняемых, ожидающих суда в рамках национальной судебной системы, правительством Руанды была восстановлена традиционная система местных общинных судов под названием «гачача». Санкции, которые могли наложить эти народные трибуналы, были минимальны по сравнению с наказанием, выносившимся в рамках обычной юридической системы. Несмотря на изначальные опасения таких правозащитных организаций, как *Human Rights Watch* и *Amnesty International*, что подобная формализация автохтонных практик обернется стихийными коллективными расправами и всплесками «правосудия толпы», слушания в системе судов «гачача» способствовали примирению путем предоставления возможности жертвам узнать правду о смерти членов их семей и родственников. Они также давали возможность виновным признаться в своих преступлениях, выразить раскаяние и попросить прощения у своей общины. Суды «гачача» завершили свою миссию в 2012 г. При этом, как отмечает автор, наиболее распространенной реакцией как подозреваемых, так и выживших жертв на прекращение работы «гачача» стало чувство облегчения. Многие жаловались, что интенсивность и частота правительственных программ коммеморации, в частности необходимость выделять один день в неделю на участие в общинных судах, мешали им заняться восстановлением собственной жизни и отвлекали от повседневных, но не менее важных обязанностей.

Постепенно сместились акценты в политической повестке дня: от обсуждения тяжелого наследия геноцида власти перешли к выстраиванию перспектив на будущее. В фокусе внимания оказались задачи модернизации экономики, региональной интеграции и уменьшения зависимости от иностранной помощи.

Признавая заслуги правительства Поля Кагаме, автор констатирует, что, несмотря на отдельные все еще сохраняющиеся противоречия и горькую память, никто в Руанде не допускает возможности повторения трагедии 1994 г. Основной угрозой стабильному постконфликтному развитию Руанды Фил Кларк считает снижение темпов демократизации и наметившуюся тенденцию к «закручиванию гаек» со стороны руководства республики.

Завершая статью, автор подчеркивает, что «впечатляющее восстановление Руанды после геноцида стало следствием не только хорошо скоординированных и в высшей степени организованных ответных мер со стороны государства, но и жизнестойкости и творческого духа местного населения. Для того чтобы обеспечить возможности процветания последнему, государство должно предоставить своим гражданам гораздо больше свободы с тем, чтобы они могли нарисовать собственное будущее» [Clark, 2018, p. 41].

Подводя итог всему вышеизложенному, отметим, что статьи, вошедшие в настоящий обзор, позволяют нам проследить, как именно отдельные государства, будучи основными субъектами целенаправленного формирования коллективной памяти, выстраивают определенную линию интерпретации исторических событий, которая ложится в основу осмысления гражданами своей принадлежности к нации, посредством чего конструируется политическая идентичность. При этом настоящая подборка наглядно иллюстрирует тот факт, что любая «линия интерпретации» может вызывать критику как за пределами сообщества, так и внутри него, в особенности при обращении к проблемным эпизодам истории того или иного народа.

Список литературы

- Clark Ph.* Rwanda's recovery. When remembrance is official policy // Foreign affairs. – N.Y., 2018. – Vol. 97, N 1. – P. 35–41.
- Evans R.J.* From nazism to never again. How Germany came to terms with its past // Foreign affairs. – N.Y., 2018. – Vol. 97, N 1. – P. 8–17.
- Gordon-Reed A.* America's original sin. Slavery and the legacy of white supremacy // Foreign affairs. – N.Y., 2018. – Vol. 97, N 1. – P. 2–7.
- Msimang S.* All is not forgiven. South Africa and the scars of apartheid // Foreign affairs. – N.Y., 2018. – Vol. 97, N 1. – P. 28–34.
- Schell O.* China's cover-up. When communists rewrite history // Foreign affairs. – N.Y., 2018. – Vol. 97, N 1. – P. 22–27.

*А.М. Пономарева*¹

¹ **Понамарева Анастасия Михайловна**, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Отдела социологии и социальной психологии ИНИОН РАН (Москва, Россия), e-mail: amp1982@mail.ru

Ponomareva Anastasia, Institute of Scientific Information on Social Sciences, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), e-mail: amp1982@mail.ru

С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Ю.Г. КОРГУНЮК*

**ДЕМОКРАТИЯ И ЕЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ**

Рецензия на кн.: Есенгараев Е.Ж. Общество, институты и социальная наука. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2017. – 312 с.

Давно стало общим местом объяснять неудачи с переходом тех или иных стран от авторитаризма к демократии недостаточной развитостью институтов. Не менее распространена и точка зрения, согласно которой ответственность за это лежит на узком круге лиц, не принявших вовремя правильных политических решений или, напротив, принявших решения неправильные.

Такой подход дает возможность ответить на извечный вопрос «Кто виноват?», но насколько ответ будет верен? Анализ и критике подобных представлений посвящена работа казахстанского социолога Е.Ж. Есенгараева [Есенгараев, 2017]. Книга состоит из двух частей: академической и популярной, причем вторая ничуть не менее интересна – схожестью с платоновскими «Диалогами» (поставленные в первой части проблемы излагаются в форме вопросов и ответов).

* **Коргунюк Юрий Григорьевич**, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН, зав. отделом политологии Фонда развития исследовательских программ «Информатика для демократии», e-mail: partinform@mail.ru

Korgunyuk Yuri, Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (Political Science Department), INDEM Foundation (Political Science Department) (Moscow, Russia), e-mail: partinform@mail.ru

© Коргунюк Ю.Г.

Автор критикует редукционистские концепции, рассматривающие трансформацию общественных систем и институтов через призму технологических или экономических факторов. Досталось доктрине «индустриального общества» [Есенгараев, 2017, с. 17], концепции «трех волн» Э. Тоффлера [там же, с. 74–75], но также и неоинституционализму, в частности Д. Норт и его соавторам по монографии «Насилие и социальные порядки» [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011], которых автор упрекает в зауженности трактовки институтов – сведении их к правилам игры (причем определяемым только негативно – в виде ограничений) и рассмотрении только лишь в качестве инструментов для решения тех или иных задач [там же, с. 86–87].

Редукционизму автор противопоставляет структурный подход, объясняющий различия в устройстве общественных систем «не через сведение их к определенному материальному началу, а через соотношение институтов» [там же, с. 8]. В таком варианте структурный подход фактически тождествен институциональному. Именно институты автор считает «первичным аспектом общества»: они, по его словам, «не только определяют основные способы взаимодействий социальных деятелей, но и собственно производят самих этих деятелей» [там же, с. 20]. Определение, которое Е. Есенгараев дает при этом институтам, – «исторически сформированные способы устойчивого коллективного взаимодействия людей» [там же, с. 20–21] – фактически снимает разницу между «старым» (формальным) институционализмом и неоинституционализмом, относящим к категории институтов в том числе и неформальные практики.

Та разновидность институционализма, о приверженности которой заявляет автор, носит конструктивистский и когнитивистский характер. Конструктивизм и когнитивизм в понимании Е. Есенгараева тесно связаны: в рамках первого «социокультурная реальность и человек определяются не как некие вневременные сущности, а как исторические конструкты, формируемые на основе социокультурных когниций», а второй рассматривает общество как феномен, основанный и воспроизводящийся на массивах социокультурных когниций [там же, с. 26–27].

Как видим, на первое место в своей концепции Е. Есенгараев ставит понятие социокультурных когниций. Именно от их типа и содержания, по его мнению, решающим образом зависят содержа-

ние и структура институтов: «При недостаточном уровне обеспеченности социокультурными когнициями стремление членов того или иного общества создавать новые институты завершается не созданием целостных образований с устойчивыми и эффективными типизациями социальных отношений и деятелей, а появлением лишь их фрагментов. Вся история человечества и особенно история модернизации свидетельствует, что новые институты возникали лишь при определенных когнитивных предпосылках, а их отсутствие или недостаточность оказывались фактически непреодолимым барьером для современного развития общества» [Есенгараев, 2017, с. 27–28].

При этом автор подчеркивает, что предложенная концепция не имеет ничего общего с волюнтаризмом: «Социокультурные когниции и создаваемые на их основе отношения являются результатами тех возможностей, которыми располагает то или иное общество на том или ином этапе своего развития. Как свидетельствует история, произвольное и целерациональное воздействие на структуру и содержание социокультурных когниций невозможно. Формирование и трансформация социокультурных когниций являются результатом больше непреднамеренных действий, чем преднамеренных. Массивы социокультурных когниций, которыми располагает любое общество, являются слишком масштабными и сложными для их целенаправленных производства и селекции» [там же, с. 27–28].

Автор также отвергает возможность трактовать представляемую им концепцию в редукционистском духе: «Когнитивизм не является очередной версией концепции “ключевого фактора”, так как социокультурные когниции не являются отдельной сферой общества, не существуют отдельно от других институтов. Они являются решающим условием существования всех институтов и субъектов общества» [там же, с. 27–28].

Е. Есенгараев не скрывает, что в своих основных положениях его концепция восходит к работам П. Бергера и Т. Лукмана [Бергер, Лукман, 1995], внесших, по его словам, «большой вклад в становление когнитивного подхода и в развитие конструктивистской парадигмы социологии» [Есенгараев, 2017, с. 32]. Вслед за ними он подчеркивает связь между успехами модернизации и развитием социокультурных знаний [там же, с. 160].

При этом, отмечает автор, конституитивную функцию социокультурные знания могут выполнять, «лишь достигнув определенного объема и уровня сложности, достаточных для формирования институтов и идентичностей», причем сами эти знания во всей их сложности и многослойности «невозможно просто заимствовать механически или передать как набор простых технических формул» [Есенгараев, 2017, с. 34].

Исходя из изложенной концепции, автор выделяет два макротипа обществ: иерархический (он же традиционный) и полицентрический (современный). Первому присуще доминирование двух институтов – власти и религии («в современный период в общественных системах данного типа религию в ряде случаев замещает идеология»). Отношения между институтами в этой системе носят иерархический характер – все остальные институты «занимают подчиненные позиции по отношению к двум господствующим» [там же, с. 22–23]. Второму макротипу свойствен плюралистический характер отношений между институтами и отсутствие господствующего центра [там же, с. 23].

Эти два типа обществ кардинально отличаются друг от друга:

- по способам стратификации: в традиционных обществах стратификация основывается на аскриптивных определениях и тяготеет к закрытости; в современных обществах на первый план выходят критерии достижительности [там же, с. 25];

- по уровню солидарности между социальными группами и регионами: в полицентрических обществах преобладают центростремительные общенациональные тенденции, в иерархических – узкогрупповые и региональные приверженности [там же, с. 25];

- по представлениям о времени: иерархические общества ориентированы на прошлое, полицентрические – на настоящее и будущее [там же, с. 45, 53];

- по направлению развития: иерархическое общество ориентировано на территориальную экспансию, полицентрическое – на интенсивное развитие [там же, с. 49–50];

- по уровню пространственных ограничений мобильности человека: в современном обществе принадлежность к территориальной единице «перестает выполнять функцию одной из основополагающих основ идентичности современных людей» [там же, с. 53] и т.п.

Автор признает, что выделяемые им типы «есть результат абстрагирования от конкретных особенностей множества исторических образований в прошлом и настоящем» [Есенгараев, 2017, с. 22]. В качестве хрестоматийных примеров модернизированных обществ, в жизни которых весомую роль сохранили традиционные институты, он приводит Великобританию и Японию: в первом случае он особо выделяет институты монархии и аристократии, во втором – общинные ценности и культ императора [там же, с. 58].

Но если институциональную структуру этих двух государств он все-таки считает полицентрической, то ряд других стран относит к отдельному, смешанному, типу: «Особенность этих обществ в том, что они уже не являются классическими традиционными обществами, но все еще не могут стать современными. Сохранение слабодифференцированных институциональных структур иерархического типа решающим образом определяет их досовременный характер, а возникшие в результате модернизационных процессов новые институты не в состоянии создать социокультурный порядок плюралистического типа» [там же, с. 59].

В эту группу автор включает СССР, большинство постсоветских республик, Израиль, Индию, Турцию, ряд стран Латинской Америки (Чили, Аргентина, Бразилия) [там же, с. 59]. Все они достигли серьезных результатов в научно-техническом развитии и не очень впечатляющих – в социокультурном: «При отсутствии необходимых социокультурных когний и основанных на них практик оказывается невозможной и замена традиционных институтов новыми, тем более за короткий исторический срок. В результате попыток прямой отмены традиционных институтов и утверждения политическими методами новых возникают не современные институты, а гибриды с новой вывеской и отчасти новым содержанием, но с неизбежным сохранением в их основе когний и норм традиционного типа и, соответственно, сохранением традиционного габитуса» [там же, с. 59–60].

Главной причиной неудач в модернизации этих стран автор считает «хронические затруднения с заимствованием и генерированием современных социокультурных концепций» [там же, с. 100]. Эти страны, подчеркивает он, заимствуя современные институты, понимали их «узкотехнически» – как технологии, призванные обеспечить экономическое развитие, но эти институты не могли опираться на «необходимые объемы современных социо-

культурных когний, без которых невозможно их полноценное формирование» [Есенгараев, 2017, с. 100–101].

Особое внимание в книге уделено советской модернизации и постсоветским странам. На взгляд автора, при всех достижениях (масштабное развитие промышленности, массовая урбанизация, всеобщая грамотность) Советский Союз так и не смог создать институциональную систему полицентрического типа, оставаясь в своей основе досовременным обществом [там же, с. 110–111]. В нем не были доведены до логического конца такие определяющие логику современного развития процессы, как децентрализация, секуляризация и плюрализация институтов, а институциональная структура осталась иерархической. В частности, институт политики не просто сохранил господствующие позиции, но «его доминирование стало еще более жестким, чем до революции» [там же, с. 111]; возведение положений марксизма-ленинизма в ранг догмы способствовало сохранению мифологического типа мышления [там же, с. 113], жесткий контроль над социогуманитарными дисциплинами привел к «фактическому уничтожению философии, запретам на развитие социологии, культурологии, антропологии, т.е. видов знания и науки, образующих когнитивную основу современности» [там же, с. 119–120], и т.п. Отсутствие или ограниченный объем современных социокультурных когний обусловили «фрагментарный, но в основе своей традиционно-иерархический» характер советской институциональной системы [там же, с. 144].

Главной слабостью постсоветских обществ автор считает ограниченность возможностей по генерированию «современного общественного дискурса» [там же, с. 144], преодолеть которую можно только в результате утверждения современных эпистемологических стандартов, «что, в свою очередь, может быть следствием не политической, а когнитивной революции» [там же, с. 153].

Во второй, «диалоговой», части своей книги Е. Есенгараев более подробно проговаривает некоторые детали, особенно интересные политологам. Так, он подвергает критике концепцию «упущенных возможностей» в истории СССР и постсоветского пространства: «Считается, что... при правильно принятом решении политического руководства возможности альтернативного исторического развития той или иной страны были бы не упущены... Однако в истории большинства стран мира наблюдается “дурная”

повторяемость “упущенных возможностей”, и если не говорить о некоем злом роке или закономерности, то по крайней мере можно говорить об определенной зависимости между определенными предпосылками и определенными последствиями в истории этих стран. Такую устойчивую повторяемость “упущенных возможностей” нельзя сводить лишь к ошибочным решениям или проискам внешних сил» [Есенгараев, 2017, с. 188–189]. «Любое политическое решение будет эффективным лишь при условии его соответствия историческим возможностям страны, – подчеркивает автор. – И надо признать, что большинство стран мира пока не имеет достаточных социокультурных предпосылок, необходимых для модернизации, а значит, и возможностей для современного развития» [там же, с. 190].

Комментируя обвинения в адрес М. Горбачева, начавшего якобы не с тех реформ («т.е. [если] они были бы начаты не с политики, а с экономики, как, например, в Китае, то реформирование страны было бы более успешным»), Е. Есенгараев ставит под сомнение саму способность высшего руководства СССР к проведению реформ как таковых: «В пользу этого печального вывода свидетельствует не только качество сторонников и оппонентов Горбачева, но и вся предшествующая история советской системы. Для нее всегда было характерным преобладание кампанейщины над прагматизмом. И еще один печальный результат предшествующей истории – объективное ухудшение качества высшего руководства Советского Союза...» [там же, с. 191].

То же самое, по мнению автора, можно сказать и о социокультурном уровне населения в целом: «Можно желать жить в современной стране, можно ратовать за скорейшее наступление демократии... но если в обществе не сложились необходимые предпосылки в виде разветвленной системы социокультурных знаний, необходимых для формирования современной жизни... то все эти желания будут просто маниловщиной» [там же, с. 229]. По этой причине он весьма скептически оценивает готовность большинства постсоветских стран к демократии, отмечая, что последняя может сформироваться лишь при наличии таких предпосылок, как сложная политическая теория, гражданское общество и культура взаимопонимания и согласия [там же, с. 294–295].

Из трех этих предпосылок, считает Е. Есенгараев, на постсоветском пространстве не обнаруживается ни одной, и особенно

плохи дела с политической теорией: «При существующем уровне политической теории мы не в состоянии достичь рефлексии по поводу наших возможностей, не в состоянии понять, что надо менять прежде всего... наши политические, в целом жизненные установки. А они не могут быть изменены через голосование или митинги... Нам надо трезво осознавать, что человек не может чудесным образом преобразиться, лишь зайдя в кабину для выборов, или через участие в митинге... С избирательного участка и с митинга домой возвращается тот же человек с тем же габитусом, сформированным у него всей его жизнью. Человек конечно же может пребывать в состоянии демократической эйфории... Но, так как он социализировался начиная с первичных институтов, в авторитарном обществе, то, как правило, ему будет крайне сложно и даже невозможно так быстро, так целенаправленно изменить свои установки и привычки» [Есенгараев, 2017, с. 295–296].

«...Мы должны помнить, что либеральная демократия – это исторически самый сложный политический порядок, и он не может существовать, не основываясь на сложном социокультурном фундаменте, – подчеркивает автор. – Когда призывают к диверсификации политической системы, следует помнить, что ее невозможно обеспечить без диверсификации... первичных институтов общества. А диверсификация институтов может быть достигнута лишь на основе длительного развития сложных дискурсивных практик» [там же, с. 299]. «Как правило, революционные порывы, выводящие массы на улицы, не приводят к решению системных проблем общества, – резюмирует Е. Есенгараев. – ...Общество изменяется, когда изменяются его члены, когда у них формируются другие социокультурные качества. А они изменяются не так быстро, как бы мы этого ни желали» [там же, с. 301].

Слова горькие, но справедливые.

Достоинства концепции Е. Есенгараева заключаются прежде всего в подчеркивании осознанного характера человеческой деятельности на всех уровнях общественного процесса. Популярность редукционизма во многом объясняется укорененностью мнения, что область знания (идей) сосредоточена главным образом в элитных слоях общества, тогда как массы живут рефлексам и привычками. Во многом редукционизм – это реакция на наивность представления об обществе как управляемом сверху механизме, но реакция тоже наивная, сводящаяся к переворачиванию схемы с ног

на голову: нет, это не элиты управляют массами, а массы ставят элиту в определенные рамки; нет, это не философы формируют экономику, а экономика философов. На самом деле обе схемы имеют собственную правду и собственную неправду. Знание (идеи) действительно управляет жизнью общества, но речь идет не столько о философских концепциях, сколько о паттернах, пропитывающих все сферы человеческой деятельности – от бытовой до научной. Их автор и называет социокультурными когнициями, указывая тем самым, что это не набор автоматически совершаемых операций, а сложные конструкции, подразумевающие учет множества обстоятельств при принятии даже самых незначительных решений.

При всей справедливости критики редукционизма следует заметить, что не лишен недостатков и противоположный подход – холизм, предполагающий, что интерпретирующий уже знает, в чем заключается суть проблемы, к решению которой он только-только приступает. А это не всегда так, вернее, почти всегда не так. Холист придает своим догадкам статус доказанной гипотезы, идеализируя состояние имеющегося знания.

Примерно это происходит у автора с социокультурными когнициями, которые предстают в виде безупречных кладезей народной мудрости. Между тем любого сорта знания несут на себе печать «первородного греха»: они неполны, мифологичны, противоречивы, неустойчивы.

Это относится в том числе и к научному знанию, особенно социально-гуманитарному. Мифологемы являются точками, поставленными в тех местах, где должны ставиться вопросы и многоточия. Пока на эти закамуфлированные пробелы не ложится никакой нагрузки, мифологемы вполне справляются со своей ролью, обеспечивая знанию кажущуюся целостность. Но когда развитие науки переносит центр тяжести именно на них, мифологемы рассыпаются, и вместе с ними – все возведенное здание.

Если без мифологической составляющей не может обходиться даже научное знание, что уж говорить о знании массовом, к которому и относятся социокультурные когниции. Здесь к мифологемам «вынужденным» добавляются откровенные предрассудки и прочий балласт, которые невозможно априори отделить от рациональных зерен. Иногда отбор совершается сам собой при переносе когниций в новый контекст, но это бывает крайне редко: ча-

ще когниции отвергаются в целом – вместе со всеми рациональными зернами. Этим, в частности, объясняются и трудности такого переноса: дело не только в сложности, но и в высокой доле балласта, который не был замечен в «домашних» условиях, но стал очевиден в новых.

Другое свойство когниций – их противоречивость. На любой факт всегда найдется контрфакт, на любое мнение – контрмнение, на любую норму – антинорма. К примеру, советский атеизм родился не на пустом месте: он имел более чем полувековую предысторию, причем теоретическому атеизму предшествовали уходящие в глубь веков традиции богохульства, которые сопровождают любую обладающую монопольным статусом религию (лишь в плюралистических обществах с их богатой практикой терпимости богохульство становится маргинальным явлением). Это еще одна причина трудностей, возникающих при попытках переноса социокультурных когниций в чужую среду: там линии разлома между нормами и антинормами, как правило, совсем другие. И даже если эти линии совпадают, то еще неизвестно, что в новых условиях станет нормой, а что – антинормой.

Впрочем, нелепо вменять в вину автору неупоминание о «темной стороне» социокультурных когниций. Его задача состояла в обозначении их роли при воспроизводстве институтов, а не в подробном описании их содержания.

Но в чем можно упрекнуть его вполне обоснованно, так это в излишнем схематизме при противопоставлении современных (полицентрических) обществ традиционным (иерархическим). Возможно, с точки зрения удобства изложения такая схема приемлема, но она существенно упрощает реальную историю развития цивилизаций. Да, «досовременные» общества имели и имеют иерархический характер, но иерархия иерархии рознь. Бывают иерархии «проходимые» – вроде тех, что имели место в Китае или послепетровской России, а бывают «непроходимые» – вроде индийской кастовой системы. Этим и объясняются, в частности, высокие темпы модернизации в странах Дальнего Востока и большие проблемы с современным развитием в Индии: ее кастовая иерархия слишком архаична, чтобы приспособиться к новым требованиям.

Все-таки известным преимуществом марксистской теории общественных формаций, при всем ее схематизме и редукционизме, было признание многоступенчатой лестницы типов обществ,

предшествующих современному («капиталистическому»). Концепция социокультурных когний много выиграла бы, если бы опиралась на более подробную градацию общественных типов.

Есть в книге Е. Есенгараева и другие дискуссионные моменты. Как правило, они возникают там, где автор касается тем, лежащих за пределами его компетенции. В частности, он не совсем точно описывает расстановку политических сил в Индии, когда утверждает, что за сохранение кастовой системы в этой стране выступают не только высшие, но и низшие касты [Есенгараев, 2017, с. 61]. На самом деле высшие и низшие касты, как правило, поддерживают Индийский национальный конгресс, борющийся за искоренение кастовой системы, а за отстаивающую ее сохранение Индийскую народную партию (Bharatiya Janata Party) голосуют в основном средние касты.

Спорна и оценка автором ситуации в израильском обществе, которое якобы в своей основе «остаётся под влиянием больше традиционных ценностей, чем современных» [там же, с. 61]. Правильнее было бы сказать, что израильское общество глубоко сегментировано. В определенных его слоях (ортодоксальные иудеи, выходцы из Африки и Азии) действительно доминируют традиционные аскриптивные нормы. Но управляют страной все-таки люди, воспитанные на современных ценностях, – в противном случае Израиль давно бы исчез с политической карты мира.

В целом же предложенная автором концепция представляется плодотворной и заслуживающей внимания со стороны коллег.

Список литературы

- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: Медиум, 1995. – 323 с.
- Есенгараев Е.Ж. Общество, институты и социальная наука. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2017. – 312 с.
- Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. – 480 с.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Политическая наука» – одно из ведущих периодических изданий по политологии в России, известное и среди зарубежных исследователей, владеющих русским языком. «Политическая наука» как периодическое издание существует с 1997 г.

«Политическая наука» имеет отчетливо выраженный тематический профиль, который отличает ее от других журналов по политическим наукам. Прежде всего, это ориентация на состояние политической науки и ее отдельных направлений, обзор и анализ современных научных достижений. Центральное место среди публикаций занимают статьи и иные материалы методологического характера, имеющие особую важность для развития научных исследований. Особенностью журнала является систематическое использование жанров информационного и информационно-аналитического характера (рефератов, реферативных обзоров, рецензий и др.), представление других научных журналов, исследовательских центров и проектов.

К публикации принимаются научные статьи, обзоры, рефераты, рецензии, переводы. Тексты предоставляются в электронном виде по адресу: politnauka@inion.ru; politnauka1997@gmail.com (просим направлять материалы на оба адреса) в форматах *.doc или *.rtf.

Основные требования к рукописям:

Кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5.

Объем – 30–40 тыс. знаков (включая пробелы) для статей и 16–24 тыс. знаков для рецензий на книги.

Графики и диаграммы должны дублироваться в файлах форматов *.xls; *.xlsx (чтобы сделать возможным их дальнейшее редактирование).

Рисунки и схемы желательно создавать в форматах *.ppt, *.pptx или *.jpg. Соответствующие файлы также прилагаются к рукописи.

Текст, таблицы, диаграммы, графики, рисунки и схемы должны быть выполнены исключительно в черно-белой графике.

С целью соблюдения авторских прав заимствованные из других изданий элементы (рисунки, схемы, графики, таблицы и пр.) должны сопровождаться ссылками на первоисточники.

Ссылки на литературу внутри текста даются в квадратных скобках с указанием фамилии автора, года публикации и страниц. Материалы могут иметь постраничные сноски.

В конце текста приводится список литературы и источников – в алфавитном порядке без нумерации; сначала русские источники, потом иностранные. При этом необходимо соблюдать требования библиографического оформления, принятые в ИНИОН РАН, и правила, установленные Национальным стандартом РФ (ГОСТ Р 7.0.5.–2008).

К рукописям прилагаются аннотации на русском и английском языках (до 200 слов).

В полном объеме приводятся фамилия, имя и отчество автора, место его работы, должность и контактная информация.

Решение о публикации рукописи принимается на основе отзыва рецензентов. **Плата за публикацию не взимается.**

INFORMATION FOR THE AUTHORS

Political Science (RU) is one of the leading Russian periodicals in the field of the political science. Founded in 1997, it is well known among foreign researchers.

The specifics of Political Science (RU) is its thematic profile. The main focus of its interests is the state of political science and its particular areas, as well as the analysis of modern achievements in the field of the political science. The central place among its publications belongs to articles of a methodological nature. The journal also systematically publishes review articles, review essays, book reviews and, abstract reviews, introduces and recommends other academic journals, research centers, research projects.

«Political Science (RU)» accepts manuscripts of the following genres: research articles, review articles, review essays, book reviews, abstracts, translations. Authors are invited to submit articles through e-mail politnauka@inion.ru and politnauka1997@gmail.com.

Manuscripts should be printed in Microsoft Word or *.rtf format, in standard 14-point type with 1.5 lines spacing. The maximum length is 5,400 words for article and 3,200 words for book reviews.

Charts and diagrams should be duplicated in *.xls or *.xlsx format in order to enable further editing.

Pictures and schemes should be duplicated in *.ppt, *.pptx, or *.jpeg format. Texts, tables, charts, diagrams, and pictures must be executed in black-and-white. Pictures, diagrams, charts, tables and other elements taken from other publications must not violate the copyright law and should be accompanied by citations to the primary sources.

A list of references should be placed at the end of the manuscript. The sources should be listed in alphabetical order without numbering, first Russian sources, then the foreign ones. References should follow

the rules of the Institute of Scientific Information for Social Sciences and the bibliographical standard of the Russian Federation (GOST R 7.0.5–2008). Citations in the text should be enclosed in square brackets and must include the name of the author (s), the year of the publication, and the number of pages. Footnotes with text comments are also possible.

A manuscript should be accompanied by the annotation in Russian and English, no longer than 200 words. Authors must provide their full name, the place of work, position and contacts.

All articles are subject to anonymous peer review by scholars in the relevant field. An article can be accepted, sent to the author for revision and resubmission, or rejected. **The publication is free of charge.**

Адрес редколлегии:
117997, г. Москва, Нахимовский проспект, 51/21.
ИНИОН РАН. Отдел политической науки.
E-mail: politnauka@inion.ru

Оформление обложки И.А. Михеев
Техническое редактирование и
компьютерная верстка Л.Н. Синякова
Корректор М.П. Крыжановская

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953. П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 23 / X – 2018 г.
Формат 60 х84/16 Бум. офсетная № 1 Печать офсетная
Усл. печ. л. 18,5 Уч.-изд. л. 16,0
Тираж 500 экз. (1100 – 1-й завод) Заказ № 96
Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ПИ НФС77–36084

Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения
информационных изданий
Тел. / Факс: (925) 517-36-91
E-mail: inion@bk.ru

Отпечатано по гранкам ИНИОН РАН
В ООО «Амирит»,
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 88 литеры У
Тел.: 8-800-700-86-33 / (845-2)24-86-33